

42

$\frac{2}{19-9}$

индекс 84471

ВЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

2/2014
февраль





ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

В ы х о д и т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а
с о д е р ж а н и е 2 / 2 0 1 4 ф е в р а л ь

- 3 Андрей Поляков. Как Салгир подо льдом. *Стихи*
- 8 Леонид Зорин. Памяти Безродова. *Повесть; Стек колотушки. Монолог*
- 47 Борис Херсонский. **Венок восьмистиший**
- 49 Марк Фрейдкин. **Песенки в прозе. CD-альбом.**
Вступление Бориса Дубина
- 91 Александр Левин. **Остаётся водород.** *Стихи*
- 96 Валерий Бочков. **Теннис по средам.** *Рассказ*
- 108 Ростислав Амелин. **Натура натуре.** *Стихи*
- 111 Александр Котюсов. **Место в вагоне определяет проводник.** *Рассказ*
- 122 Баярма Занаева. **Улан-Удэ.** *Стихи*
- а р х и в**
- 126 Павел Нерлер. **Битва под Уленшпигелем**
- с в и д е т е л ь с т в о**
- 164 Елена Скульская. **...Но к сентябрю меня уже не будет**
- н е с т о л и ч н а я Р о с с и я**
- 177 Андрей Пермяков. **Верховские. Белёв и Чекалин**
- 186 Игорь Сорокин. **Саратов/Аркадак**
- к р и т и к а**
- 190 Борис Кутенков. **«Больно — поэтому без метафор».**
О лирическом психологизме Татьяны Бек

пристальное прочтение

- 197 Олег Лекманов. Последний император

переучет

- 207 Дарья Маркова. Детская литература во «взрослых» литературно-художественных журналах в 2013 году

форум

- 213 Евгений Ермолин. Работа впрок («Знамя», 2013, №11. Тема номера «Другой СССР»)
214 Андрей Турков. С Пушкиным на дружеской ноге

наблюдатель

рецензии

- 217 Станислав Секретов. — Эдуард Кочергин. Записки Планшетной крысы
219 Григорий Никифорович. — Лариса Щиголь. Избранное
222 Алина Гаппасова. — Д.А. Пригов. Монады. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 1
224 Александр Уланов. — Р.М. Рильке. Малое собрание сочинений в 7 книгах. Книга седьмая. Переписка с Мариной Цветаевой. Перевод с немецкого и комментарии Н. Болдырева; Андрей Северский. Мост
227 Ольга Балла. — Антония Поцци. Слова: Стихотворения 1929—1938. Перевод с итальянского Петра Епифанова под редакцией Онорины Дино
231 Павел Полян. — Лев Симкин. Полтора часа возмездия
234 Михаил Лифшиц. — Б. Фрезинский. Об Илье Эренбурге. Книги, люди, страны

незнакомый журнал

- 237 Марина Устинова. Beamused (Санкт-Петербург)



Андрей Поляков

Как Салгир подо льдом

* * *

Наверное, звёзды, наверное, снег
наверное, холод и свет
Наверное, в воздухе или во сне
наверное, там, где вас нет
Наверное, я слишком долго смотрел
на звёзды — и стал нелюдим
да так, что душа искрошилась, как мел
а тело поплыло, как дым
Плывёт оно вверх, неизвестно куда
колеблясь чуть-чуть на ходу
Сквозь зыбкое горло сияет звезда
но некому видеть звезду

Обложка

Небес простая синева —
под кожей тонкая голубизна
течёт небесная Нева
и стаи нищих голубей
над Петроградом плещутся в лазури...
Проста небесная река
В твоей руке моя рука
теплеет, Клио... Жажду ли я бури? —
мне статуи в саду показывают дули:
мол, даже не надейся, дурачок! —
и я надеюсь только на молчок
а бури — нет, не жажду... Жажду я глотка
портвейна красного... И синяя река
я жажду, чтоб текла над Петроградом
всё выше, проще и ясней
над Летним садом, над Летейским садом
над Листопадом, над Фабричным чадом

Об авторе | Андрей Геннадиевич Поляков (родился 9 июня 1968, в Симферополе), в «Знамени» печатался еще два десятка лет назад, предыдущие публикации: «Китайский десант», № 1, 2009; «Стихи о родине», № 5, 2010. Малая премия «Москва-транзит» (2003). Шорт-лист Премии Андрея Белого (2003, 2009). Стипендия Фонда Иосифа Бродского (2007). Международная литературная Волошинская премия (2008). Премия Андрея Белого (2011). Предыдущая публикация в «Знамени» — № 11, 2012. Живёт в Симферополе.

над дымом заводским, над пригородным адом
над бывшей родиной, над мёртвою моею...

Тень дыма

Орфей был человеком...

Вагинов

Уплыли толпы с площади Восставших
лишь лысый идол длинною рукой
пугнул пятёрку школьниц подгулявших
процокавших по чёрной мостовой
А ты, поэт, блуждающий ночами
больной всему, невидимый никем
отставь бутылку и пожми плечами
и позвени словами вдалеке
Ты — Вагинова тень! И я не знаю
зачем ты тихо падаешь на Крым
и слов твоих почти не понимаю
но сам себя во сне переступаю
и пью вино, и горький дым глотаю
который был тобою, сизый дым

Кухонное богословие

— Воды цветочек голубой
растёт из кухонного крана
но ты заметил, ангел мой,
далёкий отблеск Иордана
над жалкой жэковской водой?
— Какая тусклая вода
Она сейчас совсем потухнет...
— Возможно — нет, возможно — да
но вифлеемская звезда
горит из лампочки на кухне
И этот знак, и этот свет
на полках, ходиках, посуде
такую музыку разбудит
что, если даже Бога нет
то всё равно — Он был и будет!

Эвакуация

«Звёзды вниз глядели влажными глазами
горькими глазами октября
Провожали в вечность на морском вокзале
бывшего поэта и царя» —
написал, и сам не понял: что же
это я такое написал?
Может, на Поплавского похоже
может, не похоже на вокзал
на вокзал, где музыка последняя играет
где последний русский пароход

в дорогую вечность, в золотую уплывает
и меня с собою не берёт

* * *

Ты прочитал: в словах бывает боль
бывает полночь, Петербург и пеньё...
И всё читаешь ты... Не оттого ль
бывает сильным головы круженье?
Вот сила символистов, как звезда —
вблизи смешна, вдали — ещё сияет...
Вот футуристов дикая езда —
визжит, хрипит, хохочет, громыхает...
Наверно, это Вагинов писал...
Не Вагинов?.. — Иванов? Адамович?
В тринадцатом — о, если бы он знал
какую ночь напишет Ходасевич!
А, собственно, какая эта ночь?
В каких лучах бессолнечного света
не может мёртвый мёртвому помочь —
не всё ль равно? Ведь ночь всегда — *не эта...*

* * *

Когда с корнетом Оболенским
мы пьём тяжёлое вино
в дожде французском, как в танце женском
нам позабыться не дано
Мы знаем лучшее... Мы знаем
полночный путь на острова
где блещет месяц неровным краем
и бесполезна голова
Мы знаем снежные колонны
и холод звёздного штыка
и голос Музы, почти влюблённый
летающий вдаль издалека
Он звал и пел, сияя славой
над всем, чему нельзя помочь
пел над шинелью от крови ржавой
в которой ты упал в ту ночь
Вставай, корнет! Ты пьяный, что ли?
Не спи, вставай, тебя зовёт
свет хирургически чистой боли —
из ночи в сумрак переход!

* * *

Мы вернёмся с тобой, Луна, в этот мир
не затем, чтоб светить, а, скорей, по привычке
по ночам посещать деревянный сортир
и в карманах искать отсыревшие спички
Мы с тобой возвратимся, чтоб наша кровать
перестала летать по небесной России
чтоб опять с перепоя руками дрожать
словно висельник-лист на осенней осине
Мы вернёмся с тобой, дорогая Луна

чтоб сверху всадника скорей
 кружилась голова
 Она быстрее и быстрее
 неслась, что было сил
 и только белый вдруг Андрей
 её остановил!
 С тех пор там камни не цветут
 копыта не поют
 и петербуржцы не поймут —
 зачем они живут?

Чай-христианство (не видя головы)

*Существует буддийское государство
 которое можно назвать
 пальцами на руках, коленями или плечами
 государство, которое принимает время
 как посла советской монархии —
 с почётом, но холодком
 покуда сидишь в дзадзэн
 и думаешь Ни О Ком
 о таком Ни О Ком, что время
 не идёт, но приходит вставать
 времяпитькуданибудьчай
 в пальцах чашку чашки держать
 будду кошки держать на коленях
 пустоту — правее левого плеча*

Не нужно ничего... Ни яблоч-Боже-мой
 ни чая на столе
 ни форточки открытой
 в которую звезда смеётся над тобой —
 мол, ты такой поэт
 такой незначительный
 такой прокуренный, с больною головою
 сидящий за столом в акривии земной

Серебряный смешок из космоса летит
 и прыгает по чайнику и чашке...
 Не говори: «летит»
 а говори: «звенит»
 не говори: «смешок»
 а говори: «букашка» —
 букашка прыгает и яблоки грызёт
 а ты такой сидит и чай почти не пьёт

Не нужно ничего?.. Не верю, извини
 Не лги себе, мой ты. Христос ещё вернётся
 за то, что чай горчит и ложечка звенит
 и яблоки хрустят, и песенка поётся —
 а что до головы, больной со всех сторон
 так перестань курить и выпей цитрамон!

Леонид Зорин

Памяти Безродова

повесть

1. ШУМСКИЙ

Утром после контрастного душа и легкого завтрака, тщательно выбритый, гася привычное нетерпение, усаживаюсь за письменный стол.

Когда-то, совсем еще молодым, не без ребяческого кокетства я окрестил его «лобным местом», и вот казнию себя столько лет. Похоже, что есть в этой странной профессии свое мазохистское могущество.

Короткий напутственный диалог с самим собою:

— Ну в добрый час. Будь бодр, деловит, лаконичен. Обуздывай свою борзую мысль, склонную к длительным путешествиям по неожиданным маршрутам. Пока тебя тянет на поле битвы, повкальвай, бедный солдат словесности. Работай свою работу, служивый. Выплеснись, выложись, не скупись. Пока остается готовность к бою, к охоте за словом, ты — кум королю. И больше того — фаворит судьбы.

В далеком детстве твой зрелый возраст казался тебе глубокой старостью. Денно и ночью напоминал себе: любимцы богов умирают юными. Как Лермонтов. Как Александр Сергеевич. В тридцать семь лет подвел черту. Тридцать семь лет. Молодые годы. Сегодня, приближаясь к полтиннику, знаешь, что все еще впереди. Впрочем, у Пушкина был свой счет. Он уже прожил несколько жизней. Особая интенсивность мысли. Самый горячечный кровоток.

С богом. Пора. Начнем, пожалуй. И тут, совсем как в чуковской сказке, внезапно зазвонил телефон. Требовательно. Настойчиво. Властно. Сразу я понял: звонит беда. Медленно снял вызвавшую трубку.

— Слушаю вас.

— Не разбудил вас? Это — Новицкий. Прошу прощения.

— Не разбудили. Я — весь внимание.

— Очень прошу меня извинить. Я знаю — по утрам вы в отключке.

— К делу.

— Дело у нас такое. Грустное дело. Безродов помер.

Я задал нелепый вопрос.

— Когда?

Как будто это имело значение.

— Сегодня утром. Скоропостижно.

Об авторе | Леонид Зорин — постоянный автор «Знамени». С публикацией повести «Памяти Безродова» и монолога «Стук колотушки» число напечатанных в журнале сочинений достигнет двадцати восьми. Предыдущая публикация — монолог «Зов бездны», № 9 за 2013 год.

Только теперь я пришел в себя и осознал то, что услышал. Негромко сказал:
— Через час приеду.

* * *

Спустя три дня состоялась кремация. Был ветреный день. Я хмуро следил за мрачным дымком, поднявшимся ввысь, еще не до конца понимая, что темное облачко из трубы и есть все то, что только-только, минуто назад, было Безродовым. Еще мгновение — и оно навек растает в сумрачном небе; можно вернуться в привычную жизнь, в нашу московскую круговерть.

Так все-таки это произошло.

Безродова нет. А я-то думал, что он бессмертен. Но нет, оказалось, и на него распространяется общий закон. Так долго жил, так мгновенно умер. Завидная смерть. Ему повезло.

Смотрел на осенние лица собравшихся. Задумчиво скорбные маски. Занятно — хоть кто-то впрямь загрустил? Или по обыкновению понял: когда-нибудь то же случится со мной.

* * *

Неделю спустя в опустевшей квартире мы разбирали его бумаги. Архив покойного невелик. Судьба его сложилась успешно — он почти все опубликовал. Черновики своих не оставил — хватило иронии не заботиться о будущих литературоведах. Несколько папок — листы с набросками. Письма, которые сохранил. Есть тут и собственные эпистолы — верно, раздумал их отправлять.

Были тетради. Несколько раз он приступал к регулярным записям, потом бросал их — не та натура, чтобы фиксировать каждый свой шаг. Скорее попутные заметки, чем полновесные дневники. То вновь начинал, то вновь забрасывал.

В этой бумажной неразберихе я обнаруживал столь знакомые свойства этой гасконской натуры. Размашистость уроженца юга, которую долгая жизнь на Севере стремится сгладить и упорядочить. Похоже, как все южане на свете, он надеялся укротить свой неусидчивый темперамент. Волей он был наделен в избытке, возможно, щедрее, чем дарованием. И приказать себе он умел. А все же себя не переиначишь.

Новицкий вздохнул:

— И как же нам быть с его архивом?

Вот тут неожиданно я услышал свой собственный голос:

— Отдайте эти бумаги мне. Я бы хотел в них покопаться.

И вот, как видите, копошусь. Вдруг выяснилось, сколь это ни странно: он, все-таки мне не безразличен.

Работа, которую я взваливаю себе на плечи, будет нелегкой. Придется разбирать его почерк. Безродов в своей литературской практике не прибегал ни к какой машинописи — всегда карандаш или перо. Что ему попадет под руку. Сам называл себя дикарем, не признающим цивилизации и всех ее данайских даров. Шутил, что доверяет инстинкту, не хочет быть с веком наравне. Он объяснял свое упрямство тем, что внушил себе и поверил: слово зарождается в пальцах. Что он не хочет иметь посредников между собой и бумажным листом.

Что ж, каждый сходит с ума по-своему. Мне остается перетерпеть несколько суматошных недель. Авось на грозном Страшном Суде, который давно поджидает грешника, мое бескорыстие мне зачтется.

2. БЕЗРОДОВ

*Ты хочешь жить? Окостеней.
Стой, как в почетном карауле.
Стой молча, как спиной к стене
Стоит приговоренный к пуле.*

Детская забава — стишки. Снова перед тем как принять решение, привычно хочу заслониться рифмой. Но это всего лишь отсрочка — не больше.

Стало быть, завожу архив. Все бумажонки, записки, заметки, которые я обычно выбрасывал, отныне улягутся, утрамбуются, осядут в этой просторной папке неопределенного цвета с двумя коричневыми тесемками.

В былое время я сразу выбрасывал эту обильную макулатуру, не придавал ей большого значения. На старости лет становлюсь альтруистом, забочусь о будущих следопытах. Кто их утешит, если Безродов не сохранит своей писанины?

Теперь они могут возликовать — я осознал всю меру ответственности перед неведомым мне потомством. Те, кто захочет узнать подробней, чем я был занят, что замышлял, чем собирался их осчастливить, могут затребовать эту папку.

Каждый порядочный литератор должен навек пригвоздить к бумаге неоценимые соображения, которые его посещали. Пусть даже некто, исполненный желчи, решит, что покойник, ничтоже сумняшеся, гипертрофировал их самоценность. Коли боишься таких усмешек, ищи себе другое занятие.

Отныне я — человек с архивом. Все у меня, как у людей. Любимая заповедь тетки Анюты, преклонной дамы и старой девы. Была у меня такая родственница, седьмая вода на киселе.

Она частенько нас навещала, при всей своей потешной гордыне уже не справлялась сама с одиночеством. «Как у людей». Давала понять, что произносит это с усмешкой, но все-то знали: у бедной тетки все получилось не по-людски. С тем большим усердием, даже с истовостью, она защищала свое достоинство.

Конечно же, потребность в архиве пришла ко мне в угрюмые дни, когда я почувствовал тяжесть возраста, когда потребовалось напомнить, что ты когда-то жил на земле и занимал какое-то место. Что-то осталось во мне от того розового южного птенчика, вломившегося однажды в столицу. А жизнь во мне еще крепка, как сознавал почти с раздражением, с необъяснимой досадой Онегин. Совсем как автор, его родивший. Странное дело, сами создатели столь долговечной литературы недолго задерживались на свете. Кажется, все они втайне стыдились и долголетия и жизнелюбия. Есть тут какая-то злая загадка.

Все сказки кончаются, как известно, едва ли не обязательной присказкой: «И жили они долго и счастливо». Но это — в сказках, в реальном мире ты убеждаешься: «долго и счастливо» — несовместимые понятия. Либо одно, либо другое.

Не то природа, не то Всевышний, не то родительский генофонд мне подарили длинную жизнь. На собственном опыте я убедился, что есть в этом даре свое вероломство. Каждое утро я просыпаюсь все с тою же невеселой мыслью — трудно прожить предстоящий день. На плахе письменного стола я многие годы четвертовал и методически укорачивал отпущенный мне марафонский срок. Могли бы выручить простодушие и инфантильная убежденность в особенности своего призвания. И в самом деле не только поэзии следует быть — по завету Пушкина — чуть глуповатой, еще и авторам. Стало бы легче и проще жить. Но мне, на мою беду, достался насмешливый, недоверчивый ум.

* * *

Итак, сегодня я дал себе слово: перестаю трястись, как скупец, над старыми сохраненными записями. Не буду больше и тешить себя смешными мальчишескими заклätьями: однажды все же собравшись с духом, я напишу ту самую книгу, осуществлю свой заветный замысел.

Мне уже ясно: не напишу. Времени у меня не осталось. Эти соблазны и искушения похитили у меня много лет, нелепо и бесплодно растраченных. Я повторил многократно исхоженный, протоптанный маршрут неудачников — все примерялся, все подступал, все угрожал одарить читателя достойной его внимания исповедью. В этих торжественных телодвижениях и столь же велеречивых посулах прошло отпущенное мне время.

В бессонные часы я гадал: в чем заключен секрет воплощения, который не давался мне в руки? Где мне искать припрятанный ключ? И существует ли некая тайна? Либо на деле все просто и ясно — делай, что должно, и будь, что будет.

Достойный девиз. И прозвучал он из уст олимпийца, земного бога, который и владел этим кладом. Легко ему было учить уму-разуму нас, ищущих, жаждущих, помраченных. Нам предстояло еще укротить свое подростковое честолюбие. Понять, что среда твоя — муравейник. Старые мальчишки не замечают собственной старости, долго топорщатся, всё убеждают самих себя: последнее слово еще не сказано.

Можно понять. Труднее всего дается нам последняя трезвость. Жить, не обманывая себя, могут немногие — лишь с годами я научился их различать в шумной толпе по грустной усмешке. Вдруг ощущал мгновенный ожог — это мелькнул твой брат по крови.

* * *

Сколько я помню себя, неосознанно, но яростно мечтал о гармонии. Сравнительно недавно я понял — эта нирвана недостижима. Но не смирился с этим открытием — все думал о бегстве из муравейника.

Таких неслучившихся беглецов всегда предостаточно. Эту их боль выплеснул Александр Сергеевич. «Усталый раб, замыслил я побег...»

Где он хотел обрести покой? Готов был искать его и в Китае — подумывал, как примкнуть к экспедиции, затеянной Акинфом Бичуриным. Не пустят в Китай — тогда хоть в деревню. Но и в деревню — не удалось.

В побеге видел возможность исхода Лев Николаевич Толстой. И даже осуществил этот замысел. Но был настигнут хворью и немощью. Ни от себя не бежишь, ни от смерти.

«Движение — все, а цель — ничто». С одной стороны, эта старая формула весьма утешительна, но с другой — она многократно была осмеяна. Уж слишком обидна для прогрессистов, какими мы себя ощущаем, и слишком удобная мишень. А все же побуждает задуматься.

Сравнительно скоро мы обнаруживаем нашу зависимость от судьбы, от обстоятельств, от институтов. Вдруг открываем, что мы заложники. Нашего времени, нашего места, нашей способности мыслить и чувствовать.

Обратной зависимости тут нет. И смена сезонов — и климатических, и социальных — не обещает преобразования ни укрощенному человеку, ни множеству, что его сторожит, ни тем, кто пленен при попытке к бегству.

* * *

Один остроумец мне приписал устойчивый комплекс провинциала. Я с ним не спорил. Что есть, то есть. Больше того, я к нему привык и не стремлюсь от него избавиться. Очень возможно, что я догадываюсь: он-то и есть уцелевший отросток, связывающий меня с моим детством.

Все начинается с пустяков. Шумский рассказывал: был малышом, родители ласково звали Воликом. Но это имя его раздражало, оно казалось ему унижительным. И он в одно прекрасное утро потребовал, чтобы Волик стал Владом. Таким был этот первый шаг по скользкой дорожке самоутверждения.

* * *

Сегодня мне вспомнилось предсказание весьма знаменитого академика. Он посулил, что земной наш климат претерпит глобальные изменения. Между тем, социальные катаклизмы связаны, по его убеждению, с весьма радикальными поворотами, происходящими в атмосфере.

Стало быть, судьбы родной популяции определяются в небесах, там же, где заключаются браки. Если подобное утверждение имеет серьезное основание, можно не дергаться, не суетиться — что предназначено, то и будет.

Мне с этой моей архаической склонностью к тайнам, мистическим голосам, к темным пророчествам вся эта музыка с ее гипнотической многозначительностью — по сердцу, она убеждает, что звезды предначертали мой путь — ни страхи, ни недруги, ни обстоятельства его не отменяют, разве — замедлят.

* * *

Обещанная революция в климате сулит нам мир без весны и осени. Такой апокалипсис в атмосфере перелопатит и нас самих. Если не будет у нас весны, так мощно оплодотворившей поэзию, не станет осени с болдинской щедростью, если мы будем перемещаться из стужи в пламя, из зноя в мороз — стремительно, сразу, без перехода, переродится и сам человек. Жизнь без странностей, без оттенков, прямолинейный, бескрасочный мир, в котором будут лишь жар и холод, подарят нового гуманоида — значительно более жизнеспособного. И еще более безучастного.

Этот отказ от «цветущей сложности» означает, что эксперимент с человеком, который вмещает в себя вселенную, пришел к естественному концу. Наш эпос завершится трагедией. За ней последует трагифарс.

* * *

Останется что-нибудь от меня? Да ни черта от меня не останется. Вот почему в глубине души прозаик завидует стихотворцу. Поэты имеют все же возможность при помощи ритма дать шанс своей мысли на относительное долголетие.

«Легкой жизни я просил у Бога, / Легкой смерти надо бы просить» — все, что, в конце концов, уцелело от скромного поэта Тхоржевского.

Жил в Киеве русский поэт Ушаков, задумчивый, невеселый затворник. Вот и ему всего лишь две строчки продлили земное существование: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». Немного, но все же... Никто не запомнит ни строчки, ни одного даже слова из всех моих опубликованных опусов.

3. ШУМСКИЙ

Деда не стало уже давно. Помню бесщекое лицо, густые белоснежные брови, словно клубящиеся над глазами, и длинные узловатые пальцы, которыми он осторожно ерошил мои поэтические кудряшки. Помню, как мрачно меня вразумлял:

— Ради Христа, не марай бумагу. Дело коварное и опасное. Либо людишки тебя заклюют, либо ты сам себя источишь. Темное, пасмурное занятие.

Он несомненно имел основания для этого сумрачного напутствия. Старые люди всегда мрачнеют, когда они видят, с какой готовностью живые забывают покойников. Так ясно встает перед их глазами и собственный печальный удел. Пройдут стремительно два-три года, они уйдут, еще два-три года — никто и не вспомнит, что они жили. Но дед, помимо житейской опытности, имел и более веские поводы. Он был не слишком известным поэтом. Это само по себе — испытание, ему же и вовсе досталось сверх мер. В послевоенные смутные годы сперва он был выслан в город Мары, но власть сочла эту кару мягкой, и деда отправили в северный лагерь. Вернулся разрушенным человеком, застал свою дочь семейной женщиной.

Предельно красноречивый пример! Но что написано на роду, того не минует — я стал сочинителем. Судьба мне досталась странная, пестрая — было толюдно, то одиноко. С коллегами общался нечасто — звонок Безродова стал сюрпризом. Моя последняя повестушка ему приглянулась — очень сердечно он предложил мне его навестить. Помявшись, я посулил, что явлюсь. Скорей из несвойственной мне учтивости, чем по движению души.

Когда-то его почтенное имя было у публики на слуху. Теперь произносится время от времени. Этой естественной закономерности весьма поспособствовал образ жизни. Живет он келейно, по-монастырски, не покидая домашних стен и выходя по необходимости. К себе почти никого не зовет. Иной раз возникает сомнение — жив ли он, или его уже нет. Один юнец уверял другого — я был тому случайным свидетелем, — что сам Безродов давно покойник. Насколько я знаю — давно вдовеет.

Впрочем, он сохранил круг читателей, не слишком значительный, словно отцеженный. Как правило, это люди подержанные, такие же геронты, как он.

Возможно, они к нему просто привыкли, возможно, одним своим существованием он воскрешал в их памяти юность. Думаю, что тут проявлялось не столько внимание к его прозе, сколько сентиментальное чувство. Впрочем, литературные вкусы банальны, устойчивы, неповоротливы и часто входят в противоречие с новой средой и с новыми ритмами. Быть может, предшествующей генерации он, в самом деле, пришелся в масть.

К тому же читательская аудитория неоднородна и своеобразна. Какие-то архивные юноши (весьма популярная дефиниция в далеком девятнадцатом веке) могут найтись и в наше безвременье. Все межеумочные периоды схожи своей неопределенностью. Бесформенны, текучи, расплывчаты.

4. БЕЗРОДОВ

Помню отчетливо — я и он, оба приглядывались друг к другу. Все литераторы по природе, по сути своей — коллекционеры. Все пополняют свои закрома. В их обостренной и клейкой памяти и застревают, и оседают, и поначалу бесцельно копят смутные образы, голоса, обрывки подслушанных разговоров. В ней много бесполезного вздора: дорожные исповеди и признания, ночные шорохи,

шепоты, шумы. В ней громоздятся свои курганы. И вдруг — неведомо почему — иной раз призраки оживают. При этом — не всегда они благостны, память умеет быть разрушительной. Но тут уж ничего не поделаешь — без памяти нет и самой словесности. Наша профессия жизнеопасна.

Даже изнемогая под кладью, старые литературные кони привычно множат свои арсеналы. Каждое новое лицо дарит и новую надежду.

Конечно, на сей раз меня ожидало отнюдь не вторжение незнакомца. Мне предстояла встреча с коллегой. К тому же вызвавшим интерес не только у собратьев по цеху, но и у читательской публики, которая мне и моим ровесникам порой казалась почти исчезнувшей.

Это была болезненная тема. Все мы еще не вполне привыкли к обескураживающей реальности — люди обходятся без книг. Долго готовились к этой напасти, чувствовали, что она неизбежна, догадывались, что переполненность, перенасыщенность наших дней однажды не оставит нам всем ни сил, ни возможностей, ни охоты, необходимых для встречи с книгой. Сделали сами все, что могли, чтобы приблизить новое время, и все-таки оказались к нему так драматически не готовы.

Когда-то мы были свято уверены: писатели будут жить на земле, пока существует сама планета, наш литературский ген закодирован в самой человеческой первосути. При нашей потребности самовыразиться нужна только воля, нужна способность к непреходящему одиночеству, к отдельной, сосредоточенной жизни.

Готов ли ты к ней? — спросил я однажды некоего Александра Безродова. Нет, милый мой, совсем не готов. Ты все еще тешишь себя надеждой схватить однажды Бога за бороду, твоя голова еще не свободна от неумеренных ожиданий, и все еще не затвердела душа. И если ты сам себя не избавишь от всех своих призраков — берегись! Тебя поджидает тяжкая старость.

Поняв это, я взялся всерьез за грешного Александра Безродова. Я день за днем вбивал ему в голову, что он не лучше всех остальных. Писательство вовсе не дело избранных. Это тяжелое ремесло. Вечная головная боль. Взрослые люди не любят басен и понимают, на что идут. Безродов долго сопротивлялся и не хотел взрослеть и трезветь. Подозревал меня в сальеризме. Но я терпеливо его обтесывал, снимал с него стружку, вправлял мозги. И мало-помалу — шагком за шагом — я сделал из него человека.

Я был доволен своей работой. Двойник мой разительно изменился. По всем приметам он был готов к суровой и честной самооценке. И соответствовать той реальности, в которой выпало существовать.

Теперь, когда старость вошла в мой дом, я уже больше не обольщаюсь на собственный счет, сознаю свое место, жить стало хотя и скучнее, но проще. Что делать, — говорил я собратьям, не укротившим еще своих демонов, — наши писательские биографии исчерпываются чаще всего двумя примечательными романами — вначале «Большие ожидания», в финале «Утраченные иллюзии». В дебюте — Диккенс, в конце — Бальзак.

Коллеги принужденно посмеивались. Один из них, слишком самолюбивый, однажды заметил:

— Да вы — меланхолик. А я вам приписывал неуязвимость.

Я отозвался:

— Дали вы маху. Утешьтесь. Ничем я не лучше вас. Такой же зануда и комплексун. Профессиональные хвори.

Однако же появление Шумского поколебало такую уверенность. Мне показалось, что наконец я встретил счастливого человека. Не знаю, был ли реальный Моцарт таким, каким написал его Пушкин. Мне ясно, что Александр Серге-

евич его наделил и теми достоинствами, которыми обладал он сам — доверчивостью, потребностью в дружбе, богатством доставшейся гениальности.

Вдобавок еще и теми дарами, которыми мечтал обладать — беспечностью, гармонией духа, неистребимой способностью радования. Всем тем, что жизнью было недодано, она оказалась скупее судьбы.

Должно быть, и мне, уставшему маяться с мудреным своенравным характером, так осложнившим мне дни и ночи, понадобилось — хотя бы под занавес — увидеть счастливого человека. Ведь есть же какой-то неочевидный, но безусловный закон равновесия — пора бы уж встретить любимца богов. В каждом из нас существует уверенность — стоит почувствовать близость удачи, войти в ее зону, хлебнуть ее воздуха, и даже мгновенное прикосновение согреет и озарит твои будни.

Шумский к тому же так еще молод, в соку и силе, а старые люди, вроде меня, отравленные собственной юностью, все тянутся к зеленой весне и красному лету — это их участь.

Все мы, связавшие свою жизнь с Голгофой письменного стола, в какой-то мере больные люди. Можно назвать эту болезнь «высокой», можно назвать «проклятьем» — это зависит от темперамента, но прячешь ли ее от людей, или отважно, с каким-то вызовом, ее обнажаешь — суть не меняется: душевным здоровьем тут и не пахнет. Эпики, лирики, юмористы — эти последние в первую очередь — все они мечены черной меткой.

Одни проходят свой крестный путь, другие — до срока сходят с дистанции. Как принято говорить — их право.

5. ШУМСКИЙ

«А напоследок я скажу...» Этот богатый оттенками выкрик — тут и обида, и тайная гордость, и неуступчивость, и непокорство, и даже отчетливая угроза однажды свести с человечеством счеты — все вместе удивительным образом и уместилось и сосуществует в оборванной, вроде бы задохнувшейся от горечи и гнева строке. Как понимаю я эту боль, рожденную раненым самолюбием и мукой долгого одиночества. Ужо вам! Когда-нибудь вы опомнитесь, очнетесь, увидите, устыдитесь!

Не скрою, не раз и не два я испытывал такую же вязкую мешанину похожих удушливых ощущений, когда доводилось почувствовать кожей неряшливо спрятанную враждебность. Сперва я недоуменно роптал, потом запретил себе все реакции и, наконец, попривыкнув, ощерясь, заматерев на сквозном ветру, вдруг получил почти удовольствие — крепко же я вас достал, голубчики!

И все же невесело убеждаться, что ты незаслуженно приговорен к литературному остракизму. Поэтому дружеский оклик Безродова меня и порадовал, и удивил. Естественно, госпожа Ирония едва ли не сразу вызвала в памяти набившую оскомину строчку «старик Державин... благословил». Вспомнилось и письмо Григоровича юному Чехову — весь обязательный, традиционный набор сюжетов о том, как сходящие в гроб мастодонты напутствуют новых бумагомарак. Ну что ж, засвидетельствую почтение, а также признательность и благодарность за ваше отеческое внимание. Авось нам обоим достанет вкуса избежать торжественной многозначительности.

Все выглядело вполне пристойно. Мы обошлись без комической сцены передаваемой эстафеты и прочей театральной лужги. Старец был мил и неговорлив. Сказал, что мой опус ему явил не только то, что умею я нынче, но то, что я могу сделать завтра.

Смирненно потупив очи долу, я произнес положенный текст. Сказал, что со-знаю свою малость и, стало быть, не рвусь в альпинисты. Тем более я тяжел на подъем.

Безродов попросил не кривляться, а также не косить под пай-мальчика. На ангелочка я не похож. И письменный стол не лужок, а ринг. Словесность — это дама с претензиями, и скромникам в ней нечего делать. Уж если посягаешь на то, чтоб люди, забыв о своих заботах и о заслуженном ими отдыхе, уткнулись бы в мои откровения, я должен беседовать с ними всерьез. И рассказать им про то сокровенное, о чем не рассказываю ни матери, ни лучшему другу, ни даже под-душке. И дело не в ритуальных признаниях, речь о готовности к той обнаженно-сти, какая возможна в ночь перед казнью, когда нет времени для недомолвок.

Да, в нашей своеобразной профессии бесспорно присутствует — что тут ска-жешь — эксгибиционистский синдром. Но, верный бесу противоречия, я выра-зил легкое опасение, что эта бесстрашная исповедальность, поставленная, так сказать, «на поток», теряет в весе, теряет в силе, становится выверенным при-емом, этакой палочкой-выручалочкой, не думает ли он, что художество рискует перейти в ремесло.

Однако смутить его было трудно. Он не отверг прозвучавших сомнений, не поспешил вознегодовать. Вполне миролюбиво заметил, что ремесло — не бран-ное слово, а краеугольный камень профессии. Пусть и зависящей от вдохнове-ния. Последнее восходит на почве, обильно и щедро удобренной потом. Спро-сил меня, часто ли я задумываюсь о Главной Книге, какой ее вижу. На всякий случай я ошетинился:

— Хотите узнать, замышляю ли я национальную эпопею?

— Очень хочу, — сказал Безродов, — это весьма благородный замысел.

— Ну да, — кивнул я, — плох тот капрал...

Он усмехнулся:

— Именно так. Думайте чаще о маршальском жезле. А состязательное нача-ло столь же нормально, сколь неизбежно. Так же естественно, как честолюбие. Когда-то мне повезло услышать одну поучительную притчу. Учитель спросил учеников, что делает птица перед полетом. Они, поразмыслив, сошлись на том, что птица сперва расправляет крылья.

Учитель покачал головой.

— Нет, — произнес он, — прежде всего птица эта становится гордой.

И в этом есть правда. Такая гордость — необходимое чувство на старте, ког-да перед вами — громадная жизнь. Да. Разумеется. Стану маршалом.

Но мне досталось другое время. И тот, чьи лучшие годы жизни пришлось на русский двадцатый век, если однажды он дал себе слово остаться порядочным человеком, отказывался от этой гонки. И растиньяковские амбиции в той титу-лованной, сановитой, строго ранжированной литературе были, само собой, та-буированы.

Помню, меня тогда удивили не столько безродовские слова, сколько его из-менившийся голос. Обычно он излагал свои мысли неспешно, с усмешливым бесстрастием. Сейчас он потерял равновесие. Я принужденно улыбнулся.

— Спокойствие. Берегите нервы.

Помедлив, он хмуро пробурчал:

— Слишком уж много я видел вокруг погубленных, изувеченных судеб. Все эти преуспевшие люди были исходно обречены.

Я обронил:

— Их собственный выбор. Не сокрушайтесь о прохиндеях.

Безродов негромко проговорил:

— Поверьте, не все из них были ничтожествами. Но человеку, особенно пишущему, трудно обречь себя на молчание, тем более устраивать кладбище в ящиках письменного стола. Вы полагаете, те литераторы, которые ухитрились выгородить махонький островок пространства, были увертливые вьюны? Те, кто замолк, были робкими трусами? А те, кто попер на рожон, — обезумели? Поверьте, все они понимали.

Не сразу, но все-таки я решился:

— Скажите, как сами-то вы уцелели?

Безродов невесело усмехнулся:

— Не знаю. Согласен, похоже на чудо. Случалось, я себе позволял меланхолические вздохи. В далеком детстве меня ушибла однажды вычитанная фраза: любимцы богов умирают юными. И безотчетно я ей поверил. Мне втайне казалось, что долголетием природа расплачивается с людьми за то, что неряшливо их слепила и обделила своими щедротами. Теперь же, когда я сам дошагал до посвящения в аксакалы, я сознаю свою неблагодарность. Похоже, что обласкан богами. Как все, кому выпало существовать в благословенном двадцатом столетии, ходил по краешку. Но — повезло.

Когда мы прощались, он вдруг сказал:

— Однажды я видел вашего деда. Скажите, вы о нем вспоминаете?

6. БЕЗРОДОВ

Не знаю, пришлось ли ему по душе мои слова. Я допускаю, что он не нашел их вполне убедительными. Пожалуй, заподозрил лукавство. Но я ведь и сам не могу объяснить свою подозрительную удачливость иначе, чем прихотью лотереи.

Он покачал головой, усмехнулся:

— Ну что же, случается и такое. Кому-то должно было пофартить. Приятно думать, что время от времени рождаются такие счастливики. Даже завидно.

Я посоветовал:

— А вы не завидуйте. Изнуряет.

— Это я к слову. Фигура речи. Поверьте, рад за вас от души. Не каждый день встречаешь счастливика.

Я назидательно проворчал:

— Заметьте, молодой человек, люди, достигшие моих лет, не могут уже по определению считаться счастливыми.

— Вы — исключение. Я утверждаю не голословно. Могу даже привести аргументы.

Я сардонически осклабился:

— Ах, вот как?! Запаслись доказательствами?

— Не сомневайтесь. Я их оглашу. Вы совладали с двадцатым столетием. Вы обнародовали свои тексты. И недурные. Не замарались. Дамы к вам тоже благоволили. Как вас прикажете называть?

— Не вам бы распространяться о дамах. С вашей сомнительной репутацией.

— Сочтемся славою. Но — в другой раз. Нынче не я, а вы — в круге света. И я ведь нисколько не обличаю. Наоборот — отдаю вам должное.

— Благодарю вас. Весьма польщен.

Когда мы простились, я рассмеялся:

— Стало быть, я угодил в счастливицы...

Но, если задуматься, он ведь прав. Сколько неисчислимых тружеников пера и бумаги, которых я знал, смогли уцелеть в мясорубке века? Можно пересчитать по пальцам. Многие счастливы уже тем, что им позволили умереть дома, в

семье, на своей кровати. А я еще жив, все нет мне сносу. За письменным столом был удачлив. Чего не хотел, того не писал. И эти охочие на расправу бульдоги, цепные псы режима, кусали болезненно, но не насмерть — до полной гибели всерьез. И женщины — он правду сказал — были добры, радушны, уступчивы. А среди тех, кто однажды мелькнул, чтоб тут же исчезнуть, были такие, что навсегда впечатались в память. Было в них нечто неопределимое, что отличало от остальных.

Я был еще, в сущности, ребенком, когда привелось однажды увидеть невестку великого писателя, жену его любимого сына. Впрочем, вернее сказать — вдове. Прошло всего несколько недель, как молодого еще человека убила налетевшая хворь, но эта трагедия не погасила ни той победоносной улыбки, ни праздничного сияния жизни, которое женщина излучала. Она безусловно вполне сознавала свою королевскую власть над сердцами, это читалось в ее походке, в статности, взгляде, в каждом движении. Но в этой пленительной лучезарности таилось и нечто роковое. Впоследствии все ее мужья и те, кто оказывался с ней рядом, жили недолго и кончили страшно.

В ту пору встретила и вдова еще одного знаменитого автора. История этого союза была по-своему удивительна. Будущий классик случайно увидел красавицу, выросшую в Сибири и ставшую в Москве инженером, увидел и был сражен наповал, сразу же, в ту же минуту — насмерть. Но, что удивительнее всего, эта любовь оказалась взаимной. Юная женщина разглядела в лысеющем близоруким семите, коротконогом, с короткой шеей, — и страсть, и силу, и гениальность. Она ему подарила дочь и сохранила кержацкую верность его обесщеченному имени.

Спустя почти три десятилетия мне вновь привелось ее увидеть на триумфальной премьере спектакля, поставленного по рассказам покойного. Стройная, строгая — и все то же неразговорчивое достоинство. Только глаза ее излучали некое, ей лишь присущее знание. Я с чувством поцеловал ее руку, она чуть заметно качнула ресницами.

Несколько лет назад, неожиданно, меня попросил о встрече внук Бабеля, обосновавшийся в Филадельфии. Он объяснил, что приехал в Москву, чтоб покопаться в бумагах деда и, если это ему удастся, снять накопившиеся неясности. И, между прочим, мне рассказал, что сибирячка жила еще долго, перевалила столетний рубеж и умерла в двадцать первом веке.

Была и еще одна странная встреча, случившаяся в те же далекие, недобрые тридцатые годы в одной знаменитой кавказской здравнице. Меня привезла туда моя мать в каникулярное летнее время. Я был двенадцатилетним мальчишкой, причем привлекавшим внимание взрослых. Почти ежедневно строчил стихи, сам же охотно их декламировал. Слушатели не сомневались, что в будущем я стану поэтом. И все они дружно ошиблись, пусть даже страсть к сочинительству сохранилась.

Однажды одна пожилая москвичка, с которой мы там свели знакомство, сказала, что две славные дамы — она обо мне им что-то напела — обе — любительницы поэзии, хотели бы на меня взглянуть. И в тот же знойный июльский день на главной аллее громадного парка рядом с нарзанной галереей меня подвели к двум милым женщинам, которые оказались сестрами.

Старшая — ее звали Фридой — очень спокойная, очень уютная, очень домашняя, с первого взгляда расположила меня к себе. Другая — напротив — чуть испугала. Худенькая, легкая, ртутная, перемещавшаяся в пространстве с необыкновенной стремительностью. С ее необычным и юным лицом почти вызывающе контрастировала альпийская снежная седина, необъяснимая в ее годы.

И так же легко, напористо, с ходу, она вдруг задружилась со мною, нашла мои стишки «темпераментными», а вскоре, через несколько дней, вручила два отменных подарка — шахматы искусной работы и том Мопассана рыжего цвета, громадный, вмещавший, кроме новелл, романы — «Жизнь», «Монт-Ориоль», «Милый друг».

Эти дары я получил, когда побывал у нее в гостях в нарядном ведомственном санатории, в котором сестры проводили лето. Запомнились просторные комнаты, запомнился залитый солнцем холл. Там на кофейного цвета стене висели огромные фотопортреты. На первом раскуривал трубку вождь, а со второго на отдыхающих строго посматривал брат двух сестер, главный чекист, популярный нарком.

И книга, и шахматы так и остались в родительском доме. А я уехал. Однажды перебрался в Москву. На этот прыжок я решился не сразу, спустя полтора десятка лет. Непросто дались расставание с югом, с отцом, с голосистым приморским городом. Еще сложнее оказалось привить к северной почве южный дичок. И время для этого эксперимента я выбрал самое неподходящее. То были последние годы идола, непостижимого, немилосердного, скорого на суд и расправу. То черное, окаянное время, которое он провел на земле уже в состоянии помешательства, повергли в апокалипсический трепет не только несчастную страну, однажды попавшую в его руки, — застыла в ужасе вся планета.

Но в те золотые беспечные дни я был, по счастью, еще не готов серьезно задумываться о будущем, почувствовать приближение бури. И был я в ту пору дурак дураком, хотя иные взрослые люди считали, что я обгоняю свой возраст. К тому же громадное их большинство было немногим меня прозорливей.

Естественно, я был горд новой дружбой. И удивительнее всего, что Лиля сделала почему-то двенадцатилетнего мальчугана своим наперсником и confidentом. С какой-то отчаянной откровенностью поверяла мне свои секреты. И почти сразу же рассказала, что есть у нее большая любовь. Больше того, назвала мне фамилию пленившего ее человека. Фамилия эта была мне знакома. Принадлежала она известному, даже прославленному полярнику, была на устах у всей страны.

— Но пусть никто не узнает об этом, — сказала Лилия. — Не забывай: я открыла тебе свою тайную жизнь.

Я подтвердил, что она безусловно может на меня положиться. Думаю, что Лилия была достаточно одиноким созданием. Суть в том, что сестры принадлежали особому сановному кругу. Их старший брат тогда занимал одно из первых мест в иерархии. Он был наркомом внутренних дел. И в вестибюле санатория рядом с портретом курившего Сталина был расположен его портрет.

В конце августа мы вернулись домой. Уже приближался учебный год, меня ожидали школьные будни. Нас встретил соскучившийся отец.

— Ну наконец-то, — сказал он с чувством, словно отсутствие наше длилось не месяц с хвостиком, а непомерно, мучительно затянувшийся срок. Хоть был я и мал, но давно заметил, что всякая разлука с семьей дается ему с превеликим трудом. Ну наконец-то! Да я и сам как будто заново привыкал к оставленной в июне квартире. Она показалась мне тесной и темной, открытые окна были зашторены — так в нашем городе спасались от раскаленного лета.

Я почти сразу же ощутил, что мой отец при всей своей радости чем-то взволнован и озабочен. Когда я подробно ему рассказал о летнем знакомстве, он помолчал, потом заметил:

— Думаю, брату своих сестер сейчас не до отдыха. Много трудится.

В столице в те дни подходил к концу первый из трех знаменитых процессов, обрушивших тридцатые годы. На третьем из них Ягода просил гуманный суд сохранить ему жизнь, чтобы была у него возможность хотя бы из темницы сырой с восторгом следить за могучим расцветом «страны, которую предавал». В смиренной просьбе было отказано, а мне лишь оставалось гадать, какой была участь его сестер. От этих больных и колючих мыслей хотелось чем-нибудь за-слониться, но цепкая подростковая память упрямо и пыточно воскрешала серебряную голову Лили. И все вспоминалось, с каким волнением она просила меня хранить доверенную однажды тайну.

7. ШУМСКИЙ

Помнится, я спросил Безродова, как начались тридцатые годы.

Безродов мне ответил не сразу. Мне померещилось почему-то, что этот вопрос ему неприятен. Но после паузы он сказал:

— Когда начались? Второй гражданской, так же, как Первой мировой предшествовал некий стартовый выстрел. Похоже, Великое Кровопускание всегда предваряет ничтожный повод. В четырнадцатом году это был выстрел гимназиста в эрцгерцога, а двадцать лет спустя в Ленинграде — выстрел Николаева в Кирова.

Пусть даже это условная дата — стрельба началась гораздо раньше, да и когда она затихала? Однако на сей раз все развивалось столь же зловеще, сколь динамично. Вторая гражданская война стала прологом Второй Отечественной. Бесспорно, одна перешла в другую. История порой создает столь патетические трагедии, по первости вроде на ровном месте. И всякий раз находят психи, нажавшие на спусковой крючок. В Сараеве — вулканический юноша, а в Питере — несчастный мозгляк, свихнувшийся от неполноценности и безответной любви к жене.

Я только головой покачал:

— Не любите маленького человека.

Безродов меланхолично кивнул.

— Да, в самом деле, такая оказия. Кто любит того, кого боится. А кто — не любит. Я — не люблю.

Наверно, в тот день на меня напала какая-то странная глухота. Я почему-то не сразу понял, что он не расположен шутить. И вновь поддел его:

— Безобразие. А как же сакральные традиции самой гуманной литературы? Он усмехнулся.

— Как посмотреть. Словесность наша, конечно, гуманна, но сами писатели-гуманисты были достаточно жесткие люди. Возьмите хоть драматурга Островского. Не верится мне, что почтенный автор сильно жалел своего Карандышева. Он знал, на что этот фрукт способен.

— Понятно. Ленинградский Карандышев — стрелявший в Кирова Николаев — был тот, кто начал Вторую гражданскую. Но где тут война? Еще не было случая, чтобы на фронте палила в противника только одна из воюющих армий.

Безродов сказал:

— Не кипятитесь. Наша история богата на самые странные парадоксы. Четыре года мира в душе пришлось у нас на годы Отечественной.

— Пусть даже так. Но прошли тридцатые. Прошли роковые сороковые. Мы стали едины и целокупны. Вы растолкуйте мне, недоумку, имевшему счастье родиться позже, что же такого тогда стряслось? Война окончена, враг повержен. Лавры, литавры, гром победы. Так веселися, храбрый росс. Какого ляха тебе

неймется? Какого рожна усатый вождь впал в бешенство, просто с цепи сорвался? С какой белены? И чем так отчаянно его допекли юморист-неврастеник и старая царскосельская дама? Зачем был объявлен вселенский шабаш? Ответствуй мне, народ-победитель! Вы скажете мне, что народ безмолвствовал. Нет, не безмолвствовал. Ликовал. Он аплодировал и приветствовал. И в первых рядах — властители дум. Его наставники и профиты. Совесть его и его уста. Эти в особенности старались. Лезли наружу из брюк и юбок. И исполняли песни и пляски вокруг распятых своих коллег. Допустим, генералиссимус спятил. Но это прохиндеи — тоже?

Безродов вздохнул:

— А в этом безумии была не вполне нам доступная логика. Мы слишком возрадовались в том сорок пятом.

— И что приключилось в сорок шестом?

Безродов нехотя, будто досадуя на то, что я выбрал роль дикаря, хмуро оскалится:

— Да ничего. Просто поставили нас на место. Заставили наконец протрезветь. Генералиссимус дал понять, что он делиться победой не будет. Властный инстинкт у него был отменный. И заменял ему сантименты. Он быстро понял, что триумфаторами командовать не слишком легко. Вот и понадобилась ему еще одна — главная — победа. На сей раз — победа над победителями. И эту победу он одержал.

Прежде всего, должна была пасть свободная мысль. Она и пала. Он знал, что делал. Он объяснил, что зря мы расслабились, — война не кончена. Кончен бал. Что наступила очередь жатвы и освоения победы. И тут стало ясно, кто ее дети, ее наследники, кто ее пасынки. У нового времени — новые песни.

Нужна была сумрачная, ощеренная, боеговая страна, вытравившая из своего сознания эти иллюзии второго франта, чувствующая себя в осаде.

И в темную прорву с грохотом рухнуло казалось бы обретенное счастье.

8. ШУМСКИЙ

В тот день я с жестокой безжалостной ясностью, как будто впервые, увидел и понял, как он изнурен, обесточен и стар. Недолго осталось ему ворошить точную саднящую память. Я осторожно его спросил:

— Вы помните август сорок шестого?

— Такие августы не забываются.

— Я бы постарался забыть.

Он буркнул:

— А вам бы не удалось.

Я грустно напомнил:

— Люди беспамятны.

Безродов нахмурился.

— Да, но не те, что посвятили себя словесности. Это, знаете, особое племя. Литература — это память.

Не слишком ново, зато бесспорно. Есть несколько колючих картинок, они упрямо нейдут с ума. И все-таки в этом мудром суждении есть нечто неувлимо старческое. Так чувствует человек, сознающий, что самое важное и значительное уже состоялось, произошло, что он сейчас подбивает бабки, а впереди лишь короткая вспышка перед тотальным небытием.

И, словно подчеркивая, сколь верно мое ощущение, он продолжил размазывать свой старый клубок.

— Тогда я был зелен, юн, глуповат, и мне еще не были в полной мере ясны масштабы землетрясения. Должен сказать, что лучше всех прочих справилась с этим тайфуном Ахматова. Возможно потому, что прошла свою многолетнюю школу изгойства, она давно себя ощущала низложенной королевой в изгнании, и этот суровый душевный опыт, помноженный на уверенность в избранности, помог ей устоять на ногах.

А Зощенко — это особый случай. Должен признаться, что никого — а видел я много достойных людей — мне не было так пронзительно жаль. С одной стороны, он был отравлен своей разрушительной меланхолией, с другой же — был знаменит и признан, был даже всенародным любимцем.

Он безусловно знал себе цену. Знал, что ему удалось проникнуть в преображенную плоть языка, что он не только воспринял и понял всю суть и смысл преобразования, но — больше того — запечатлел его, освоил, сделал литературой.

И вот пришлось ему убедиться, что вновь пришедший хозяин жизни, носитель этого языка, равнодушно прочел его книги, услышал свой голос, увидел свой облик, что тот и другой его оскорбили. Они не совпали с самооценкой.

Расправа себя не заставила ждать. И обнаружилось: он не готов к ней, слишком разителен был контраст.

Впрочем, последствия проявились еще и в будущих поколениях. Могу судить по себе самому. Мне было дано красивое детство. И вместе с тем — опасное детство. Несколько раз Госпожа История прошелестела в пугающей близости. При некоторой большей активности я мог угодить в большую беду. Низкий поклон моему отцу — он сделал все от него зависящее, чтоб я отсрочил бросок на Север, чтоб встреча с непостижимой столицей произошла бы возможно позже. В том, что я несколько раз оказывался у грозной бездны на краю, он был несколько не виноват. Я унаследовал, как оказалось, не мудрость отца, а кровь и азарт не в меру честолюбивой матери. В конечном счете, мне повезло. И нынче мы с вами мирно беседуем. Вы — будущий завоеватель жизни и я, доживающий темный свой век, несостоявшийся писатель.

Я неуверенно пробормотал:

— Слишком безжалостно.

Безродов помедлил, недобро оскалился:

— Возможно. Зато — нелицеприятно.

Ну что ж, по-своему, старец прав. Но каково ему жить на свете с этой поистине разрушительной, самоубийственной правотой?

Однажды я вспомнил в его присутствии о Пастернаке. И тут же почувствовал, что он задет. Мне вдруг показалось, что он ощутил утаенный упрек. С какой-то необъяснимой запальчивостью он вдруг произнес, что Борис Леонидович был наделен не одной гениальностью. Помимо нее — немалым умом. Что выговорил себе свое право на образ и на статус отшельника. Чем безусловно продлил свои дни. По мысли Безродова, был подписан негласный, но все же ратифицированный пакт о взаимном ненападении. Дающий к тому же особое право заполнить вакансию поэта.

Тогда я не возразил ни словом. И все же весьма раздраженно подумал, что сам-то Безродов — не Пастернак. Всего лишь достойный литератор. Готов согласиться — и это немало. И все же не может перечеркнуть нашего с ним несовпадения. Чем оно вызвано? Кто ж это знает? Важно лишь то, что оно существует, не оттого, что не совпадают наши концепты и наши страсти... Попросту — не совпадают ритмы.

С тайной досадой я сознаю, что суетен, неучтив, невнимателен. Что оглушен своими делами. Своими дамами и приятелями. Поэтому я собой недоволен, а это злит меня, мне не по вкусу быть недовольным самим собой.

Я благодарен ему за тепло, которое от него исходит, за эту отцовскую расположенность. Готов поставить ему в заслугу, что он хотя бы не хорохорится и понимает, что разделил с двадцатым веком его банкротство. Не следует попыткам ровесников любыми правдами и неправдами отгородиться от этого злобно-го и изнурительного столетия. И век был его, и банкротство — тоже, они повязаны нераздельно. Последнее мужество беглеца, не выдающего свой побег за подвиг — хорошо хоть, что так.

Я уважительно отношусь к тому, что удалось ему сделать, могу поклясться, что не болею смешным поколенческим шовинизмом, но нет у меня насущной потребности в каком-либо интенсивном общении. Ну нет ее, и где ж ее взять? Все, что он может сказать, я знаю. И неожиданностей не жду.

Пусть тешится своей незапятнанностью. Ему так нужно, ему так легче. Но оба мы — он и я — понимаем, что он всего-навсего увернулся.

Так пусть гордится, что был свидетелем Варфоломеевских ночей, что совладал с двадцатым столетием. Пусть в нашем бюргерском двадцать первом ему подсознательно недостает масштаба, который присущ трагедии. Я обойдусь без трагедии, хрен с ней, ворюга мне милей кровопийцы.

9. ШУМСКИЙ

В ящичке письменного стола, стоявшего в его кабинете, я с удивлением обнаружил большой незаклеенный конверт неопределенного цвета с густо испи-санными листками. На конверте было написано — «Шумскому». Я так и не по-нял: раздумал Безродов его отправить или попросту уже не успел этого сделать.

10. БЕЗРОДОВ

Скажи, Перевозчик, а долго ли нам
В челне твоём плыть до берега?
— Два взмаха весла — и мы уже там.
Недолго плыть. Не Америка.
— А есть ли имя у этой воды?
Сулит ли она добро нам?
— А имя ей — Стикс. Смывает следы.
Меня же зовут Хароном.

Милый мой Влад! Написал Ваше имя и сразу же вспомнил Ваш рассказик о том, как в возрасте пяти лет Вы отвергли привычное имя Волик и просто заста-вили папу с мамой Вас величать не иначе как Владиком.

— Мой первый бунт, — сказали Вы мне, — был связан с улучшением имиджа. Эта история мне понравилась и, как Вы видите, запомнилась. Очень она красноречива. Все мы стремимся прихорошиться, хоть и не всем это удается. Приходится жить с самим собою. Каким слепили отец и мать.

Иной раз это обходится дорого. Ибо присущее нашему брату почти обяза-тельное недовольство работой родителей небезопасно. Даже коварнее нарцис-сизма. Сперва становишься неудачником, потом ненавидишь весь белый свет. В зародыше всех тектонических сдвигов, трясений почвы, кровопролитий — все та же первородная зависть.

Чтоб оправдать все наши попытки усовершенствовать собственный образ, мы называем их самостроительством. Желчные люди чаще всего их объясняют нашими комплексами. Не можем-де примириться с данностью и дергаемся — все нам нейдет.

О том, что профессия моя вероломна и может однажды загнать меня в угол, я догадывался давно. Но только вступая в грозный период, который следовало бы назвать «Мафусаиловой болезнью», я понял, как она жизнеопасна.

Сравнительно скоро после рождения мы постигаем свою зависимость — от воли родителей, от погоды, от непредсказуемых поворотов. А стоит нам повзреть, убеждаемся с печальной ясностью: мы — заложники. Заложники собственной семьи, заложники возникающих связей и, наконец, заложники срока, отпущенного нам на земле. Наша единственная возможность хоть несколько ослабить удавку, затянутую на горле Временем, это расширить свое Пространство. Других возможностей нет у смертного. Поэтому идея побега так властно овладевает душой.

Все знаменитые путешественники прежде всего испытали силу этой неодолимой потребности. Чтоб не обидеть ближайших родственников, своих друзей и своих сограждан, они ее объясняли достойной и благородной жадью познания. Дело не в том, что стали тесны улицы детства и отчий город — дело единственно в их стремлении постичь и измерить эту планету. Впрочем, однажды приходит день — тесной становится и планета.

Кровавая мука двадцатого века, в конце концов, изошла, завершилась. И те, кто остался, кто уцелел, все эти выжившие мутанты вдруг обнаружили себя в новом, непознаваемом двадцать первом.

Как прояснилось, в него просочилась самая разношерстная публика — тут и счастливчики, и прохиндеи, и, разумеется, серые мыши, вылезшие из своих убежищ, и ветераны, и мародеры, и попросту розовые птенцы, вылупившиеся на свет из яичек.

Этим придется трудней всего — без веры, без идолов, без религии, без мифов, без всяких опор для духа — не знают, как выстроить свою жизнь, к чему прибиться, на что надеяться.

Унылый протухший кисель безвременья, в котором бессмысленны все усилия. С одной стороны, они понимают неотменимость и необходимость какой-то путеводной свечи, с другой стороны, любая идея всегда чревата идеологией, а это стало запретным словом — за ним угадывается система с ее неизбежными ограничителями и жестко отмеренной территорией.

Все прочее — дело твоей удачи. Мое кустарное производство делало не вполне обязательным кружение в профессиональной среде, и, может быть, кабинетные будни продлили мне дни — многолюдное общество всегда сокращает твой срок на земле.

Люди испытывают к геронтам сложное чувство. Их можно понять. Иной раз общение с нашим братом вдруг обдает могильным холодом.

Поверьте, я на них не в обиде. Да мне и комфортней с самим собой. Не нужно ничего объяснять, не нужно все время следить за собою. Оправдываться. Просить снисхождения.

Мой возраст и непрост и опасен. Не спрашивая моего согласия, он красит в свой невеселый цвет решительно все, что меня окружает. Солнце, заглядывающее в окно, не столько освещает твой мир, сколько напоминает о тьме, которая ждет за поворотом.

Но есть и у этой печальной поры свои преимущества — я неспроста давно уже не пишу романов. И с каждым днем мне все очевиднее достоинства литературной аскезы. Все строже я сторонюсь излишеств, все больше опасаясь избыточности и неумеренности пера. Потребность в графике все сильнее.

И все же так хочется договорить! Старая притча о мудреце, который вместил в одну строку всю долгую мировую историю: «Люди рождались, люди надеялись, люди страдали и умирали», — неоспорима и несомненна. И слава Богу —

недосягаема. Если бы нам дано было взмыть на эту альпийскую высоту, кончилась бы не только словесность, не только мысль, но разомкнулась бы спасительная связь поколений. Только поэтому каждый из нас и ощущает — пусть подсознательно — свою безусловную необходимость. И я, которому остается всего лишь шажок до последней ямы, сижу за столом как приговоренный.

О да, колодец может иссякнуть. Мало ли на своем веку видел я мечущихся собратьев, подавленно себя уверявших: «Еще не вечер, я еще жив!». Не знаю, есть ли жизнь после молодости. Я чувствую, как близок мой финиш. Возможно, вся беда моя в том, что я и выкипел и додумал, а чудится, что не хватило времени.

Подумать, что даже поэт наш нервничал! «Мне должно действовать, я б каждый день...» Это ему, это ему казалось, что он не все еще сделал, не все еще из себя исторг! И в самом деле, ведь он был молод! В том-то и суть. Он был так молод! Что ж говорить о простом литераторе, который уже проводил свой век? Его-то колодец давно мог высохнуть.

На что мне надеяться после молодости? Стоит увидеть Вас, и так горестно я сознаю, как давно я в пути.

Но старому графоману нейдет. И хочется вцепиться в стило, вновь покрывать бумагу знаками, в тысячный раз пытаться успеть — закончить, выплеснуть, досказать. Теперь-то я понял, что означает жизнь наперегонки со смертью. Не только разумом, но и кожей, ветхой своей шагреновой кожей, понял, что значит существовать, да и трудиться в ее присутствии. Чувствовать ледяное дыхание — вот она. Рядом. Вот она — здесь.

Впрочем, пора и остановиться. Тихо сказать себе на ушко: «Спокойствие. Все не так уж плохо». Призвать на помощь размер и рифму. С ними сподручнее упорядочить разорванные мысли и строчки: «— Выпал из жизни своей, что мог? Вот и довольно с тебя, дружок».

Влад! Присядьте за письменный стол. Время отмерено. Часики тикают. Сделайте то, что обязаны сделать.

Отчетливо вижу в эту минуту знакомую усмешку Шумского. Она возникает на Ваших губах мгновенно, стоит лишь Вам почувствовать чуть слышный патетический звук. И все же скажу: совершите подвиг — станьте вровень с самим собой.

P.S. Однажды учитель задал вопрос: «Что делает птица перед полетом?». Ученики, поразмыслив, сказали: «Должно быть, она расправляет крылья».

Учитель покачал головой. Потом негромко проговорил: «Нет. Птица, перед тем как взлететь, прежде всего становится гордой».

P.P.S. Как все же быстро прошла, промелькнула, погасла, как искорка, моя долгая, моя Мафусаилова жизнь. И оказалось, что всей ее длительности мне не хватило, чтоб убедиться в своей конечности — в этой банальной, давно известной мне неизбежности.

Но как была она хороша! Так долго, столько десятилетий, снился один благодатный сон — счастливое самозабвенное плаванье в Великом Океане Словесности. С болью подумалось, что так скоро мне предстоит навсегда проснуться на новой, чужой, беззвучной планете, где книги молчат и царит немота.

11. ШУМСКИЙ

— А напоследок я спрошу...

Смутные, невеселые дни выпали мне, Александр Безродов, когда я раскладывал, разгребал, посылно выстраивал ваши записи. Нет, неспроста, в недалекую пору, когда вы были одним из нас, существовали на этом свете, я все откладывал свой визит и так беспечно проигнорировал ваше присутствие в этом мире.

А между тем, и вас и меня тревожило, в общем, одно и то же. И оба не находили ответов, и оба нервничали, мрачнели. Вы уже обрели покой. Я продолжаю свои попытки.

Не знаю, будет ли в близком будущем востребована наша профессия. Но все же отчетливо понимаю: литература эпохи рэпа — это другая литература. Не та, которой мы оба привержены. И вряд ли мы для нее годимся.

Понятно — беда не в одних лишь авторах. Люди советского эксперимента в определенной мере — мутанты. Им не хватило сил на любовь, даже на ненависть — лишь на зависть. В них больше терпения, чем терпимости. Они безусловно предпочитают идеологию идейности, прямолинейность — прямоте, единый цвет — обилию красок. Их правила плоски, кодексы чопорны, всякая ересь их озлобляет, а подлинная страсть настораживает.

Но между тем, из тощего чувства не может родиться большая мысль. В сущности, нам удалось упразднить даже подобие философии, а без нее исчезает потребность в возникновении новых смыслов.

Могу лишь представить, как беспощадно обуздывали вы свой темперамент, свой южный запал, свой жгучий норов, которые некогда к вам привлекли внимание сонной аудитории.

Однажды вы принесли их в жертву за право существовать в словесности. Почти ритуальный российский обряд. И вам ли сетовать на обстоятельства? Сами же написали стишки: «Выжал из жизни своей что мог? Вот и довольно с тебя, дружок». Были у вас и свои печали, но надо ведь дорожить и печальями, печали и делают нас людьми.

Я помню, как впервые пришел к вам, помню и то, с каким интересом тогда вы разглядывали меня. Словно пришельца с другой планеты. В конечном счете, другое время — это и есть другая планета. Вам так хотелось определить, какие черты и какие свойства роднят меня с наступившим временем. Я вдруг ощутил, что вы проницаемы, что очень худо защищены. Вдруг осознал, что опыт — не щит и уж тем более не броня. Прежде всего он — тяжелое бремя.

Прощайте, Александр Безродов. Мне будет не хватать вашей грусти, мне будет не хватать вашей желчи и вашей графоманской неистовости («блуд труда» — говорил о ней Мандельштам). Я помню, как вы однажды спросили — себя, разумеется, не меня — «Имеет ли все-таки оправдание такая долголетняя жизнь, вся проведенная за столом?» Не знаю. Таков был ваш способ жить.

Прощайте. Невеселые дни выпали мне, пока я копался в ваших бумагах, пока их выстраивал. Я попытался исполнить долг, при этом отчетливо сознавая, что всякая исповедь обречена остаться неполной, а главная тайна — невысказанной, произнесенной.

Забавно, что нас, таких несхожих, томили, в сущности, те же страсти, что оба мы пытались понять, чем провинилось наше отечество и в чем его первородный грех — за что досталась ему однажды его тысячелетняя ноша? И почему, по какой причине все-таки выбрало несвободу? Осознанно? О, нет, разумеется. Попросту, как чеховский Фирс, привыкло за эту тысячу лет к своей патерналистской гармонии. Но если исток и корень — мы сами, и если это и впрямь наш выбор, тогда, как говорится, хана — нам этот узел не развязать.

А все же не зря ведь нейдет с ума эта любимая ваша сказочка про пташку, собравшуюся в дорогу. Что ждет меня на земле и в небе? Не знаю. Но перед тем как взлететь, птица должна почувствовать гордость. Буду искать свой способ жить.

7 июня 2013 года

Леонид Зорин

Стук колотушки

МОНОЛОГ

*Все сцеплено — сплелось, смешалось —
Не различу, не разомкну
Свою последнюю усталость
И первую свою весну.
Беспечное очарованье
Смешной мальчишеской мечты
И леденящее дыханье
Тобой осознанной тщеты.*

Я рано услышал, что Бог меня любит. И должен сознаться: у тех, кто так думал, были для этого основания. Все начиналось и шумно, и жарко, с какой-то даже южной чрезмерностью.

Впрочем, та первая волна схлынула достаточно быстро, за нею пришел сезон отлива. Теперь уже чаще мне доставалось. Похваливали, напротив, скупо, однажды одобрили лаконизм.

Один пронизательный человек, чьим мнением я дорожил в особенности, даже назвал меня «минималистом» — помнится, это определение по-настоящему мне польстило.

Я в самом деле долгие годы выращивал в себе это свойство. Первоначально мое перо было размашисто и неумно. Я долгие годы его обуздывал.

«Хотел бы в единое слово...» Да где ж его взять? Единое слово увертливо, его не ухватишь. За письменным столом возникала всегда докучавшая мне болязнь — не утопить бы в словесном потоке главное чувство и главную мысль.

Порою я даже себе позволял мысленно упрекнуть исполинов, оставивших нам библиотеки. Я знал — чтоб написать свои книги, они себя доблестно обрекли на аскетическую жизнь, и все-таки порою ворчал: у автора должно быть к тому же и аскетическое перо.

Впоследствии мне пришлось убедиться: чтобы писать с достойной сдержанностью, необходимо сдержанно жить.

Надо сознаться, что путь к этой истине занял у меня долгие годы.

Как всякий южанин, я был наделен чрезмерной пылкостью и при этом весьма тяготился взрывчатым нравом. Покойный отец и мягко, и точно мне подсказал, где расположено мое уязвимое местечко. Он делал это с немалым терпением, долбил, как дятел, все в ту же точку.

Однажды я ненароком подслушал, как моя мать его укоряла.

Она сердилась:

— Что ты с ним сделал? Был шумный, жаркий, живой человечек. Ты превращаешь его в ледышку. Зачем перекраивать натуру, доставшуюся ему от рождения? Как в старину говорили — от Бога. Он на глазах моих — можешь порадоваться — становится не тем, кто он есть. Порой я его уже не узнаю. Ты что же, действительно хочешь, чтоб он жил не своей, а чужою жизнью?

Отец помедлил, потом сказал:

— Я думаю прежде всего не о том, как ему жить, а как уцелеть. Это важнее и актуальней.

* * *

Все чаще я себя вспоминаю совсем еще молодым человеком, однажды ринувшимся в Москву в надежде найти в ней свой уголок, прибиться, прижиться, укорениться.

Мне предстояло воплотить еще одну версию очень старого, неувядающего сюжета — «молодой человек из Ангулема».

Однако изящная словесность никак не могла предусмотреть казарменных московских реалий в самом конце сороковых неласкового жизнеопасного века. Тот обаятельный удалец из Лангедока или Прованса не должен был собственными боками знакомиться с институтом прописки, скрываться от милицейских досмотров, не раз и не два ночевать в подъездах. Он не блуждал по столичным улицам, поглядывая на освещенные окна — за ними мелькали тени счастливцев, однажды родившихся в мегаполисе. Чего бы не отдал я, не задумываясь, из скудных даров своей биографии, чтоб поменяться с ними местами! Но что я мог предложить взамен?

Меж тем сегодня я понимаю, что не был так обделен судьбой, как мне это казалось в ту осень. Я был достаточно жизнестоек и слепо верил в свои возможности. Я, наконец, был бодр и молод. Не много. Но и не так уж мало. Теперь-то я знаю, что те понятия, которые кажутся нам почерпнутыми из мифов, легенд и старых книг, материальны и осязаемы, больше того у них существуют свои энергия, вес и плоть.

Нет спора, реальность была суровой. Случайно найденное жилье — убогая запроходная комната — мне тоже было не по карману. Но зыбкость моего бытования определялась не только бедностью.

Тот угол, который я подыскал, был столь же ненадежным пристанищем — дунь на него — и он исчезнет, — как неприметная паутинка. Хватило б и легкого взмаха швабры, чтоб и следа от нее не осталось.

Однако никто из моих соседей так и не намекнул участковому о появлении нелегала. Я несколько лет просуществовал на птичьих правах, пока обстоятельства мне не позволили выйти на свет.

Я неспроста так упрямо, так часто все возвращаюсь к тем временам. Этот кусок моей нищей юности, верно, и стал моей главной темой. Видимо, каждому литератору так и написано на роду выстрадать право на дело жизни. Может быть, европейский климат мягче и от людей пера не требует низменной готовности к тяготам, искусам и передрягам. Но у Евразии, очевидно, свой воздух, свой лед, своя ноосфера. Своя драматическая судьба. Наша отечественная история свидетельствует, что право на слово небезопасно, да и кроваво.

Разворошив кладовые памяти, наверно найдешь двух-трех счастливцев, но имена их не заглушают горькую музыку мартирологов.

Все мои думы и все мои страсти были насыщены и переполнены мечтой о Москве, тоской по Москве, горячечным ожиданием встречи. Самые ясные, звонкие годы были отравлены изнурительной, не отпускавшей меня лихорадкой. Молодость в южном портовом городе, пестром, певучем, разноголосом, казалась бесцельной и неподвижной, стремительный листопад тех дней томил мою душу, одна только мысль настойчиво жгла воспаленную голову — какая преступная расточительность, как безоглядно я трачу время, единственное мое сокровище!

Вот так, в этом странном анабиозе, бесследно растают мои возможности решительно изменить свою жизнь. В услужливой памяти шелестели когда-то прочитанные страницы о трогательном уюте провинции, об улицах детства, об

отчем доме. Я лишь угрюмо скрипел зубами — дернул же дьявол меня родиться за тысячи верст от огней Москвы!

Потом, повзрослев, я часто посмеивался и над дорожной своей лихорадкой, и над своей мальчишеской верой, что воздух столицы и есть та аура, которая наполнит перо энергией и заразной силой — стоит решиться, стоит дерзнуть; сесть в поезд, который на третьи сутки доставит тебя на Курский вокзал, чуть ступишь на освещенную площадь, шепнешь себе: ну вот я в Москве — и жизнь по взмаху волшебной палочки покатится по звездной дорожке.

Какая-то мантра, самогипноз! И все же сегодня, когда вот-вот ударит мой двенадцатый час, я с удивлением обнаруживаю, что та петушиная отвага не так уж была смешна и пуста. Впоследствии я не раз убеждался, что осмотрительные люди, даже выигрывая жизнь, с треском проигрывают судьбу.

При этом я вовсе не ощущал в себе ни авантюриности, ни мушкетерства и не был избыточно наделен спасительной молодой безоглядностью. Я сознавал, что в родном моем городе нет у меня ни единого шанса, но видел, что будущее в Москве зыбко, качательно, неразлично. Москва ни слезам, ни словам не верит, в ее пределы со всех сторон спешат кочевники, бедолаги, мечтатели и ловцы удачи — возможно, что двум или трем из тысячи она улыбнется и снизойдет. У остальных невеселый выбор — либо признать свое поражение, ни с чем вернуться в постылый дом, либо кружить по родной стране, не ведая, где найдешь свой угол.

Все это так, но нет вариантов. Я ощущал опасную двойственность моей ситуации — вот и привязан к городу детства, а как в нем жить? Тесно и душно, и нет надежды. Тот озорной костерок в душе, который потрескивает в ней сызмальства, здесь не окрепнет, не разгорится. Год-два и скукожится, изойдет. И все скопившиеся во мне и рвущиеся наружу слова, как реки в море, впадают в одно. Оно вместило мою тревогу, мою бессонницу, мою страсть. Шесть букв, замкнувших в себе весь мир.

Нельзя терять ни дня, ни минуты. И то и дело я вспоминал однажды пронзившую меня притчу.

По молчаливому коридору вдоль келий бредет монах с колотушкой. Стучит ею в двери и повторяет: «Прошло еще полчаса вашей жизни». Мне даже казалось: я внятно слышу и этот стук, и эти слова.

Почти такой же силы воздействие произвела на меня и лента о Томасе Альве Эдисоне. В особенности главная сцена.

Белоголовый поникший старик устало принимает восторги и поздравления пестрого сборища — юношей в смокингах, стройных дам. Все они собрались, чтоб отпраздновать великую сакральную дату — торжественный юбилей электричества.

— Что в этой жизни дороже всего? — спрашивает молодой человек.

Старец невесело улыбается, меланхолично бросает:

— Время.

Это короткое грозное слово, вместившее концы и начала, помнится, меня оглушило. Перевернуло. Прошло насквозь.

Впоследствии с таким же волнением читал я о жизни профессора Любищева, преподававшего в Ульяновске — бывшем Симбирске: он героически пытался остановить минуты, использовать каждую до конца, вычерпать, осушить до доньшка все заключенные в ней возможности. Это была при всей обреченности эпическая борьба с чудовищем.

Каким-то непостижимым образом наши ни в чем не совпадающие, такие несходные биографии внезапно скрестились и переплелись. Одна моя крамольная пьеса его взволновала, он с личной болью воспринял правительственную кувалду, обрушившуюся на голову автора. И этот рачительный страж мгновений, стремившийся, чтоб ни одно из них не кануло, не пропало попусту, не ис-

черпав себя до предела, не пожалел ни часов, ни дней, потраченных на гневные письма в защиту опального драматурга.

Мне все же привелось их прочесть. Вот только некому было выразить переполнявшие меня чувства. Его уже не было на земле.

И так же не успел я послать слова благодарности и Сахарову. Однажды — по странному побуждению — он принял решение подчеркнуть свой переход к конфронтации с властью письмом в защиту гонимой пьесы. Я вновь драматически не успел. Поистине было нечто фатальное и в этих запоздалых открытиях, касающихся собственной биографии, и в этой бесстрастно обрубленной временем, невысказанной признательности призракам. То ли мне было так предначертано, то ли не дано было небом счастливой участи быть услышанным.

Но все эти бури — рождение пьесы, ее недолгая жизнь на сцене, державный запрет и державный гнев, кончина великого режиссера, который по вине драматурга утратил созданный им театр, моя чахотка и смерть отца — все это было еще впереди, все эти вихри, громы и молнии соткались, срослись, сотрясли и высветили мои пятидесятые годы безумного двадцатого века. А в первые мои дни в Москве кому какое могло быть дело до молодого провинциала, мечтавшего разглядеть хоть грошовый незанятый клочок территории.

Возможно, что лишь в моей неприметности только и мог созреть росток свалившейся на меня удачи. Я был драматически одинок, никто не знал меня в этом городе, никто в нем не был знаком и мне. В сумрачной каменной цитадели не было у меня никого, ни покровителей, ни ненавистников. Долгими темными вечерами я брел по бесконечным кварталам, смотрел на равнодушные окна, ронявшие свой золотистый свет на тротуары и мостовые.

Впрочем, была в этой грозной пустыне славная дама Софья Платоновна. Служила она в Комитете искусств, считалась влиятельной особой. Знакомство было почти случайным, во время ее командировки в наш южный город я был ей представлен — вот, обратите ваше внимание, еще один местный экспонат. Кстати, не чуждый драматургии. Пробует себя в этом жанре.

Московская гостя меня оглядела цепким, всеподмечающим взором. Бросила горсть ободряющих слов. Вот, собственно, все, что произошло. Но примечательной подробностью нашей непродолжительной встречи была ее визитная карточка, которую она мне вручила.

В ту пору подобные сувениры были, естественно, раритетны, читал я о них в почтенных книгах о жизни давно уже отшумевшей, — немудрено, что я был польщен этим знаком отличия. Да и сама она мне приглянулась. Понравилась во всех отношениях. Заметно, что цену себе она знает, но вместе с тем готова вас выслушать, демократически обойтись, ободрить, проявить интерес. Она безусловно держала дистанцию и вместе с тем ничем не поранила щенячьего южного самолюбия совсем еще юного собеседника — норовом я наделен был сверх меры. Она и по-женски меня задела. Не скрою, в тот грешный сезон моей жизни все женщины меня волновали, и в каждой я мог найти свою прелесть, но тут был, бесспорно, особый случай. Она была более чем привлекательна, изящно умна, но, должен сознаться, при всем обаянии Софьи Платоновны сильнее и опасней всего воздействовала ее столичность, другого слова не подберу. Для молодого провинциала московского нимба хватило с избытком, а то обстоятельство, что она уже приближалась к сорокалетию, лишь добавляло ей привлекательности. Зрелые дамы кружили мне голову, не прилагая больших усилий.

Мне все-таки хватило мозгов, чтоб не придать большого значения ее деликатной доброжелательности. Я понимал, что она исходит из такта, вкуса и воспитания. Я дал себе слово, что, оказавшись в столице, ничем ее не потревожу и не напомяну о нашем знакомстве. Тем более во время беседы она упомянула о муже. При этом добавила не без изящества: «Это такой разумный союз двух убежденных холостя-

ков». О нем она рассказала скупо, я понял, что Александр Михайлович весьма немолодой человек, старый член партии, больше того, стоял у самых ее истоков.

Однако октябрьские дожди, московские джунгли, мое одиночество — все вместе смирило мою гордыню. И, выйдя под вечер в коридор, где в очереди теснились соседи, поглядывая на телефон, я скромно занял свое местечко.

Когда аппарат освободился, я поднял трубку, набрал ее номер, и вот, наконец, спустя полгода, услышал голос Софьи Платоновны:

— Слушаю вас.

Я поздоровался, назвал себя, напомнил о том, что меня ей представили, когда она была в нашем городе. Спросил, могу ли ее навестить.

Софья Платоновна помедлила, потом негромко произнесла:

— Ну что ж, приветствую вас в Москве. Если свободны, то приезжайте.

Жила она на Страстном бульваре, в занявшем половину квартала громадном многоквартирном доме.

Явился я минута в минуту со скромным букетиком белых астр.

Дверь после звонка открылась не сразу, медленно, словно с опаской, нехотя. Софья Платоновна не поздоровалась, лицо ее было строго и сумрачно. Мне показалось, она колеблется, не знает — впустить меня или нет. Несколько коротких мгновений мы так и стояли, почти неподвижно. Она негромко проговорила:

— Александр Михайлович арестован.

Я окончательно растерялся, потом нерешительно спросил:

— Можно войти?

Софья Платоновна снова внимательно, точно колеблясь, меня оглядела и наконец сказала:

— Прошу.

Я молча проследовал в первую комнату, дверь во вторую была приоткрыта, я понял, что там размещается спальня.

Рядом с окном стояла кушетка, в нее упирался овальный стол. В окне был виден вечерний Страстной, за ним тянулась необозримая и бесконечная улица Горького — так называлась тогда Тверская.

Присев на стул с кокетливой спинкой, чем-то напомнившей мне гитару, я неуклюже нарушил паузу. Задал не слишком умный вопрос:

— Вам не объяснили, в чем дело?

Она усмехнулась. Пожала плечами.

— Александр Михайлович, как вы знаете, из племени старых большевиков. Люди эти, как правило, очень редко кончают жизнь в своих постелях.

Добавила:

— В тридцать седьмом пронесло. Непостижимая удача. Целых двенадцать лет отсрочки.

И резко переменяла тему.

— Давайте поговорим о вас. Итак, вы решились на важный шаг. Приехали штурмовать столицу?

Возможно, впервые мне удалось увидеть себя сторонним взглядом. И, может быть, впервые я понял, что зрелище это не из приятных. Я выгляжу молодым идиотом. И в малой степени не похож на удальца из галльских романов. Так же, как эта столь вожделенная многоэтажная пустыня ничем не схожа с волшебным городом, который нетерпеливо ждет свидания с юным авантюристом.

Софья Платоновна вздохнула.

— Итак вы решились на переезд.

Я виновато кивнул.

— Решился. В моем живописном портовом городе я исчерпал свои возможности. Мог разве только переводить произведения местных авторов.

Она сказала:

— Почетное дело, но вы, разумеется, не годитесь для просветительских трудов. Насколько я успела заметить — юноша пылкий и амбициозный. С чем вы пожаловали в Москву? Кроме сопутствующих надежд?

Я покраснел.

— С произведением. Я написал этим летом пьесу.

Она усмехнулась.

— Ну разумеется. Это едва ли не закодировано. Самый соблазнительный жанр. Зал переполнен, партер и ложи — в нетерпеливом ожидании.

И покачала головой.

— Нашли же вы самое точное время возникнуть в Москве. Вас только и ждут. Явились в самый разгар газавата, священной отечественной войны с безродными космополитами. Что называется, обнаружили в точное время в точном месте. С анкетой, мягко сказать, вызывающей. Действительно — снайперское попадание.

Как не признать ее правоты? Война народная нарастала. Она крепчала день ото дня. И в эти-то жизнеопасные дни в старейшем отечественном театре ждет своей участи моя пьеса. Все это выглядело диверсией в стенах национальной святыни. Вызовом более откровенным, чем даже библейская родословная, смахивающая на автомишень.

Но мало того что сваял дурака — ввязался в безнадежное дело. Еще и пришел рассказать об этом в опасно накренившийся дом. Софья Платоновна безусловно заметила, что я сильно сконфужен. Однако и следующий вопрос окрасила иронической ноткой.

— Кому-нибудь показали свой опус? Или благоразумно припрятали?..

Сгорая от стыда, я сказал:

— Да. Я отнес его в Малый театр.

Она вздохнула.

— Само собой. Начали с национальной святыни. Последовательно. Зачем мелочиться?

Потом, оглядев меня, осведомилась:

— И что вам сказали?

— Чтоб позвонил в литературную часть через месяц.

Я умолчал о том, что почувствовал, увидя, как пьесу зарегистрировали в громадном и пухлом фолианте мышинового цвета, что я разглядел сразивший меня порядковый номер — четырехзначное число. В тот миг я понял всю смехотворность своей бессмысленной авантюры. И кто же я сам? Какова моя роль? Трагикомический персонаж, мальчишка из племени графоманов.

Но отступать уже было поздно. И, попрощавшись с суровой дамой, которой вручил свое бедное действие, я вышел из шестого подъезда Дома Островского — передо мной во всей своей царственной неприступности лежала одна из твердынь империи — осенняя Театральная площадь. Литые колонны Большого театра, казалось, готовы были обрушиться на дерзкую голову провинциала. Мимо меня текла озабоченная, не видящая меня толпа.

Я помню овладевшее мною неясное, клочковатое чувство. Оно было пестрым, разнообразным, смешавшим краски и полутона. Мне вдруг показалось, что в ту минуту, закрыв за собою массивную дверь, я отделил от себя сегодняшнего мою быстроногую прошлую жизнь, свое честолюбивое отрочество с ночной железнодорожной тоской, прорезанной тревожными зовами готовых к странствиям поездов. Что завершилась, едва начавшись, жаркая молодость, я не успел ни надыхаться всем ее хмелем, ни ощутить ее полной мерой. Будто пригубил из чаши зелье, которое помутило разум, и сразу же его расплескал. Перешагнул пограничный барьер, запретную роковую черту — за ними осталась прошлая жизнь, горький, продутый ветрами город, пахнущий зноем, мазутом, солью, камнем летящий с гористых улиц, чтоб захлебнуться каспийской волной.

В ту пору я еще не повторял остерегающих слов поэта: «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря». И сами эти алмазные строки тогда еще даже не начали жить. Впрочем, не знаю, мог ли в ту пору я воспринять и постичь их мудрость.

Можно сказать, что мне повезло. Хотя я и родился в Империи, на свет я появился в провинции. Мало того, от меня не потребовалось и дополнительных усилий, чтобы оказаться у моря. Оно мне досталось вместе с провинцией.

И как я распорядился дарами, так щедро отпущенными судьбой? Бросил провинцию, море, юг, радостно ринулся в самое пекло, в цезарианскую цитадель.

И с неожиданной жгучей болью понял, как остро мне не хватает этого разномыслия улья, который казался таким привычным, вычерпанным до самого доньшка. Еще недели не миновало со дня отъезда, а я тоскую по этим грязным жужжащим улочкам, постылым, исхоженным вдоль-поперек. Тоскую по дворам и растворам, по летнему жару, по этой жизни, открытой, выставленной на обозрение, совсем, как стулья и табуреты, загромоздившие тротуары. Здесь никого они не смущают, южная жизнь идет не в комнатах, она клокочет под дымным небом, не прячется от посторонних глаз.

Зачем меня понесло в столицу? Кому я здесь нужен? А мне что нужно? Привлечь к себе внимание ближних? Его-то и следует избегать.

Софья Платоновна словно услышала мой диалог с самим собою. И, погасив улыбку, сказала:

— Должно быть, вы взвесили этот шаг. Стало быть, не о чем и толковать. Надейтесь на лучшее. Бог вас любит.

Эти слова, а в первую очередь ее ободряющая улыбка, вернули мне присутствие духа. Нельзя раскисать, нельзя оглядываться. Ответственное решение принято, надо претворять его в дело.

Я возвращался в свое жилье, обдумывая ее напутствие. Она права: в моем положении рефлексия — опасная роскошь. Я мог позволить себе под расслабляющим южным солнышком, в столице необходимо действовать.

Однако сейчас как раз предстояло невозмутимо и терпеливо ждать решения своей участи. И я убедился, что ожидание — это особая наука, которая легко не дается. Умение ждать приходит с годами — в ту пору всякая мельтешня была для меня гораздо естественней, чем эта наступившая пауза. Бездействие меня угнетало, блуждание по вечерним улицам вгоняло в устойчивую хандру. Стремительно наступало предзимье, колючим скребком обжигало кожу. Чужая укорененная жизнь еще обиднее оттеняла мою неуместность и неприютность. Мною все чаще овладевало несвойственное мне ощущение, что за углом стержет беда.

Это тревожное темное облачко было естественной частью пейзажа. Воздух и в самом деле сгустался. Роились необъяснимые слухи, взаимоисключавшие версии происходивших вокруг событий. Периодически исчезали достаточно известные люди, иные неожиданно гибли в каких-то таинственных катастрофах. Все чрезвычайные происшествия мало-помалу одно за другим утрачивали сенсационность, с легкостью вписывались в повседневность, можно сказать — входили в быт.

И все же вопреки обстоятельствам, реальности, недобрым известиям меня не оставляла потешная, ничем не оправданная уверенность, что все напасти меня минуют. Сегодня я лишь развожу руками — откуда взялась моя убежденность, что мне сопутствует благосклонность неведомых звезд и мистических сил? Ребяческая моя убежденность была, однако, гораздо крепче всех драматических обстоятельств, бед и превратностей этих дней. Все очевидности и резоны были бессильны поколебать ее. Я жарко верил в свою удачу. Я ни минуты не сомневался, что приручу ее, примагничу, пусть это даже противоречит времени, веку, витку истории.

Это во многом иррациональное, сомнамбулическое состояние емко и звучно названо юностью. Надо сказать, что я вовсе не тяготился своими годами и не

стремился казаться старше. Я подсознательно ощущал, что эти несколько не защищенные, печально уязвимые года, и составляют мое безусловное, мое единственное богатство.

И пьесе я дал название «Юность». Это весеннее дерзкое слово в ту пору было моим талисманом, да и звучало почти как пароль. Недаром же молодой человек долгое время был в моих опусах самым излюбленным персонажем. Похоже, что мною владела иллюзия: пока он со мною, я не состарюсь.

И все же при всей моей самонадеянности меня не отпускали сомнения и я не мог обрести спокойствия. Я вел диалоги с самим собою, все спрашивал, спрашивал сам себя: какая все же цена моей пьесе?

Намаявшись, я в конце концов решил потревожить Софью Платоновну и попросил прочесть мое действо.

Она сказала:

— Было бы разумней дать мне снесенное вами яичко, прежде чем вы его предложили нашей императорской сцене. Пусть даже — имперской. Звучит помягче, но суть все равно остается той же. Теперь же все мои впечатления вряд ли имеют практический смысл.

Я объяснил, что не сразу решился побеспокоить ее своей просьбой.

Потом добавил:

— Скорее всего, Малый театр вернет мне пьесу и ваши советы не запоздают.

И честно признался, как был ушиблен четырехзначным реестровым номером, под коим была внесена моя пьеса в похожий на саркофаг фолиант.

Она улыбнулась:

— Вы остроглазы. Зато и наказаны грустным открытием — не вы один сочиняете пьесы. Есть, кроме вас, отважные люди.

Я буркнул:

— Я это подозревал.

Софья Платоновна кивнула:

— Теперь подозрения подтвердились. Что ж, как сказал один рогоносец: уж лучше правда, чем неизвестность. Мудрей всего готовиться к худшему. Тогда удары не так болезненны. Жизнь с вас не замедлит состричь большую часть петушиных перьев.

Я лишь вздохнул:

— Не сомневаюсь.

Она покачала головой:

— Кой черт вас понес на эти галеры?! В конце концов, есть Театр Ермоловой. По рангу он не столь авантажен, зато им руководит Лобанов. Короче, свалая вы дурака. Простите, если звучит это резко.

Я мужественно ее заверил:

— Не сдююсь. Предпочитаю правду.

Софья Платоновна вздохнула:

— Правда воспета, а ложь востребована. Не спорьте. Со временем убедитесь. Прекрасно знаю, что вы испытываете только досаду и раздражение. Пройдет. В ваши годы все огорчения хоть неизбежны, но преходящи. А главное — надейтесь на лучшее. Это проверенный рецепт.

С каждой минутой Софья Платоновна нравилась мне все больше и больше, а годы, лежавшие между нами, мешали мне все меньше и меньше. Я не был ни огорчен, ни растерян, только кружилась моя голова и сердце безотчетно звенело.

Шагая по притихшим кварталам, я думал о том, что северный воздух не только остуживает и подмораживает, но и неведомым манером держит в струне. В боевой готовности. Южанки пылки и горячи, но быстро старятся, сходят с круга. Встретишь спустя десяток лет рыхлую тетку и не узнаешь прежнюю смуглую пороховницу, готовую зажечься и вспыхнуть от первого властного прикосновения.

А этой столь прельстительной даме ни годы, ни острый ум не помеха. И даже легкая, словно кружево, едва угадываемая надменность, даже она отмечена грацией — не отдаляет, не подмораживает, скорей прибавляет очарованья.

Договорились, что я позволю ей этот недельки через две. Мне отчего-то пришло на ум, что будет изящней ее потревожить немного позднее, я опасался, что покажусь чрезмерно навязчивым. Впоследствии я твердо усвоил, что надо попросту соблюдать все обусловленные сроки. Больше ничего и не требуется.

Она, однако, ни словом, ни взглядом не выразила неодобрения. Достала из папки мою машинопись, неторопливо заговорила:

— Пьеса пристойней, чем я ожидала. Я не скажу, что она хороша, но радует, что она написана с благими, а не с дурными намереньями. Не удивляйтесь, бывает и так. Дурные намерения означают, что автор озабочен одним: чтобы его произведение увидело свет и ему принесло какую-то выгоду или пользу. Нет, слава Богу, вы — не прохвост. Оказывается, и в самом деле хотите кое-чем поделиться. Не мыслями, но хоть настроением. Мысли, возможно, еще созреют, с чувствами все обстоит иначе. Либо они у автора есть, либо их нет. По вине ли родителей, либо он сам пришел к убеждению, что жить без них и легче, и проще. Мне доводилось встречать людей с такой сознательной установкой... Некоторые из них преуспели. Но, разумеется, — не в искусстве. Жизнь иной раз так можно выиграть, судьбу так можно лишь проиграть. Тем более — творческую судьбу.

Герои вашего действия молоды. Разумно. Вы сами таких же лет, стало быть, они вам знакомы. Я уже смутно себе представляю, как нынешние молодые люди волнуются, томятся, тоскуют. Забыла. Мне кажется, сон их крепок, переживания — скоротечны. Возможно, многое улетучилось. Сердце беспамятней головы.

Должен сказать, что голова была у Софьи Платоновны ясная. Четко и внятно она перечислила просчеты, изъяны и все неряшества моей торопливо написанной пьесы. Я сокрушенно вздыхал, конфузился, только дивился: как же я сам не замечал несообразностей?

Мое смущение Софью Платоновну даже растрогало.

— Не огорчайтесь. Эти неряшества неизбежны. Со временем вы станете зорче, требовательней, перо станет строже. Гораздо важнее, что вы не слепы, не глухи, что вы не деревяшка.

И повторила:

— Есть настроение. Что обнадеживает. Посмотрим. Цензурной ярости я не предвижу. Вы не дали для нее оснований. На этом этапе вашей работы и биографии интуитивно вы движетесь верно.

И вновь вздохнула:

— Все-таки жаль, что вы отправились в Малый театр. Это режимное заведение. Блюдет свое особое место в иерархии наших храмов искусства. Вам стоило проявить больше скромности и меньше претензий — дать свою пьесу не столь сановному ареопагу. Но дело сделано. Ждите ответа.

Чем убедительней мне казались ее суждения, тем все меньше тянуло узнать, что она думает об участи моей бедной пьесы. Иной раз мне вообще хотелось выбросить ее на помойку и постараться о ней забыть. Мало ли подобных пустышек выводят нетерпеливые перья. Москва переполнена графоманами вроде меня — и все они молоды, честолюбивы, амбициозны. Мне еще, можно сказать, повезло. Не всем встречается на пути такая прелестная добрая фея, которая вовремя вразумит. Мне боязно было себе признаться, что с каждым часом она все больше туманит мое воображение и кружит мою шалую голову.

Я возвращался от Софьи Платоновны по затихавшим вечерним улицам, пытаясь хоть как-то ввести в берега свои беспорядочные раздумья. И справиться с душевной сумятицей. Но это плохо мне удавалось.

Вокруг затихала, готовясь ко сну, уставшая столица державы. Все меньше прохожих встречалось на улице. Впервые — наконец-то прозрев, и понял, и ощутил всей кожей свою уязвимость и незащищенность. И все тоскливей, болезненней чувствовал свою неуместность, свою одиночность. Какого черта я вдруг решил, что кто-то ждет меня в этом городе? Куда меня понесло из теплой, привычной с детства южной истомы в этот суровый застывший город, в его неприступный державный лед? Вот он когтит меня все морозней своей равнодушной железной хваткой и с каждым новым скребком все мрачнее кажется мне эта грозная ночь. Кому я здесь нужен, кому я сдался вместе с моей никудышной пьесой? Мало ли здесь своих бедолаг, своих борзописцев и строчкогонов. Моя убежденность в своем призвании, врожденная уверенность в будущем таяли с катастрофической скоростью. Москва оставалась такой же смутной, загадочной, как завтрашний день и столь же манящей и недосыгаемой, как Малый театр и Софья Платоновна.

Спустя недельку я позвонил в литературную часть театра. Скорей для формы, чем для того, чтобы узнать о судьбе моей «Юности». Впрочем, я выразился неточно. В этом особо привилегированном, даже правительственном учреждении в отличие от обычных театров привычная литературная часть внушительно именовалась отделом, да и трудились в нем не один и даже не два, а три сотрудника. Что также свидетельствовало о принадлежности к высшим, едва ли не сакрализованным ступеням иерархической лестницы. Впоследствии я мог убедиться, что все, имевшие отношение к величественному Дому Островского, не говоря уже об артистах, кто простодушно, а кто не без вескости, с достоинством нес свою значительность, подчеркивая свою приобщенность к сановному фасаду империи.

Столь лестная самооценка дарила актеру-избраннику ощущение собственной ценности и значительности. С ним легче было существовать в ранжированном миропорядке.

Без всяких надежд набрал я номер, но тут естественный ход вещей вдруг сотворил престранный кульбит — внезапно произошло непредвиденное. Знакомый голос сказал сердито:

— Куда вы делись? Хоть бы оставили номер своего телефона.

Выяснилось, что мой уродец прочитан и произвел, сколь ни странно, благоприятное впечатление. Какое стечение обстоятельств вдруг поспособствовало столь доброму и столь же звучному повороту? Впрочем, я стал недоумевать значительно позже, когда, наконец, столкнулся во мне хоть подобие трезвости. А в ту сокрушительную минуту мгновенно вернулась моя уверенность, что это чудо закономерно. Не зря же еще с дошкольных лет во мне поселился зуд сочинительства, не зря же исписывал я каракулями стопки бумаги и фолианты, которые приносил отец. И был же какой-то неясный смысл в той патетической минуте, когда однажды я сделал выбор, как мотылек на манящее пламя, вдруг полетел на огни Москвы.

Когда, оглушенный случившимся чудом, едва укрощая свое ликование, я рассказал Софье Платоновне, что Малый театр берет в работу мое несовершенное действие, она умерила мою радость обескураживающей реакцией.

Поздравив меня, с какой-то задумчивой, неясной усмешкой проговорила:

— Тут есть свои подводные камушки. Скажу вам, я смутно себе представляю, какие художественные связи могут возникнуть у вас с театром, пусть не императорским, но имперским. Как впишетесь в этот великодержавный, сугубо официальный стиль, в академический статус и пафос. И как вообще прозвучит в этой церкви пьеса о юности, о студентах? Из этих сакрализованных стен давно уже выветрился и изгнан какой бы то ни было воздух молодости.

— Нет, право, есть нечто противоестественное в этом союзе, но если по прихоти и расположению звезд что-то созреет, срастется, сложится, — что ж, разумеется, в добрый час. Важно и то, что в каком-то смысле вы теперь будете лега-

лизованы. Из неизвестного провинциала сомнительного происхождения станете автором Главной Сцены. Это вас несколько защитит.

С той же усмешкой достала графинчик и разлила бесцветное зелье, приправленное лимонной кислоткой, в два крохотных граненых стаканчика. Негромко сказала:

— За вашу юность. И ту, что в кавычках, и ту, что без них. Дай Бог вам удачи.

Должен сознаться, я был, пожалуй, обескуражен ее реакцией. Она безусловно это заметила и мягко сказала:

— Все-таки жаль, что пьеса ваша не у Лобанова. Там вы бы поняли, что есть искусство. Официальное искусство почти неизбежно, во всех ипостасях, весьма относительное искусство. Случай Мольера какой-то вывих, чудо, стечение обстоятельств. Все же он был гениальный автор, хотя утверждают, что средний актер. Впрочем, даже ему хватило разнообразных переживаний.

И вдруг сказала:

— Давайте радоваться. Как бы то ни было — Бог вас любит. Ну что ж, он вправе себе позволить неконтролируемые симпатии. Примите его подарок с достоинством.

Я уж заметил, что Софья Платоновна любила это старое слово, которое с каждым днем становилось все более редким и несовременным. Оно незаметно и неуклонно перемещалось в те кладовые, запасники и арсеналы лексики, в которых теснятся ползузабытые, нечасто уже звучащие термины, рядом с которыми в словарях обычно ставится сопроводительное обозначение — «устарелое». Но я уж заметил, что эта Прекрасная, к тому же Всеведущая Дама бесспорно питает к нему пристрастие.

Впоследствии я нашел объяснение своей невероятной удаче. Железная хватка идеологии опустошила, выжгла и высушила тот крохотный островок в Ледовитом немом океане сверхдержавы, где робко ютились почти замороженные, полузадушенные музы. Они скорее обозначали, нежели излучали жизнь, и даже робкое правдоподобие уже вызывало доверие к автору. На пышном пиру торжествующей бездари, которая в упоенном чаду, с ревом и рыком, в счастливом раже праздновала свою востребованность, свою государственную монополию, я обратил на себя внимание. К изголодавшимся артистам державной сцены вдруг постучался вчерашний студент — ему ли не знать этой среды и этого племени? Двери академической крепости вдруг распахнулись перед пришельцем.

— Запомните навсегда этот час, — проговорила Софья Платоновна. Ее проныцательные глаза вдруг затуманились, — крепко запомните. В самых мельчайших его подробностях. Лучше, счастливее этих минут уже никогда ничего не будет. Сколько бы вам еще ни досталось даров и щедрот. Такого не будет.

За несколько дней до этого вечера она получила первую весточку от бедного Александра Михайловича. И, сколь ни странно, это была скорее даже добрая весть. Старый большевик получил не самую суровую кару от победивших единомышленников. Ему впаяли пять ссыльных лет в какой-нибудь сотне верст от Норильска. Он даже занял почетный пост экономиста в зверосовхозе, хотя никогда в своей пестрой жизни не исполнял подобных обязанностей.

Это была поистине добрая, нежданная улыбка фортуны. Он оказался не в зоне, не в лагере — больше того, почти вольняшкой. Да и при деле, что было важно, как пояснила Софья Платоновна, для собственного самосознания.

Я догадывался, что в ее отношении к старому уже человеку, оказавшемуся ее спутником жизни, не было ни пылкого чувства, ни просто женского интереса. Она неслучайно нашла эту бирку, четыре иронических слова «Союз двух старых холостяков».

Достойная рамочка или вывеска — я допускал предположение, что, может быть, у Софьи Платоновны и существует мне неизвестная собственная женская

жизнь, но, разумеется, не позволял себе затронуть столь деликатную тему. Во-первых, дистанция между нами при всей ее благосклонной симпатии была достаточно велика, а во-вторых, я не мог и помыслить, что Софья Платоновна мне бы позволила когда-либо переступить черту и вторгнуться в запретную зону. И вообще она обладала редким искусством общения с миром — в особенности счастливым умением изящно и четко вести диалог. Речь неизменно шла только о госте, почти никогда о ней самой. Поэтому ее собеседник испытывал в высшей мере комфортное и лестное для себя ощущение — он чувствовал себя центром вселенной. Такой неожиданный интерес был манной небесной, нечаянной радостью даже для искушенных людей, тем более для молодого южанина — он означал для меня переход в некое новое состояние, мое посвящение в москвичи.

К тому же животрепещущих тем хватало с избытком. Суровые новости все больше заполняли газеты. Их обсуждали не слишком охотно — даже давно знакомые люди были приучены к осторожности — однако со мною Софья Платоновна была достаточно откровенна.

— Все, что произошло, удивительно. Не лезет ни в какие ворота, — сказала она после первой стопки. — И все же, хотя вам так сверхъестественно и неправдоподобно везет, не расслабляйтесь — фортуна завтра же может пересмотреть свой выбор.

— Стало быть, выпьем за постоянство этой капризной и ветреной дамы, — сказал я. Но мой разумный ответ не гармонировал с настроением. Я был убежден, что отныне ничто не остановит моей заряженности. Даже второй вселенский потоп.

Чуткое ухо Софьи Платоновны расслышало и эту браваду, и мой беспечный щенячий вызов. Она озабоченно вздохнула.

— Зря вы пытаетесь сделать вид, что вас от радости не укачало. Я знаю: не укачать не может. Это в порядке вещей — вы молоды и, как положено завоевателю вашего розовощекого возраста, верите в собственную звезду. Просто мне жаль — ваши лучшие годы совпали с беспощадным сезоном. Тут, впрочем, ничего не поделаешь. История человеку враждебна. В особенности наша история.

Как не признать ее правоты? Погода мрачнела день ото дня. Воздух был душен и перенасыщен ядом, азотом, утробной ненавистью. Почти ежедневно кого-то клеймили, затаптывали и распинали. В какой-то таинственной темной прорве все чаще бесследно и непонятно вдруг исчезали известные люди, рушились судьбы и биографии. В этой арктической смертной стуже проникновение моей пьесы в священный театр и в самом деле выглядело какой-то диверсией.

Все эти темы, события, беды, из осторожности, впитанной с детства, было не принято обсуждать, но Софья Платоновна неизменно беседовала со мной откровенно.

Еще никто со мной не говорил, кроме отца, настолько серьезно. Однако родительские напутствия почти никогда на нас не воздействуют. Нам кажется, что они продиктованы упрямым и обреченным желанием плотнее заслонить нас от жизни.

Но за словами Софьи Платоновны я ощущал незаемное знание. Да и случившаяся беда — внезапный арест Александра Михайловича — лишь добавляла ее мягкому менторству особую вескость и убедительность.

И жила я не в безвоздушном пространстве. У половины моих ровесников близкие люди подверглись преследованиям, в зрелую жизнь они вступали, немало хлебнув и уже познав извне навязанное сиротство. Родные люди были отторгнуты не случаем, не войной, не болезнью, их навсегда увели государство, отечество, родная страна.

Но я был непробиваемо молод, безмерно, вызывающе молод, весь мир был бессилён поколебать надежду, что все у меня получится.

— Ну что же, — она подняла стаканчик, — выпьем за новые чудеса юного хвата из Ангулема. Хотя ему не мешает помнить, что город, в котором когда-то

он вылутился, — не Ангулем, а Москва — не Париж, воспетый галльской литературой. Москва — достаточно жесткое место, хотя и приметное и притягательное. Можно взлететь, и можно упасть. При этом даже и расшибиться.

— Я это знаю, — сказал я с готовностью, и все же слишком самоуверенно. На самом деле я мало знал и мало о чем тогда догадывался. Скользил, зажмурившись, по поверхности. Возможно, срабатывал неосознанный и вместе с тем безусловно спасительный, целебный инстинкт самосохранения. Много знание хоть и учит, но окорачивает и вяжет. Чем дальше, тем крепче я убеждаюсь: как правило, большинство счастливых обязано своими успехами не столько особым их дарованиям, сколько стечению обстоятельств — им подфартило вдруг оказаться в нужное время в нужном месте. Именно так и случилось со мной.

Софья Платоновна чуть помедлила, проговорила:

— У Паустовского есть рассказец. Увидел он лесную сторожку и вдруг подумал: тут бы укрыться, писать продуманные и взвешенные, действительно полновесные вещи.

Ничто от меня не могло быть дальше, чем это старческое желание. Не для того я оставил свой юг. Пожав плечами, я отозвался:

— Писатель он бесспорно хороший. Стать же не только хорошим, а мощным ему помешала его бесполость.

В этой заносчивой декларации был явный петушинный задор, способный насторожить, покоробить и вызвать законную антипатию.

Но неожиданно Софья Платоновна задумчиво кивнула:

— Кто знает... Возможно, по-своему вы и правы.

И вдруг заявила с какой-то суровой и даже требовательной интонацией:

— Но, тем не менее, дайте мне слово, — а прежде всего самому себе, — что вы не станете лезть в бутылку, барахтаться, пускать пузыри, карабкаться по отвесной стенке. Дайте слово, что все же вам хватит ума выгородить свою сторожку, работать внаглую, на полную выкладку, но вместе с тем не на износ, не ставя себе непомерных целей. В разумной мере люди пера обязаны быть честолобивы, но неумное честолюбие пагубно — и для самой работы, и для единственной вашей жизни. А жизнь имеет высшую ценность. Когда-нибудь вы это поймете.

Я ей ни словом не возразил. И все же где-то на самом доньшке то ли сознания, то ли своей неподдающейся первосути почувствовал легкую дрожь протеста. Впоследствии, мысленно возвращаясь к ее советам, напутствиям, просьбам, я неуступчиво бормотал: да, разумеется, разумеется, мера и самоограничение. И все же, все же... Все, что осталось, что долговечно, жизнеспособно, имеет своим истоком чрезмерность. Все те, кого мы благодарим за их щедроты, были неистовы, неукротимы, не знали удержу.

Мы выпили. Опять за меня, потом за прекрасную хозяйку. Пожалуй, мы малость переборщили — головы вероломно кружились. И мне показалось совсем неуместной всегда меня сковывающая почтительность. Возможно, даже и неучливой. Не должен ли я показать моей даме, что я не слеп и отлично вижу, столь велика ее притягательность. Похоже, что и Софье Платоновне стал тесен ее привычный панцирь, и расстояние между нами стало стремительно сокращаться.

— Авось вам будет везти и дальше, — проговорила она с улыбкой. — Кажется мне, что Бог вас любит.

Я тоже готов был в это поверить. Слова ее придали мне куража, и неожиданно я ее обнял. В то же мгновение я почувствовал — сознание мое помутилось.

Все очевидно сошлось, срослось — моя сокрушительная удача и горечь ее последних месяцев. И это мгновенное помешательство, всегда охватывавшее меня от близости привлекательной женщины. И первое же прикосновение к ее ответно вздрогнувшей плоти. Мы оба переступили порог.

Я вдруг обнаружил, что мои руки начали жить вполне сепаратно и вышли из-под моего контроля. Я смутно соображал, что я делаю и что сейчас себе позволяю. На миг мелькнула печальная мысль, что вряд ли мне будет еще раз дано войти в этот дом на Страстном бульваре, где был так радушно и ласково принят. Но я уже не мог ни опомниться, ни взять себя в руки, призвать к порядку. Кроме того, я был убежден: на полдороге не останавливаются. Такое внезапное дезертирство с поля сражения и подозрительно и хуже всякой капитуляции. Оно бы ничуть меня не извинило, уже было поздно и невозможно вернуться к должной благопристойности. Может быть, даже и неприлично.

Моя ли дерзость и мой кураж воздействовали на Софью Платоновну, взметнулось ли в ней, казалось, притихшее, но не уснувшее вечно женственное, не знаю, да и не надо мне знать — однако она не возмутилась, не пресекла моей агрессии.

Когда мы оба пришли в себя, она чуть слышно прошелестела:

— Скройтесь. Мне надо остаться одной.

Я медленно брел по темной Москве к облезлому дому в моем Хохловском, в котором нашел я свое пристанище. Мысли дробились, были невняты, противоречащие друг дружке, еще беспорядочней и хаотичней клубилась душевная сумятица. Заснул я поздно, сон мой был смутен.

Дождавшись полудня, я позвонил ей. Она поздоровалась со мною с обычной своей приветливой сдержанностью. Потом сказала:

— Зайдите вечером. Надо мне кое-что вам сказать.

Остаток дня я провел в догадках. И озабоченно перебирал все вероятные варианты встречи, которая предстояла. Долго раздумывал, должен ли я явиться с цветами, потом рассудил, что с ними буду выглядеть глупо. Впрочем, должно быть, я и без них смотрелся не лучше. И неуверенно вошел я в дом на Страстном бульваре.

Она сказала:

— Рада вас видеть. Выслушайте несколько слов. И первым делом — приободритесь. Не собираюсь изображать бедное розовое дитя, застигнутое вами врасплох и мефистофельски обольщенное. Думаю, что виновата не меньше в том, что вчера между нами стряслось. Не помешала вам разогреться, а вам, по младости ваших лет, не много нужно для воспламенения — прыти и пороха у вас вдоволь. Немудрено, что вы оказались у этих среднего качества ног, а далее совершили обрядовые, едва ли не ритуальные действия. Почти обязательные для удальца, родившегося к тому же на Юге. Гасконь, она ведь везде Гасконь. Даже и в северном государстве.

Итак, ни в чем вас не укоряю. Да и себя отнюдь не виню. Скорее склонна себя поздравить. Даме моих критических лет грехопадение только лестно.

И вот какво мое предложение. Оно адресовано нам обоим. Я бы хотела, чтоб мы забыли этот по-своему обаятельный и всколыхнувший нас эпизод. Не надо нам становиться любовниками. Это не лучшим образом скажется на наших дружеских отношениях. Минет совсем недолгий срок — и оба мы обнаружим двусмысленность, да и болезненность ситуации. Я стану терзать себя опасениями, как бы мне вусмерть не привязаться, вы будете ломать себе голову, как развязаться поделикатней. Это бездарная мышеловка, а между тем, она неизбежна. Ни вам, ни мне она не нужна. Поэтому мы сделаем вид, что ничего между нами не было. В таком поведении есть искусственность, есть в нем и безусловная фальшь, и все-таки ничего разумней мне не удается придумать. Не возражайте. Примите как данность. Важней всего сохранить достоинство.

Слушая ее, я испытывал странную и сложную смесь взаимоисключающих чувств. Явную легкую разочарованность, досаду и тайное облегчение. При этом — отчетливее всего — мое восхищение этой женщиной. И повезло же мне ее встретить! Нет, в самом деле — Бог меня любит.

Ну что ж, коли так, то сделаем вид. Иной раз это и общепринятая и узаконенная ментальность. В иных долговременных обстоятельствах, возможно, и условие выжить. Не только для еле приметной частицы громадного социума, но, вероятно, для самого изнуренного социума.

Должен сознаться, что та зима была настолько же непостижима, насколько коварна и жизнеопасна.

Только ли странная толстокожесть, только ли ничему не подвластная неистребимая сила молодости и бушевавшая в моих жилах южная каспийская страсть позволили мне на недолгий срок спасительно ослепнуть, оглохнуть? Или то сходное с внешним ливнем, стремительно налетевшее чувство к моей лирической героине, так щедро меня отблагодарившей за главную роль в той звонкой пьеске о юности, надеждах, студентах, которой я начал свой путь в Москве?

В каком-то чаду пронеслась колдовская, головокружительная зима, когда я усердно ходил в театр на репетиции и приобщался к непознаваемой жизни кулис. Недавно рожденное мною действо волшебным образом преобразалось в спектакль.

Естественно, особую прелесть этой волнующей метаморфозе дарила победоносная Даша. Я с каждым днем увязал все глубже. Об этой живописной новелле — на жанр и на масштаб романа мы оба, и я и она, не тянули — стало известно достаточно быстро.

В чем не было ничего удивительного. Тот тесный, достаточно замкнутый круг, именованный не без претензии и шика «театральной Москвой», в сущности, был большой деревней. Витринная жизнь его обитателей была словно выставлена напоказ. Тем более оба мы не придавали значения ни толкам, ни слухам. Я не был мастером конспирации, а Даша — я это быстро понял — не собиралась о ней заботиться. Мне даже почудилось: этот шумок в известной мере был ей приятен.

Не только память моей души, но, кажется, даже и память кожи хранит через столько десятилетий те зимние ночи в разошедшемся доме поблизости от Покровских Ворот.

Мы словно боялись хоть на минуту уняться, попросить передышки у ослепившего нас сумасшествия. Моя северянка ничем решительно не уступала пришельцу с Юга. Даша была на диво изваяна — статная, гибкая, долгоногая, с крупными чертами лица. Цену себе превосходно знала.

Мы расставались на самой заре, она выбегала на спящую улицу, а я возвращался на ложе греха, пытаюсь за два или три часа короткого сна возродить свои силы. Мне предстояло очередное торжище московского дня.

Прошла и истаяла снежная стужа, небо дохнуло весенним хмелем. Настали первомайские дни, в Доме Островского моя «Юность» была исполнена — и с успехом. В Москве воцарилась по-летнему знойная, нарушившая законы природы, щедрая песенная весна. Женщины дружно вышли на улицы, подставив солнцу лица и руки, готовые сразу же забронзоветь. Порою я простодушно верил, что существует какая-то странная и не вполне случайная связь между моей московской премьерой и этим праздничным половодьем. Все-таки только щенячий возраст мог так анафемски помутить мою недальновидную голову.

Все это сладкое помрачение минуло достаточно быстро. Держава, пятидесятые годы, свинцовое время, полдень столетия, сравнительно скоро мне показали свои ощеренные клыки.

И все же чем дальше, тем безраздельней росла и крепла во мне убежденность: именно этот первый год, выпавший мне в неприступной столице, в сущности, сделал всю мою жизнь. Он одарил меня необъяснимой, едва ли не мистической верой в свою звезду и непотопляемость. Немало и выжег. Того, чем я с детства в себе дорожил и хотел сохранить.

У Софьи Платоновны стал я бывать значительно реже, меня задевало ее несерьезное отношение к свалившейся на меня удаче. Она справедливо считала ее нечаянным подарком фортуны, а мне, между тем, все больше казалось, что я вполне ее заслужил. Должно быть, она предпочла не заметить не красящие меня перемены. Все так же осторожно и мягко она учила меня уму-разуму, время от времени напоминая о мире, в котором мне выпало жить. Я не оспаривал справедливости ее советов, и тем не менее все больше во мне укоренялась уверенность, что «Бог меня любит».

Однажды вечером, на исходе какого-то очередного визита — я собирался уже откланяться, — она спросила меня мимоходом:

— Итак, вы избрали давно апробированную форму признательности драматурга своей актрисе — вас и ее можно поздравить?

Я покраснел и виновато развел руками:

— Да. Это было ведь закодировано. Но с поздравлениями повременим.

Этот насыщенный подтекстами обмен нарочито небрежными репликами неожиданно заставил меня задуматься. Словно опомнившись, я спросил себя: разумно ли я распоряжаюсь свалившимися дарами судьбы? Как безрассудно трачу я время!

И сразу решил, что необходимо немедленно садиться за новую пьесу. И так же по непонятной причине избрал местом ее действия Волгу. Через неделю, быстро собравшись, сел в поезд, чтобы отбыть в Саратов.

Даша пришла меня проводить на Павелецкий — он отличался от всех остальных столичных вокзалов своей уютностью и укромностью, каким-то почти домашним обликом.

Возможно, поэтому он и настраивал на элегическую волну, окрашенную лирической дымкой. Даша взволнованно уронила из затуманенных серых глаз вполне ритуальную слезинку. Проводница сочувственно проговорила:

— А молодая совсем расстроилась.

В обещанном письмеце из Саратова я описал Софье Платоновне эту столь трогательную сценку. Не слишком отчетливо понимая, что движет моим игривым пером.

В ответном письме она осведомилась, доволен ли я своей волжской гастролью и проявился ли новый замысел. Последнюю фразу она заключила таким своеобразным призывом: «Итак, возвращайтесь. Быть может, вместе, объединив свои усилия, утешим мы плачущих бб».

Это изящное озорство самую малость меня задело, но еще больше оно позабавило. При этом пощекотав самолюбие.

На берегах великой реки я прожил славный веселый месяц, имевший условное отношение к пьесе, которую я задумал. И все же я ее написал. И это безжизненное создание нашло свой театр, было поставлено. Я его так и не посмотрел.

До этого, впрочем, я дал прочесть его Софье Платоновне и услышал именно то, что я заслужил.

Прежде всего она спросила:

— Желательно было бы мне узнать, чего вы хотите?

Я сразу понял, что меня ждет, захотел отшутиться:

— Я жить хочу.

Она помрачнела, потом сказала:

— Это понятно. Вопрос: для чего вы хотите жить? Покамест явно не для того, чтоб мыслить и страдать. В вашем возрасте это естественно, но опасно. Вы все еще не хотите проститься с молодым человеком из Ангулема, который самонадеянно верит в то, что у ног его эта планета. Дело за малым — только нагнуть-ся, чтобы поднять столь щедрый трофей. На самом деле это не так. И вам пора уже призадуматься о многих первостепенных предметах — о том, что спринтеры сходят с дистанции, до финиша доходят лишь стайеры. Необходимо и пораз-

мыслить о городе и о стране. А также — о качестве населения. Но прежде всего ответить себе на самый суровый и главный вопрос — верно ли выбрали вы профессию? Вы вряд ли способны его задать, тем более — на него ответить. Поэтому задам его я. Не надо ли вам ее оставить? Пока вы молоды, это возможно. Поверьте мне, что еще не поздно решительно переиначить жизнь.

Помедлив, я сказал:

— Не могу.

Она вздохнула:

— А если погибнете?

Я сказал:

— Научите, как уцелеть.

Софья Платоновна помолчала, потом очень твердо произнесла:

— Нет. Научить ничему нельзя. Ни литературскому искусству, ни, уж конечно, искусству жизни. А я могу лишь вас остеречь. Видите ли, любое художество, а уж словесность в первую очередь, — эксгибиционистское дело. Жить в состоянии вечной исповеди могут немногие стратотерпцы. Не спорю, иные ваши коллеги обходятся без всех неудобств — без схимы, без пострига, без этой дыбы. Но речь, разумеется, не о них. И коли уж вы — человек призвания, вам следует быть готовым к жестоким и изнурительным испытаниям.

Не скрою, на мой взгляд, вы слишком южанин, чтобы на долгие десятилетия нырнуть в ледяную купель и жить в ней. К тому же выпало вам родиться в анафемски безжалостный век. Вы спрашиваете, как уцелеть. И спрашиваете об этом, чуть ерничая, храбрится, чтоб выглядеть молодцом. Но тема эта весьма кровава. К несчастью, вы очень скоро почувствуете железную лапу на собственном горле.

Сберечь свою непутевую голову можно лишь при одном условии — держаться подальше от государства. Однако избрали вы ту профессию, когда это попросту невозможно.

Невольно я ощутил холодок. И даже почувствовал прикосновение незримого ледяного скребка. Чтобы вернуть себе равновесие, изобразил на лице улыбку. И попытался придать беседе не столь серьезное направление. Шутливо спросил:

— Не в этом ли доме не раз я слышал, что Бог меня любит?

Софья Платоновна кивнула:

— До сей поры это так. Он вас любит. Но и его любовь не вечна.

И озабоченно проговорила:

— Уж если достался вам письменный стол, то посвятили бы себя прозе. Она, в отличие от подмостков, сделала бы из вас человека.

Эти слова меня задели. Как все амбициозные птенчики, я был болезненно самолюбив. Ровно поэтому не сумел почувствовать материнской заботы ни в ее голосе, ни в словах. И несколько витиевато заметил:

— Я никому и ничему этого дела не передоверю. Ни людям, ни литературным жанрам.

Она усмехнулась:

— Что ж, флаг вам в руки. Я уважаю самостоятельность. Да и не думаю, что смогла бы сделать за вас такую работу. Мои обязанности — иные. Я зарабатываю свой хлеб тем, что в Комитете искусств то ли содействую, то ли мешаю вашим собратьям по цеху увидеть свои творения на подмостках. В чем заключается моя помощь? Недоброкачественные творения стараюсь довести до кондиции, делаю их чуток пристойней. Что же касается очень редких и неожиданных сочинений, которые мечены дарованием, я делаю их площе и глаже, с тем чтоб они не выделялись. И это их единственный шанс иметь хоть какую-то перспективу, пробиться через цензурный ад.

Проза, естественно, не оазис, не сад в пустыне, и все же в ней случаются странные неожиданности, пожалуй, даже необъяснимые. Вот почему мне так

хотелось, чтоб вы изменили свой род занятий. Но вам, очевидно, необходим свой собственный опыт, чтобы однажды принять свое собственное решение. Поэтому я была неправа, а вы в своем несогласии — правы. Прошу вас забыть мои слова. Возможно, при случае вы их вспомните.

Я в самом деле однажды их вспомнил, однако, сколь ни странно, не скоро. Мне долго, непозволительно долго, настойчиво и слепо везло. Непостижимо, но странным образом мое сомнительное творение имело сценическую судьбу. А впрочем, если трезво подумать, тут не было ничего сверхъестественного.

Такой это был беспросветно бездарный сезон отечественной истории, что наша театральная жизнь могла дымиться, чадить и тлеть единственно в подобных обносках.

Нашелся театр — не именитый и не столичный — и он решил подать своим зрителям это блюдо. К этому времени я опомнился и мог оценить свое непотребство.

Я не поехал ни на премьеру, ни на последовавшие спектакли. Так никогда его и не увидел. Все-таки был не совсем безнадежен.

Кончался первый мой год в столице. В торжественный декабрьский вечер я вышел из Малого театра. Передо мной величаво раскинулась заснеженная Театральная площадь. Подсвеченная золотая квадрига над колоннадой Большого театра была, казалось, готова взлететь в застывшее беззвездное небо. Морозный воздух был переполнен физически ощутимым током. Повсюду переминались озябшие, несущие вахту служивые люди.

В Большом театре собралась знать могучей империи, главные люди победоносной сверхдержавы. Они отмечали сакральную дату — Земному Богу, Отцу и Светочу, сегодня исполнилось семьдесят лет.

Неделю спустя в хроникальной ленте увидел я запечатленный праздник.

Собравшиеся со всех концов нашей планеты, из всех ее стран вожди коммунистических партий и все, кто заполнил Большой театр, восторженно заверяли Учителя в любви, поклонении, вечной преданности. Он молча принимал поздравления, не одарил ни единым словом молитвенно ликующий зал.

О чем он думал, глядя на этот почти неменяемый муравейник, выплескивающий из себя свое страстное, свое языческое безумие? О полузабытом грузинском городе, в котором он явился на свет? О долгой дороге, заваленной трупами развенчанных спутников и соратников? О мертвых солдатах? О верноподданных, давно уже отученных думать, привыкших лишь верить, страдать, терпеть? О тех, кого он успел прикончить, и тех, до кого по печальной забывчивости, по занятости или небрежности еще не успели дойти его руки? Что делать, когда довериться некому, надеяться можно лишь на себя? Ближайшие люди — сплошь недомерки. Умеют холуйски смотреть в глаза, подхватывать каждое его слово. А больше — ни на что не способны. Взвалили на плечи его весь мир, боятся понять, что он не вечен. Несчастные люди, что с ними будет, когда однажды его не станет? Что будет с построенной им страной? Лучше не думать. Тоска задушит.

Отчетливо помню эти минуты на замершей, окаменелой площади. Так остро, физически ощутил, как обдает меня холодок — словно своим ледяным дыханием накрыла угрюмая сверхдержава. Вот-вот и сомкнутся железные челюсти, готовые меня заглотить.

И сразу же стряхнул наваждение. Какого черта? Все хорошо. Я прожил на свете лишь четверть столетия. Все впереди. И жизнь и век. Он не дошел еще до полудня.

С того далекого зимнего вечера минуло много спрессованных дней, без малого семь десятилетий. Я воскрешаю те давние годы со смутным чувством, с ожившим страхом.

То был один из самых жестоких, один из самых иезуитских и лютых сезонов родной истории. Вокруг ежедневно и ежечасно звероподобная, обезумевшая, захлебывающаяся яростью власть через колено ломала судьбы, с кровью и хрустом, с подавленным стоном крошились жизни и биографии.

Зыбким, качательным, тоньше волоса, был и мой собственный завтрашний день. И все же разуму вопреки то лютое кровожадное время было едва ли не самым пленительным в отпущенном мне хороводе дней. Я и по сей день теряюсь в догадках, чем объяснить мне такую фортуна, чем заслужил я столь мефистофельский, непостижимый подарок судьбы. Так оно вышло, срослось, сложилось.

Понятно, что этой противоестественной и вызывающе щедрой удаче был тоже отмерен свой срок и предел. Два раза пронесло, обошлось, на третий — держава меня заставила с ней расплатиться по полному счету.

Еще до всех моих переделок пришли к логическому финалу и эти бражные дни и ночи с моей лирической героиней. Однажды Дашенька убедилась, что столь эффектный и живописный союз актрисы и драматурга и ненадежен, и эфемерен. Она недолго переживала, задействовав запасной вариант, который был у нее наготове. Незамедлительно конвертировала свои незаурядные стати в брак с заместителем министра.

Однажды мне его показали. Дородный лысоватый кругляш с тусклой портяночной физиономией — серийный овощ партийной селекции. Вдруг прежним пламенем обожгли меня ее ненасытная жаркая кожа, ее безудержность, ее свежесть. Было и горько, и душно, и тошно.

И тут же подумал, как уязвимы, непрочны, хрупки земные связи. Не только между телами и душами, не только меж семьями и родами. Чем дольше я брел по своей тропинке, чем круче вилась она и петляла, тем очевиднее становилось, сколь относительно все начала и сколь закономерны концы. Давно уже нет на этом свете ни Дашеньки, ни Софьи Платоновны.

* * *

Минуло несколько десятилетий — ничтожный исторический срок! — сдулось могучее государство. Бросились, ринулись врассыпную пятнадцать республик — где все их клятвы в вечной любви и вечной дружбе?

Тот генетический изъян, который так и не дал моей родине выстроить дом своей судьбы, будет когда-нибудь разгадан, понят, исследован и описан. Не слабым и робким моим пером. Мне лишь осталось в длинные ночи все вспоминать мужчин и женщин, которые пересекли мою жизнь — одни в ней остались, другие ушли. Вновь думаю о том, что сложилось, о том, что рухнуло — сам не пойму, как справились и душа и память с этим потоком свинцовых дней, вместивших и надежды, и страсти, всех тех, кого я встретил и знал.

Сделал я мало, сделал не так, как я хотел, как было нужно. Сделал лишь то, что успел, как сумел.

Переменились и мир и я. От той страны, в которой когда-то я появился на этот свет, осталось мало, контуры, тени, полузабытые имена. И горькое, жгучее недоумение, что все же было первопричиной ее распада и исчезновения.

И как случилось, что так стремительно, как будто в мгновение ока, сгустился, запылялся, загремел, взорвался обрушивший мой век ураган?

Или все было закономерно и предначертано, неизбежно? И тот октябрьский переворот и братоубийственная война, названная потом гражданской, исходно не оставляли истории другого пути, другого итога?

Эти ненайденные ответы, как клещи, сжимавшие мое горло, душили меня всю зрелую жизнь. Так я до сей поры и не понял, как социальная революция с ее

самоотречением, жертвенностью, мечтой о свободе, с ее бескорыстием построила самое деспотическое, бесчеловечное, лживое общество?

В том ли заключена первосуть, что сам союз разнородных племен был изначально мертворожденным, или же в том, что в нас самих, в каиновой нашей природе скрыто извечное и роковое, необоримое несоответствие?

В том, что премудрый наш род одряхлел, погас, исчерпал себя, вот он и ищет кратчайший способ самоубийства?

Сам не пойму, отчего я так часто с болью и с мукой все воскрешаю запомнившийся мне с детства сюжет.

Из темного облака вдруг выплывает залитый золотом света зал. Америка празднует век электричества. Вокруг белоголового старца толпятся дамы и юноши в смокингах, не унимаются репортеры. Один из них настойчиво спрашивает:

— Так что ж в этом мире важнее всего?

— Время, — роняет в ответ Эдисон.

Он прав. Но как его остановишь? Где взять его, если оно истекает? И почему я хочу так упрямо стреножить своего иноходца и укротить его на скаку, зачем-то повернуть его вспять?

Не знаю. Не нахожу ответа. Но в обреченном единоборстве со сроком, дарованным мне судьбою, в сущности, и прошли мои дни.

В смутном, загадочном далеке, неведомо где, на другой планете, остался тот апшеронский порт, омытый коричневою волной. Жил я в морозной тревожной столице и зыбким, качательным, тоньше волоса, был и мой собственный завтрашний день. Век не дошел еще до полудня, почти столетия отделяло от тех провидческих строк поэта, который однажды нам объяснил, что, если уж выпало вам родиться в империи, то, по крайней мере, жить следует у моря, в провинции.

Все было у меня под рукой — провинция с керосиновым морем, пахнущим мазутом и солью. И был этот шанс спастись от империи, но некому было остановить меня, а я не смог, не сумел совладать с дорожной мальчишеской лихорадкой, рванул в белокаменный Третий Рим, где чудом не сложил свою голову.

Но был я полон необъяснимым, непостижимым предчувствием счастья. И вера в него была так велика, что я хлебнул его полной мерой. Невероятно, но это так.

Все ближе к финишу мой многолетний, столь изнурительный марафон, мой затянувшийся поиск сторожки, где, наконец, я уединюсь.

Но, будто упрямо не замечая, что поиск мой привел меня к цели, старый монах не хочет уняться, неутомимо стучит колотушкой, напоминает: прошли, растворились еще полчаса дарованных лет.

Мне хочется крикнуть: да не стучи ты, я понял, и, больше того, я знаю — прошли и исчезли мои полчаса, прошла, завершилась столь долгая жизнь со всеми радостями и горестями.

Но он все стучит, упрямый монах, стучит колотушкой, напоминает — мне ли, стране ли, всей ли планете, что срок на исходе и путь завершен.

И все же разуму вопреки, все слыша, прозрев и поняв, я надеюсь, что мне и в последний раз повезет и что мое прощание с миром не станет для меня непосильным. Что не покинет меня достоинство, когда окончательно воплотится мой переход в небытие. Я верю в это. Бог меня любит.

28 ноября 2013 года

Борис Херсонский

Венок восьмистиший

* * *

Утром теряешь обрывки снов, как платан — листву.
Серый рассвет очерчивает окно.
Хвала эволюции — научному божеству.
Честь или Слава Творцу? Но Ему всё одно.

Все сегодня в тёмном и тёплом — становится холодной.
Не разберёшь, кто барин, кто простолюдин.
Мимо тебя проходит цепочка осенних дней.
Пытаешься удержать — да куда там! Стоишь один.

* * *

Пытаешься удержать — да куда там! Стоишь один.
Две вечности немоты, что впереди, что за спиной.
Тем и хорош мужчина, что не скрывает седин,
сутулой спины и груди шерстяной.

У тебя под плащом осталась крупица тепла.
Повторяй за мной: я знаю, зачем живу.
Река сновидений сюжетами истекла.
Постепенно вступает в права происходящее наяву.

* * *

Постепенно вступает в права происходящее наяву:
Луна раскололась надвое и изменила цвет.
Статуя Церетели, упав, сокрушила Москву.
Осталась одна стена и рядом с ней — минарет.

Молитвенный коврик на брусчатке простёрт.
Зовет на молитву птиц заоблачный муэдзин.
Последний неверный с лица Поднебесной стёрт.
Сам себе раб — это лучше, чем сам себе господин.

* * *

Сам себе раб — это лучше, чем сам себе господин.
Послушание, а не господство возвышает трудяг.
Очередь заползает в продовольственный магазин.
Гастрономия — чипсы. Бакалея — шмурдяк.

Ты получаешься крайний. Не бойся: я — за тобой.
Раньше была закуска, остался химический снек.
Если с вечера выпил, значит — завтра в запой.
Если с утра тишина, значит — выпал глубокий снег.

* * *

Если с утра тишина, значит — выпал глубокий снег.
Протаптываешь тропу — не разойтись двоим.
встречаешь судьбу — не знаешь, что делать с ней.
Разгребаешь завал — всё равно, что смываешь грим.

Смываешь грим, обнажаешь кожный покров.
Тянешь песню, как тянут жребий — что нам суждено?
Вот и выпал тебе худший из Божьих даров.
или сам ты выпал, но это почти всё равно.

* * *

Или сам ты выпал? Но это — почти всё равно.
Физзарядка — ноги вместе, а души — врозь.
Разве только хором и за столом, как когда-то в кино
поешь «кто-то с горочки» или «мороз не морозь».

Для чего стучаться к шестипалой неправде в избу?
Для чего проситься к промёрзшей земле на ночлег?
Что нам юная дева со звездой во лбу?
Что нам обитель нечестных трудов и нечистых нег?

* * *

Что нам обитель нечестных трудов и нечистых нег?
Что нам город небесный — двенадцать ворот?
Что нам чужая земля да турецкий брег?
Нам и своей-то не жаль, ни полей, ни лесов, ни болот,

Ни братьев меньших овец, ни товарищей брянских волков,
Ни мельканья событий, словно в немом кино.
Чтоб покорить себя не нужно пехотных полков.
Чтобы познать себя — не нужно смотреть в окно.

* * *

Чтобы познать себя — не нужно смотреть в окно.
Ни изнутри, когда за окном светло,
ни из внешней тьмы, когда внутреннее освещено,
ибо зима на пороге и запотело стекло.

Продыши, проверти глазок размером в пятак
в заоблачный мир, в алтарную синеву,
в подводное царство или в подземный мрак...
Утром теряешь обрывки снов, как платан — листву.

* * *

Утром теряешь обрывки снов, как платан — листву.
Пытаешься удержать — да куда там! Стоишь один,
постепенно вступает в права происходящее наяву.
Сам себе раб — это лучше, чем сам себе господин.

Если с утра — тишина, значит выпал глубокий снег,
или сам ты выпал, но это почти всё равно.
Что нам обитель нечестных трудов и нечистых нег?
Чтобы познать себя, не нужно смотреть в окно.

Марк Фрейдкин

Песенки в прозе

CD-альбом

Берясь читать прозу Марка Фрейдкина (его песни хороши, а многие и просто замечательны, но их все-таки лучше слушать), я каждый раз ощущаю тот известный запойным книгоочем сладкий холодок в животе, который чувствовал в блаженную пору отрочества, когда нес из библиотеки или магазина заочно вымечтанную, но вот, наконец-то и неожиданно живьем попавшую в руки книгу. Между тем, мой старинный добрый друг публикуется не так уж часто, поэтому я его чаще перечитываю, чем читаю вновь, я давно, со времен «Глав из книги жизни» и «Опытов» начала девяностых годов, знаю его, что называется, манеру и голос узнаю с полуфразы, да и к написанному им уже столько раз возвращался, а вот поди ж ты — всякий раз, повторюсь, тот же эффект счастья, вдруг незаслуженно свалившегося на голову. Причем речь о прозе, чьи сюжеты и атмосфера, казалось бы, подобному эффекту вовсе не соответствуют и, тем не менее, говоря словами самого автора, «вопреки своему в целом довольно мрачному колориту и неприкрытой фрустрационной составляющей», действуют именно так. Почему? В чем тут секрет?

Рискну поколдовать над разгадкой и — если читатель отчего-то не знает прежней прозы Фрейдкина, увенчавшейся целым томом в недавнем трехтомнике авторского «Собрания сочинений», и еще не взялся за новые публикуемые ниже рассказы, перепрыгнув через мое вступление, — предложу ему обратить внимание на три вещи. Во-первых, не только на радикальное отсутствие дистанции между главным героем и повествователем, но прежде всего на то, что этот герой-рассказчик (качество в эго-прозе едва ли не уникальное) ничуть не пыжится, не силится приподнять или выгородить себя; кажется, его мысленный образец в такого рода повествовательном искусстве — скорее Монтень и Стерн, не-

Об авторе | Марк Фрейдкин родился 14 апреля 1953 года. В 1990-е руководил издательством «Carte blanche», выпустившим несколько важных книг, в том числе — первое отечественное избранное Ольги Седаковой, и был директором и владельцем первого в Москве частного книжного магазина «19 октября». Поэт, прозаик, автор нескольких книг, переводчик английской и французской поэзии. Автор и исполнитель песен. В «Знамени» печатается впервые.

От автора | В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» матерные слова в тексте заменены звездочками. В этой связи автор считает своим долгом заявить, что внесенные в Закон о СМИ изменения расценивает как ханжеские.

жели Руссо и Селин, а из более близких времен — скажем, Веничка, но не Эдичка. Больше того, истории Фрейдкина (опять-таки, контрастируя с лимоновски-ми) — это чаще всего именно истории «фрустрации», жизненной неудачи, а то и прямого краха, к тому же их напрямую явленные зрению, слуху и обонянию подробности могут буквально на каждом шагу покоробить чистоплюя. Если говорить по этому пункту совсем коротко, я бы сказал, что герой-рассказчик честен — с собой и читателем. Качество в нынешнем отечественном социуме поголовного недоверия и двоедушия, самозванства и вранья, согласимся, куда как редкое.

Второй момент: сквозной герой фрейдкинской прозы и развиваемый им жанр «книги жизни» предполагает циклизацию новелл (тут образцов — от новеллистики Возрождения до саги о Шерлоке Холмсе, не говоря уж про кино, — не счесть). Новые рассказы могут при этом продолжать прежние, а могут предшествовать им или раздвигать уже рассказанные эпизоды, встраиваясь между. В любом случае, круговорот возвращений героя вкупе с «открытой структурой» времени, размыкающегося у нас на глазах, — это сильнейшее устройство нового и нового стягивания читателя в подобный, кажется, бесконечный сериал, который заставляет забыть про время, упраздняя его неумолимую однонаправленность и неуклонную линейность.

И последнее, но, может быть, даже главное, и это уже не секрет, а, пожалуй, тайна автора. Я имею в виду саму стихию рассказывания, ее не спадающий, но каким-то чудом вновь и вновь разгорающийся фениксов огонь. Рассказчик не раз и, надо отметить, без малейшего раздражения или жалобы поминает свои бездомность, необеспеченность и безденежье, он, если воспользоваться, не теряя юмора, его же цитатой из песни Пола Саймона, — *just a poor boy*, но вот этой древнейшей стихии повествования он, и ни один читатель в том не усомнится, полноправный владетель. Впрочем, кому она, при ее древности, принадлежит? Если бы можно было спросить Шахерезаду. Или обратиться к тем *confabulatores nocturni*, которых призывал скоротать и скрасить его бессонницу в восточных походах Александр Македонский, а позднее поминал Борхес и, с его легкой руки, новый летописец сегодняшнего Востока Орхан Памук (вот и новая цепочка, еще одна серия). Сила отдельного человека — и тайна нашего автора — в том, что превосходит отдельного человека, но дает ему при этом энергию и форму.

Борис Дубин

СЕРЕНАДА СМИТА

Перед тем как писать этот рассказ я попросил свою дочурку опросить ее френдов на фейсбуке, может ли кто-нибудь из них, не заглядывая в гугл-яндексы, сказать, что представляет собой указанная в заголовке серенада Смита. Из принявших участие в опросе тридцати респондентов, в числе которых были, между прочим, люди с университетским и даже консерваторским образованием, положительно ответили только двое. Несмотря на невысокую количественную репрезентативность, результат весьма показателен и, увы, вполне ожидаем.

Поэтому я счел необходимым предварить свое повествование небольшой справкой: серенада Смита из считающейся в целом неудачной оперы Ж. Бизе «Пертская красавица» (по мотивам романа Вальтера Скотта) — это одна из красивейших арий в истории музыки, входившая в репертуар почти всех знаменитых теноров прошлого. Но в нашем случае дело не только в сухой музыковедческой фактографии. Для меня важно, чтобы у тех, кто будет читать мой рассказ, эта замечательная мелодия была на слуху, и я настоятельно предлагаю перед

прочтением прослушать ее — хотя бы по нижеследующей ссылке: http://video.mail.ru/mail/masterandrey1963/_myvideo/9.html

Первый раз я поцеловался с девушкой, когда мне было четырнадцать лет.

Лето 1967 года мы проводили в Малаховке на даче у наших родственников. Будучи чрезвычайно общительным юношей, я очень быстро оброс дачными знакомствами, но больше всего времени проводил у наших соседей. Фамилию их я за давностью лет запомнил. Это была бы обычная семья — папа, мама, бабушка и двое сыновей (первый — мой ровесник, второй — лет на пять постарше), если бы не одно совершенно беспрецедентное обстоятельство. Ничего подобного я ни разу в жизни не встречал: у обоих сыновей было одно и то же имя — Дима. Я недоумевал, как это могло получиться, но спрашивать мне казалось неловко. Их все звали Дима-большой и Дима-маленький, и так вышло, что я общался в основном не со своим ровесником (его, честно говоря, я вообще помню очень смутно), а с Димой-большим — здоровенным медлительным увальнем, который волшебным образом преображался за столом для пинг-понга, стоявшим у них на участке. Откуда ни возьмись появлялись скорость, резкость, реакция, изящество. Особенно ему удавались неберущиеся топ-спины с абсолютно непредсказуемым отскоком шарика. Я тоже играл довольно неплохо, но до Димы-большого мне было далеко. Тем не менее из всей дачной компании я оказался для него наиболее достойным соперником, проигрывал всегда в упорной борьбе, а иногда (примерно одну партию из пяти) мне даже удавалось выиграть.

А еще у них гостила какая-то дальняя родственница из Симферополя по имени Света. И уж ее-то фамилию — Карташева — я запомнил на всю жизнь. Младше меня на год, тонкорукая, легконогая, с уже сформировавшейся ладной женской фигуркой, она порхала по участку, как бабочка, придерживая руками разлетающиеся светло-русые волосы. Но самым трогательным было какое-то удивленно-вопросительное выражение, с которым она чуть исподлобья поглядывала на все вокруг и даже иногда на меня. Я пялился на нее коровьими глазами, принимал романтические позы, пытался с ней заговорить, но успеха не имел.

Потеряв всякую надежду обратить на себя ее внимание, я решил посоветоваться со старшим товарищем и в перерыве между партиями спросил у Димы большого, как быть, если нравится девушка.

— Что значит, как быть? — пробасил Дима. — Кинул ей палку — и весь разговор!

— Так прямо сразу и кинуть палку?

— А чего с ними еще делать? В пинг-понг они не волокут... А тебе, что ли, наша Светка глянулась?

Я смущенно потупился.

— Нет, Светке палку пока нельзя. Она ж малолетка — зашухеришься, и хана. Ты лучше к Наташке из Удельной сходи. Хотя нет... Она такому салаге, как ты, задаром не даст. Только за пятеру — а где ж тебе ее взять? Короче, подождать придется годика три. Тогда и со Светкой можно будет — она ж все равно к нам каждый год приезжает.

Такой трезвый и отчасти приземленный подход к проблеме меня удовлетворить, конечно, не мог. Тем более что я для своих лет был на редкость целомудренным молодым человеком, и дальше совместных прогулок и катания на лодке по здешнему озеру мои устремления не простирались. Добавьте сюда нездоровое увлечение поэзией вообще и в частности то, что перед самым отъездом на дачу я беззастенчиво украл в районной библиотеке чудом завалившийся там «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского, с которым не расставался ни днем, ни ночью.

Словом, после долгих размышлений я решил, что наиболее адекватным выражением моего чувства (раз уж кинуть палку все равно нельзя) будет спеть Светке серенаду. Голос у меня сломался всего пару лет назад, а до того я не без блеска подвизался в качестве солиста школьного хора и даже, несмотря на не оставляющую сомнений картавость и отвратительную дикцию, брал призы на конкурсах самодеятельных исполнителей. Среди прочих выдающихся произведений вокального искусства была в моем репертуаре и пресловутая серенада Смита. Я, правда, не без оснований опасался, что теперь едва ли смогу вытянуть ее в оригинальной тональности (ля минор), и, поупражнявшись на безлюдном берегу озера, понял, что придется транспонировать всю партию на целую квинту вниз. Но главная проблема представлялась мне не в этом. Серенады, как известно, исполняются под покровом ночной темноты, а в наших краях летом темнеет только ближе к полуночи, тогда как самое позднее в десять мне уже полагалось быть дома.

Хорошо еще, что я спал на веранде, поэтому выбраться из дома, дождавшись, когда все уснут, оказалось, в принципе, несложно. Я на ощупь нашел дырку в заборе, через которую лазил по несколько раз в день. Добродушный фокстерьер Никки ничего против моего присутствия не имел. Дружески твякнув, он вернулся к своим обычным ночным занятиям. И тут передо мной во весь рост встала проблема номер два. Дом был большой, внутрь я никогда не заходил и на какую сторону выходит Светкино окно, не знал. Я пару раз обошел вокруг дома, но полезной информации это мне не прибавило. Тогда, от безысходности предположив, что Светка тоже спит на веранде, я расположился напротив нее и, откашлявшись, затынул:

На призыв мой тайный и страстный,
О, друг мой прекрасный,
Выйди на балкон...

На словах

Озари свод ночи улыбкой,
И стан я твой гибкий
Обниму, любя...

на веранде зажегся свет, и в дверях появилась мама Димы-большого и Димы-маленького в белой ночной сорочке. С криком «А вот я сейчас милицию вызову, хулиганье проклятое!» она выплеснула в мою сторону помойное ведро. К счастью, в темноте цель была ей плохо видна, и помой просвистели мимо.

Но все равно после такого афронта мне ничего не оставалось, как с позором ретироваться.

Впрочем, вскоре выяснилось, что моя ночная эскапада не была безрезультатной. Наутро, когда мы с Димой-большим как ни в чем не бывало рубились в пинг-понг, его мама (она, судя по всему, вчера меня не узнала) послала Светку вынести нам по кружке очень вкусного холодного компота.

Подойдя с кружкой ко мне, Светка спросила:

— Это ты вчера ночью пел?

Я не стал отпираться и мрачно кивнул.

— Ну ладно, — вздохнула Светка, — тогда приходи сегодня после обеда на бревна.

Так называлось место на пыльном пустыре около недостроенного клуба, где действительно живописной грудой были навалены бревна, привезенные туда неизвестно кем и неизвестно для чего. По вечерам вокруг них собирался весь дач-

ный бомонд, устраивались танцы под транзистор, по доброй российской традиции кончавшиеся, как правило, легким мордобоем. А днем там обычно было пусто.

Не таким я представлял себе свое первое свидание, но выбирать не приходилось. И уж конечно, я не мог не поделиться радостной новостью с Димой-большим, но понимания не встретил. «На хрена тебе это нужно? — сказал он. — Удовольствия никакого, а неприятностей потом не оберешься. Если тебе так уж невтерпеж, давай я тебе лучше пятеру займу — к Наташке сходишь».

От денег я мужественно отказался, но попросил старшего товарища одолжить мне для похода на randevу свои супермодные по тем временам брюки: сверху — в обтяжку, снизу — широченный клеш. Дима-большой с явной неохотой согласился. «Только учти: там молния заедает», — тактично предупредил он.

До молнии, впрочем, дело не дошло, а вот неприятности и впрямь не заставили себя ждать. Не успели мы со Светкой расположиться на нагретых солнцем бревнах и начать приличествующий случаю разговор, как в мои клеши залетели несколько ос и, отчаявшись выбраться наружу, принялись немилосердно жалить меня в самые нежные участки тела. Первое время я мужественно сносил эти зверские укусы, но скоро мое терпение лопнуло, и я стал с преувеличенным возбуждением рассказывать Светке какие-то дурацкие истории, горячечно жестикулируя и хлопая себя ладонями по ляжкам в надежде пришибить проклятых тварей. Светка несколько минут глядела на мои непристойные ужимки, а потом торопливо проговорила: «Знаешь, я лучше домой пойду».

Она легко поднялась с бревен на свои точеные ножки и, словно танцуя, побежала через пустырь.

А спустя несколько дней мы почему-то съехали с дачи и вернулись в Москву. То ли у отца отпуск кончился, то ли еще что-то случилось — сейчас уже не помню. Знал я, что и Светка должна вот-вот возвращаться к себе в Симферополь, и это только усугубляло тяжелую фрустрацию, в которой я пребывал после неудачного свидания. Я не находил себе места и в ближайшие выходные, наврав родителям, что иду в Лужники на футбол, сорвался в Малаховку.

На даче я Светку не застал — она ушла купаться на озеро. Я разыскал ее там и, удивляясь собственной наглости, развязно предложил прогуляться. Она быстро оделась, и мы пошли, но уже не на бревна, а в небольшой лесок между озером и железной дорогой. И там совершенно неожиданно (по крайней мере, для меня) мы, не говоря ни слова, начали целоваться. Я, по выражению Александра Сергеевича Грибоедова, буквально «повис у нее на губах», она, раскрасневшись и закрыв глаза, все тесней льнула ко мне. Время шло, а мы никак не могли отлипнуть друг от друга.

Между тем настал вечер. Светка проводила меня до электрички, но, не в силах расстаться, поехала со мной в Москву. В поезде к изумлению пассажиров (в те времена в общественном месте не так часто можно было увидеть samozабвенно лижущихся подростков); продолжалось то же безумие. В Москве мы стояли на перроне, и теперь уже я отправился со Светкой в Малаховку. Потом мы еще долго целовались у ее калитки, и под единственным фонарем во всем проулке я записывал ее симферопольский адрес... В общем, едва не опоздав на последнюю электричку, я вернулся домой во втором часу ночи.

С гудящими чреслами, еще не отошедший от сладостной эйфории, я поднялся к себе на седьмой этаж и, открывая дверь ключом, услышал, как мама говорит отцу: «Хиля, когда он войдет, дай ему сразу по морде!». Я вошел, отец развернулся, я, вспомнив навыки недолгих занятий боксом, на автомате нырнул ему под руку, и отец со всего размаху врезал открытой ладонью по дверной задвижке. Раздался сдержанный стон и краткая матерщина. И сразу же с кухни донесся крик моей бабушки Ревекки, которая, несмотря на поздний час, по те-

лефону рассказывала о похождениях непутевого внука своей сестре Фане: «Ой, Фанеле, послушай вос тущех, этот бандит уже лупит своего отца!».

Всю осень и всю зиму мы со Светкой оживленно переписывались. Я изошрялся в восторженных излияниях чувств и обильно цитировал русскую классику (преимущественно без указания авторов), Светка отвечала, что тоже скучает, и ненавязчиво переводила разговор на красоты крымской природы. Но ближе к весне переписка естественным образом стала сходить на нет, а в мае Светка написала, что не придет этим летом в Малаховку, потому что родители увозят ее в Прибалтику.

Здесь наша история вполне могла бы и закончиться, но моими стараниями у нее оказалось довольно занятное продолжение.

Спустя лет пятнадцать я в многочисленной компании своих друзей и подруг поехал на отдых в Крым. Между Судаком и Коктебелем располагалось славное местечко — совхоз «Приветное». Туда мы всем кодром и подрядились убирать персики. Совхоз нас обеспечивал жильем, питанием и даже платил сверх этого кое-какие деньги, так что отдых для нас был практически бесплатным. С рассвета и до наступления жары (то есть часов до одиннадцати) мы, особо не напрягаясь, собирали «сочащиеся спелостью плоды» и обедались ими до колик в животе, а потом — по интересам: кто на пляж с девочками, кто уединялся в прохладной хате с гитаркой и канистрой местного винишка, кто под сенью виноградных лоз предавался *dolce far niente* и упражнениям в версификации.

А когда пришло время уезжать, мне вдруг вступило в голову, что не худо бы в качестве продолжения банкета навестить предмет своей юношеской страсти, благо адрес Светки я помнил наизусть — я и до сих пор его не забыл. Короче говоря, посадил я в Симферополе своих ребят на московский поезд, а сам отправился по следам ностальгических воспоминаний. Выяснилось, однако, что этот адрес не в самом Симферополе, а километрах в пятнадцати — в учебном городке Крымского сельскохозяйственного института и добраться туда по вечернему времени было не так просто. Маршрутка ходила только в рабочие часы, таксисты отказывались ехать даже за двойной счетчик, а ждать автобуса пришлось больше часа. Пока доехал, пока не без труда нашел нужный дом — обшарпанную блочную пятиэтажку — время уже к десяти. А в Крыму темнеет рано.

Ломиться непосредственно в квартиру я побоялся. Пес его знает, может, там родители, муж ревнивый или еще кто. А может, Светка здесь вообще уже давно не живет — ведь сколько лет прошло. Но я заранее придумал, что нужно делать. По номеру квартиры было нетрудно рассчитать, что она располагалась на третьем этаже и окна выходили на фасад дома. В одном из них горел свет. Собравшись с духом, я встал перед подъездом, набрал в грудь побольше воздуха, и в душной крымской ночи раздалось: «На призыв мой тайный и страстный...».

Забавно, что реакция на мое пение оказалась почти такой же, как пятнадцать лет назад. После первого куплета из окна пятого этажа в меня полетела пустая бутылка, а после припева из окна второго этажа по пояс высунулась какая-то тетка и завопила: «От пьянчуги бисовы! Идуть до скверу и тамо спывайте!».

А когда я допел до конца и уже собирался начать сначала, из подъезда танцующей походкой вышла Светка. В вечернем полумраке мне показалось, что она ничуть не изменилась, но, когда мы поднялись к ней, я увидел, что это не совсем так. Нет, она не растеряла своего очарования — по-прежнему была легка и грациозна в движениях, светло-русые волосы по-прежнему вились вокруг тонкого лица, но из немного впавших глаз исчезло трогательное детское удивление. Они смотрели ясно, твердо и безнадежно.

Она провела меня на кухню, быстро и красиво накрыла на стол, достала бутылку вина.

В общем, у нее все нормально. Кончила сельскохозяйственный институт, работает на кафедре, когда выходила замуж, родители оставили им эту квартирку, а сами переехали в Симферополь. С мужем вскоре развелись, ребенок (мальчик) остался, он спит в соседней комнате. Сейчас есть у нее, как она выразилась, «приходящий». Неплохой парень, но какой-то странный — непонятно, чего он хочет.

Потом она, сочувственно вздыхая, слушала рассказ о моей веселой, неприкаянной и антиобщественной жизни, а когда в этом рассказе как бы сами собой замелькали диссидентские нотки, она вдруг улыбнулась своей чудесной грустной улыбкой и сказала: «Значит, и ты стал жертвой оголтелой антисоветской пропаганды, поддался на посулы вражеских голосов?».

Я сперва решил, что это такой юмор, но Светка и не думала шутить. «Да, упустила тебя твоя комсомольская организация, — продолжала она. — Конечно, у нас встречаются отдельные недостатки и перегибы на местах, но нельзя же во всем видеть только негатив. Партийное руководство знает о наших трудностях и ведет нас правильным путем».

От неожиданности я настолько опешил, что даже не пытался возражать. Светка почувствовала мое недоумение и спохватилась: «Ну ладно, что это я политинформацию взялась тебе читать... Поздно уже, пора спать ложиться. У тебя это все наносное. Я верю, что в глубине души ты настоящий советский человек».

Она постелила мне на узеньком и коротковатом кухонном диванчике, а сама ушла в комнату к сыну. После всего услышанного мне казалось, что я долго не смогу уснуть, но, приняв горизонтальное положение, я сразу вырубился, словно на дно пошел.

Утром Светка накормила меня завтраком и пошла проводить на маршрутку. Я уселся рядом с водителем и закурил. Светка, красивая, как «Весна» Боттичелли, стояла на остановке и махала мне рукой. В ее глазах блестели слезы.

Вот теперь истории действительно конец, и, пожалуй, самое время для закругления композиции еще раз послушать серенаду Смита.

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

Окончив школу весной 1970 года, я все лето не без приятности жуировал жизнью, околачивал груши и беззастенчиво вводил в заблуждение родителей, делая вид, будто поступаю на театроведческий факультет ГИТИСа, а с осени, как ни противилась этому моя артистическая натура, пришлось приступить к трудовой деятельности. Я был довольно музыкален и немного умел играть на фортепьяно, поэтому не стоит удивляться, что началась упомянутая деятельность не совсем типично для юноши — с должности музыкального работника в детском саду.

В целом меня все там устраивало. Я приходил на работу где-нибудь около одиннадцати, часа три-четыре мы с разными группами детишек разучивали веселые песенки вроде «Мишка с куклой бойко топают», а около трех я уже был свободен. Платили там, разумеется, сущие копейки, но меня в те годы это мало волновало.

Но вскоре мне осточертели совковые детские шлягеры, и я решил малость приподнять культурную планку своих занятий, понемногу вводя в репертуар солидные классические произведения, еще свежие в памяти со времени обучения в музыкальной школе, — «Мой Лизочек» Чайковского, «Сурок» Бетховена, «Колыбельную» Моцарта и тому подобное. Кончилось это, как почти все благие начинания, плохо. У заведующей детсадом имелся муж-алкоголик, который каждое утро в похмельном виде приходил клянить у ее подчиненных двугривенные на пиво. И однажды, когда я пребывал в аналогичном состоянии, мы с ним опохмелились вместе (и, помнится, не только пивом), после чего я отправился

разучивать со старшей группой бетховеновскую «Шотландскую застольную» («Постой, выпьем, ей-богу, еще! Бетси, нам грогу стакан...»). Добрые люди незамедлительно «стукнули» заведующей, и я был с треском уволен.

Впрочем, безработным я оставался недолго. Практически через несколько дней я уже работал заведующим игротеккой в Таганском парке культуры и отдыха. Не помню сейчас, каким ветром меня туда занесло. Кажется, я просто оказался в тех краях и случайно увидел объявление о вакансии.

И тут мне, как говорится, улыбнулась удача. Это была настоящая синекура. Во-первых, там платили гораздо больше, чем в детском саду (хотя тоже не бог весть какие деньги), а во-вторых, я очень скоро с радостным удивлением обнаружил, что мне вообще ничего не надо делать. То есть совсем. Поначалу я приходил на работу к девяти утра, открывал своим ключом отдельно стоящий павильон и до шести читал, сочинял стихи, гонял шары на детском бильярде и играл сам с собой в шахматы и шашки. За все время работы (а мое недолгое счастье продолжалось около двух месяцев) в игротекку так ни разу никто и не заглянул. Не считите это фигурой речи или художественным преувеличением — за два месяца я действительно не дождался ни единого посетителя. Причем моя трудовая дисциплина и явка на рабочее место никем не контролировались. Я даже не знал в лицо никого из администрации парка, кроме начальницы отдела кадров, которая оформляла меня на работу, и кассирши, выдававшей зарплату.

Такая бесконтрольность в конце концов и сослужила мне дурную службу. Где-то через неделю я начал приходить в свой павильон только часам к двенадцати (я с юных лет терпеть не могу рано вставать), а потом и вовсе подумал: «Какого мне тут высиживать, когда у меня так много разных интересных дел и занятий», — и стал ненадолго заглядывать «в должность» раза два-три в неделю. В октябре я уже обнаглел до такой степени, что за весь месяц появился в парке только дважды — в дни зарплаты и аванса. Никаких последствий это не имело.

Между тем наступили ноябрьские каникулы, и я, заперев свой павильон, с легким сердцем уехал в составе Поэтического театра на гастроли в Ярославль. Мне и в голову не могло прийти, что тут-то как раз и начнется массовое паломничество в мою игротекку. Дети из шести окрестных школ приходили в организованном порядке, целыми классами, и сопровождавшие их учителя, устав стучаться в закрытую дверь, бежали ругаться к начальству парка. Мне звонят домой, а меня нет, тем более я тогда в родительском доме вообще бывал только эпизодически. Моих бедных родителей затерроризировали до того, что они перестали подходить к телефону.

Словом, вернувшись из Ярославля, я уже снова был безработным.

Тогда слегка очумевший от пережитого отец решил, что мне надо наконец получить какую-то серьезную специальность. Мы с ним отправились к его старому приятелю, заведующему районной фильмотеккой учебных фильмов, и тот буквально в один присест научил меня управляться с кинопроектором «Украина». Те, кому известны мои напряженные взаимоотношения с любого рода техникой, могут легко представить себе, до какой степени это было несложно.

На следующий день я уже шел оформляться на должность киномеханика в знаменитую общественно-показательную школу имени Зои и Александра Космодемьянских, а еще через пару дней приступил к выполнению своих новых обязанностей.

В мой первый рабочий день у меня было два урока подряд — биология и история, причем в одном и том же девятом классе. Увиденное на этих уроках поразило меня, всего полгода назад окончившего одну из лучших школ в Москве, до глубины души. Учительница биологии, женщина неопределенных лет и незапоминающейся внешности, ситуацией в классе не владела совершенно. Она

весь урок визжала, брызгала слюной, топала ногами, дергала учеников за волосы, раздавала им подзатыльники и даже просила меня «дать в морду гниде Тимошуку», но все это не имело ровным счетом никакого эффекта. Ученики не обращали на нее ни малейшего внимания — они свободно расхаживали по классу, занимались своими делами, громко переговаривались между собой, отнюдь не избегая при этом нецензурных выражений. На задних партах шла азартная игра в буру. В нашей девятой спецшколе на уроках порой тоже случалось всякое, но такого я даже представить себе не мог.

Тем большим контрастом было поведение этих же учеников на уроке истории. В классе стояла звенящая тишина и царил строжайший порядок, хотя учитель истории — низкорослый (буквально метр с кепкой), полноватый, неопрятный мужчина за пятьдесят с плохими зубами и в мешковатом костюме — говорил очень мало, негромко и как бы нехотя.

С омерзением заглянув в журнал, он вызвал к доске какую-то расфуфыренную девицу, которая, стреляя глазками, покачивая бедрами и поддерживая руками свой вполне сформировавшийся бюст, пыталась что-то лепетать об экономических причинах наполеоновских войн. Историк послушал ее минуты две, а потом шелестящим бесцветным голосом произнес: «Дура. Профурсетка. Садись, два». Девица, изобразив на лице что-то вроде «не хотите и не надо», села на место. Никто из парней даже не хихикнул.

Потом я сошелся с этим человеком немного ближе. Его звали Семен Самуилович Медников, и он иногда заходил ко мне в будку покурить. Ни прежде, ни потом я ни разу не встречал учителя, который бы так ненавидел своих учеников. Он вел уроки с нескрываемым отвращением, преимущественно стоя у окна и глядя на улицу, «чтобы не видеть эти дебилские рожи». Иногда в моей будке его как будто прорывало, и он раздражался примерно такими тирадами: «Сил моих больше нет мудохаться с этими выблядками и олигофренами! Да и что ты хочешь: матери — проститутки, отцы — алкоголики как минимум в третьем поколении. Чему их учить? В гробу они видели всю эту историю с географией! Все, что им нужно для жизни, они уже давно знают — с молоком всосали. Нет, дотяну до пенсии, и на хер всю эту преподавательскую деятельность! Рыбок буду разводить».

При этом он был отличным учителем, едва ли не лучшим в школе, и ученики, как это ни странно, его любили, несмотря на нескрываемое презрение к ним и крайне грубое обхождение.

Но, пожалуй, еще больше, чем учеников, Семен Самуилович ненавидел своих коллег-учителей. Единственное исключение он почему-то делал для меня, хотя по возрасту я годился ему почти во внуки — предполагаю, что здесь не обошлось без предпочтений по национальному признаку. Ни с кем из коллег он не разговаривал. Если с ним здоровались, бурчал в ответ что-то невнятное и малоприличное. Он не только никогда не заглядывал в учительскую (за журналом он обычно посылал кого-нибудь из учеников), но, идя на урок, выстраивал свой маршрут так, чтобы даже не проходить мимо нее, из-за чего часто бывал вынужден делать крюк через соседний этаж.

И тут его можно было понять. Преподавательский состав этой образцово-показательной школы производил, мягко говоря, тягостное впечатление. Учительница литературы, недавняя выпускница филфака пединститута, спрашивала у меня, кто такой был Бодлер, и на уроке называла Дантеса «наемным убийцей и платным агентом царской охранки». Учительница географии говорила «Средиземное море», «добыча полезных ископаемых» и считала, что в Индии живут индейцы. Учительница английского языка писала на доске английские слова русскими буквами, и произношение у нее было соответственным. К неопишуемому восторгу старшеклассников, она запросто могла дать для перевода такое, например, предложение: «Куда

делся мой купальник — он только что был на мне?». Симпатичней других смотрелся, пожалуй, учитель физкультуры, но и тот практически к каждому слову не очень внятно, но и недвусмысленно добавлял междометие «ебть» независимо от того, с кем он говорил, — с учителями, с учениками или с их родителями.

Вдобавок, как и большинство женских коллективов, школу раздирали непрекращающиеся склоки. Окна учительской располагались на втором этаже прямо над главным входом — так что скандалы и пронзительные вопли оттуда иной раз бывали прекрасно слышны даже с улицы.

Директором школы был импозантный, добродушный и громогласный мужчина по фамилии Борисов. Звали его, кажется, Николаем Александровичем. Он, впрочем, выполнял преимущественно представительские функции, а всеми школьными делами заправляла завуч — худощавая особа с остекленевшим взглядом и всегда красными руками. Борисов же председательствовал на всяких торжественных мероприятиях, разъезжал по конференциям, а в остальное время сидел в своем огромном кабинете и сочинял многотомный роман из жизни Зои Космодемьянской.

Угадав во мне человека с литературными наклонностями, он примерно раз в неделю приглашал меня к себе в кабинет и с большим чувством зачитывал вслух новые главы. Писал он сильно, энергично и образно — сейчас такой стиль начинает понемногу возвращаться в нашу государственную риторику. Что-то вроде: «Нелегко это было время. Как злобные псы, хищные гиены и трусливые шакалы, обступали враги границы нашей Родины. Из-за океана алчный дядя Сэм тянул к ее горлу свои обгаренные кровью руки». В общем, слушать было не скучно.

А в остальном он выглядел, повторяю, весьма добродушным человеком — в школьные дразги не вникал, на учеников внимания не обращал, ко мне относился отечески снисходительно и немного по-барски.

Я постепенно осваивал новую профессию. Поднаторел в обращении с кинопроектором настолько, что мог заряжать пленку с закрытыми глазами. На переменах ученики кричали мне вслед: «Как у Марка Ильича голова из кирпича!». В меня влюбилась секретарь комсомольской организации и манифестировала свое чувство тем, что при каждой встрече вымогала членские взносы, хотя я на ее глазах разорвал свою учетную карточку и выкинул обрывки в урну. Незаметно пролетел учебный год.

В самом его конце меня поймал в коридоре завхоз и спросил:

— Слушай, а твой проектор за тобой числится?

— Пес его знает, наверно, за мной, — ответил я.

— Так, значит, ты у нас материально ответственное лицо, — почему-то обрадовался он. — Тогда надо оформить с тобой договор на материальную ответственность. Зайди ко мне перед отпуском — подмахнешь договорчик и еще кое-какие документы.

— Зайду, — легкомысленно пообещал я. Но не зашел. Не потому, что заподозрил неладное, а просто в предотпускной суматохе замотался и забыл.

Когда я вернулся из отпуска, завхоз уже был под следствием и под арестом, а следователь, которому я честно рассказал об этом разговоре, выразился так: «Повезло тебе, парень, что ты тогда к нему не зашел. Он бы точно уболтал тебя подписать эти бумажки, и сидел бы сейчас ты, а не он», — и дал мне посмотреть какие-то липовые акты на списание материальных ценностей (помню, там фигурировали телевизоры, диваны, ковры и даже бюст Ленина) на общую сумму десять с лишним тысяч рублей. По тем временам огромные деньги. И под всеми этими актами стояла моя фамилия, но не было, к счастью, моей подписи.

В начале зимы в школе произошло ЧП — скоростижно и неожиданно для всех ушла в декрет незамужняя учительница литературы. Та самая, которая интросовалась у меня, кто такой Бодлер. И Борисов попросил меня, пока не най-

дут замену, провести в десятом классе несколько уроков — на общественных началах и без отрыва от обязанностей киномеханика.

В отличие от Семена Самуиловича Медникова я по молодости лет опрометчиво полагал, что просвещение может до некоторой степени смягчить нравы и хотя бы отчасти сгладить последствия социальных язв, и поэтому чрезвычайно ответственно, с подобающим возрасту энтузиазмом отнесся к порученному делу. (Тут следует напомнить, что я был всего на два года старше своих учеников.) Но поскольку проходить в соответствии с программой Фадеева и Николая Островского мне с моими диссидентскими замашками было, как сейчас говорят, запахло, я, тщательно подготовившись, решил вместо этого ознакомить десятиклассников с творчеством Зощенко и Бабеля. На последнем из трех своих уроков я даже прочел им вслух несколько отрывков из «Истории моей голубятни».

На следующий день, едва я пришел в школу, Борисов вызвал меня к себе. Плотнo закрыв дверь и оттащив меня в дальний угол кабинета, он заговорщицки зашептал: «Ты что, совсем охренел? Не знаешь, что у этой рыжей халды Овсянкиной из десятого «Б» папа — замсекретаря райкома по идеологии? Он сегодня уже звонил мне, спрашивал: что это у тебя там за жидочек ведет на уроках сионистскую пропаганду? Давай быстро пиши по собственному желанию и с глаз долой, а то здесь сейчас такое начнется...».

Я, безусловно, понимал, что мой педагогический экспириенс не мог продолжаться долго, но к такому бурному развитию событий оказался не готов. Тем более у меня было в запасе материал, еще на пару уроков. Поэтому я стал мямлить что-то невразумительное вроде «может, еще обойдется...». «Не обойдется, — твердо проговорил Борисов, — я эту п*добратию хорошо знаю».

Будь я повзрослей, я, может, еще бы покочевряжился, а тогда — что взять с восемнадцатилетнего пацана? — послушно сел за стол, покрытый красным кушачом, и написал заявление.

Прочитав его, Борисов удовлетворенно хмыкнул и сказал: «А теперь слушай. Я как раз вчера последнюю главу забахал». Он достал из ящика стола толстую тетрадь в роскошном сафьяновом переплете и принялся читать концовку своего эпохального произведения, в которой яркими красками и щедрыми мазками описывалась казнь отважной партизанки. Было видно, что текст очень нравится автору. Он читал с большим одушевлением и так разгорячился, что даже начал в такт чтению стучать кулаком по столу. А канонические предсмертные слова героини в его интерпретации прозвучали так: «Нас, б*дь, двести миллионов, всех не перевешаете! Вам, суки поганые, отомстят за меня!». Тут он запнулся и смущенно пробормотал: «Это я так... от себя добавил. В книгу это, конечно, не войдет...».

ГОЙКА И ХАЙКА

Когда мама умерла, отец оставался еще вполне себе нестарым сорокашестилетним мужчиной, и года через три у него появилась любовница, чему мы с сестрой Леной очень обрадовались, потому что смотреть, как он каждый день, придя с работы, сидит один на кухне и садит «Беломор» пачку за пачкой, было невыносимо.

Его избранницей стала очень славная женщина по имени Марья Петровна, с которой они когда-то много лет проработали в одной школе: отец преподавал физику, а она (как, кстати, и мама) — литературу и русский язык. И, судя по всему, еще во время совместной работы между ними что-то такое смутно намечалось, по поводу чего мама, как будто предчувствуя, устраивала отцу сцены ревности. Хотя, как мне потом рассказывала сама Марья Петровна, у них тогда ничего существенного не было — так, какие-то неопределенные флюиды и взаимная симпатия.

И вот теперь их некогда эфемерные чувства материализовались. Причем отец, буквально как партизан, скрывал от нас с сестрой эту связь, постоянно придумывая для своих вечерних отлучек какие-то не очень вразумительные предлоги. И уж тем более Марья Петровна никогда не приходила к нам. Отцу почему-то казалось, что его роман должен нас задевать, хотя в действительности, повторяю, мы были этому только рады.

Но долго шифроваться ему, конечно, не удалось. Вскоре Марья Петровна по собственной инициативе позвонила мне и сказала, что хочет со мной познакомиться. Мы познакомились и, несмотря на почти двадцатипятилетнюю разницу в возрасте, как-то сразу очень заружились. Одно время мы с ней встречались, наверно, даже чаще, чем она встречалась с отцом, тогда как отец об этой дружбе не знал (и, замечу в скобках, так и не узнал).

Их любовные свидания проходили преимущественно у нее дома, но отец из своей партизанской конспирации никогда не оставался на ночь и часов около одиннадцати обычно возвращался к себе. Порой доходило до смешного. Только он за порог, а Марья Петровна уже звонит мне и воркующим голосом говорит: «Дорогой! Он уехал, и я теперь совершенно свободна», — и я быстренько ехал к ней, благо она жила довольно близко.

Мы усаживались на кухне и под веселые разговоры о том о сем и под бутылочку-другую водки задушевно коротали ночь. Надо заметить, что Марья Петровна была одной из немногих женщин, которые могли пить наравне со мной, а это, скажу без ложной скромности, удавалось в то время далеко не каждому мужчине.

Может показаться странным, но нам — сорокапятилетней женщине и двадцатилетнему мальчишке, было совсем не скучно друг с другом, хотя общего, за исключением иронического отношения к себе и окружающей действительности, у нас оказалось немного. Наши пристрастия, по крайней мере применительно к современной литературе, практически не совпадали. Марья Петровна — и по возрасту, и по воспитанию, и по кругу общения — была типичной шестидесятницей (или, если точнее, пятидесятницей) со всеми вытекающими отсюда предпочтениями, а продвинутая и разочарованная молодежь моего поколения уже относилась к «детям оттепели» «с насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом» и их творчества не принимала напроочь.

Марья Петровна в свое время окончила филфак Ленинского пединститута и была хорошо знакома со всей знаменитой пединститутской компанией 50-х годов — Визбором, Кимом, Адой Якушевой, Петром Фоменко, Юрием Ряшенцевым. К последнему мы с ней как-то раз даже сходили в гости, и он читал нам свои стихи «не для печати». Меня тогда очень удивило, что они практически ничем не отличались от тех, которые он публиковал в журнале «Юность», и я никак не мог взять в толк, почему одни можно печатать, а другие нельзя. Когда я по юношеской бестактности спросил об этом автора, он ответил, что нам, молодым невеждам, не горевшим в танке, таких тонких стилистических нюансов не понять. Впрочем, он отнесся ко мне вполне благосклонно, посоветовал пристроиться к переводческой кормушке и даже дал на пробу перевести с подстрочника довольно длинное стихотворение какого-то грузинского поэта, посвященное Сталинградской битве. Я его добросовестно мусолил недели две, но ничего путного у меня не получилось.

О чем же мы с Марьей Петровной говорили ночами напролет? Честно говоря, сейчас уже не помню. В основном рассказывали друг другу анекдоты, которых в те годы ходило множество, и всякие забавные истории из жизни. Тогда как раз стали очень популярными апокрифы об особенностях дикции Леонида Ильича. Вроде бы именно от Марьи Петровны я впервые услышал про «Советский Союз и другие сосиски страны» и ответил ей рассказом про «многосисичный коллектив вашей ткацкой фабрики».

Ну и конечно, мы много говорили об отце. О том, какой он блестящий учитель и непревзойденный остроумец, о том, что он при этом не слишком просвещенный человек и не свободен от некоторых предрассудков. Марья Петровна очень заинтересованно расспрашивала про бабушку, про маму, про сестру. Она как будто готовилась войти в нашу семью, и мне казалось, что это только вопрос времени. Я был уверен, что отец женится на ней, и не понимал, почему он тянет резину и что, собственно, его останавливает.

Глаза мне открыла сестра, которая всегда была умнее меня в таких делах. «Он никогда не женится на ней, — сказала Ленка. — Ведь она не еврейка, и он побоится, что родня его осудит. Ты вспомни, как наша дорогая тетя Ида любит порассуждать о том, что все гойки — проститутки и алкоголички, и представь, как она отреагирует, если услышит о его женитьбе на русской».

Сестра хорошо знала, что говорит, — героем ее первого серьезного романа был парень с татарскими корнями, и переполох в родне в этой связи поднялся тогда неопиcуемый. Но мне все-таки не верилось, что местечковые предубеждения и страх не угодить родственникам в отце настолько сильны, что он откажется от такой удачной партии. Однако вскоре произошел случай, который полностью подтвердил правоту моей не по годам мудрой сестры.

Отец отмечал свой день рождения. Более того, это, кажется, было пятидесятилетие. В нашей маленькой квартирке собралась вся мишпоха — родные, друзья молодости. Шумно, весело, людно. В самый разгар веселья — вдруг звонок в дверь. Улыбающийся отец открывает, а там Марья Петровна — нарядная, с большим букетом цветов. «Поздравляю вас, — говорит, — Иехиель Соломонович, от бывших коллег по 747-й школе».

Первый и последний раз в жизни я увидел отца испуганным и потерявшим лицо. «Спасибо...» — промямлил он и, к моему изумлению, не пригласил ее войти.

Удивительно, что после этого они расстались не сразу, а при встречах со мной Марья Петровна даже не упоминала про свою обиду. Но постепенно их отношения стали сходить на нет, и некоторое время спустя Марья Петровна переехала с нашего севера Москвы на дальний восток — куда-то на Рязанский проспект — к своему новому другу. Думаю, что с тех пор они с отцом больше никогда не встречались. Я же еще несколько раз приезжал к ней, но по понятным причинам нашим ночным посиделкам пришел конец, несмотря на то что ее сожитель тоже был незаурядным любителем и мастаком по части выпивки — правда, он предпочитал портвешок. В общем, скоро и мы с Марьей Петровной перестали видеться.

А отец таки нашел себе жену, которую не стыдно показать еврейским родственникам. Это была роковая красавица с роскошным экстерьером и феноменальным бюстом. Ее звали Нонна Аркадьевна. Помимо того что она приходилась дочерью известной исполнительнице еврейских народных песен Саре Фибих, Нонна Аркадьевна и сама была птицей высокого полета. Она несколько лет проработала в главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения и приятельствовала со всей литературно-драматической элитой столицы. В разговорах непринужденно упоминала «Мишу» Козакова, «Зяму» Гердта, «Шуру» Ширвиндта, «Андрюшу» Миронова, в ее доме пели Окуджава, «Саша» Галич и «Володя» Высоцкий. Наконец, ее близкой подругой была дочь директора Дома актера, впоследствии с блеском продолжившая дело своего отца, — Маргарита Эскина. Кроме того, Нонна Аркадьевна не чуралась и диссидентской деятельности — она лично участвовала в подготовке, хранении и распространении «Хроники текущих событий». Словом, вся она «от гробенок до ног» была плоть от плоти той, как сейчас выражаются, страты, с которой отец в прошлой жизни никаким боком не соприкасался, и это, похоже, очень ему импонировало. Они представляли настолько разные слои обще-

ства, что я, признаться, недоумевал, где и как они в принципе могли пересечься, не говоря уже обо всем остальном.

Немного смущало и то, что отец у нее оказался не то четвертым, не то пятым мужем, но, в конце концов, кто считает? — лишь бы ему с ней было хорошо. Я, впрочем, не уверен, что они с отцом, как говорится, узаконили свои отношения. Скорее всего, все-таки нет. Во всяком случае, факта свадьбы я не помню — просто отец переехал в ее уютную, с большим (я бы даже сказал: чрезмерным) вкусом обставленную квартиру в писательском доме у метро «Аэропорт», которая досталась Нонне Аркадьевне от кого-то из предыдущих мужей.

А перед переездом отец, старавшийся, как правило, избегать резких телодвижений, совершил отчаянный волонтаристский поступок — он разменял нашу старую квартиру на улице Зои и Александра Космодемьянских. При этом моей сестре, которая уже была замужем и ждала ребенка, досталась малогабаритная «двушка», мне, холостому оболтусу без определенных занятий, — большая комната в коммуналке. Себе он не оставил ничего. И, как выяснилось со временем, это было довольно опрометчивым решением.

Поначалу отец с Нонной Аркадьевной жили в целом неплохо, хотя она, очень дружелюбно относясь ко мне, почему-то сразу невзлюбила Ленку и в особенности ее мужа. Но года через три отец стал болеть. Один за другим посыпались инфаркты. Врачи твердили, что не понимают, как он еще живет с практически нефункционирующим сердцем. Отец держался из последних сил, выписывался из реанимации и снова выходил на работу, но в его глазах уже появились тоска и обреченность.

В начале зимы 1982 года Нонна Аркадьевна позвонила и сказала, что хочет поговорить со мной не при отце. Мы встретились около метро «Аэропорт». Была, помнится, отвратительная погода. Мы с ней стояли прямо на улице под ледяной метелью, и Нонна Аркадьевна, захлебываясь яростными слезами, говорила примерно следующее: «Ты уже взрослый и должен меня понять. Твой отец умирает, а я не хочу умирать вместе с ним. Я тоже уже немолода и не желаю провести остаток жизни сиделкой при нем. Я хочу общаться с друзьями, принимать гостей, ходить в театры, ездить на юг. Я еще женщина — мне, извини, нужен регулярный секс... Умиравший должен умереть, а живые должны жить. В общем, я решила так: поговори с сестрой, и забирайте его к себе».

Назавтра я позвонил отцу. Я не стал передавать ему свой разговор с Нонной Аркадьевной и без долгих предисловий сказал, что будет лучше, если он немедленно переберется ко мне. Отец не удивился. Он немного помолчал, а потом ответил: «Не лезь не в свое дело. Разберемся без сопливых», — и положил трубку.

Не знаю, было ли между ними после этого что-то сказано. Очень возможно, что и нет — отец не зря считался человеком крайне немногословным. Но он не переехал ни ко мне, ни к Ленке, хотя она тоже звала его к себе, а Нонна Аркадьевна больше на эту тему не заговаривала. Впрочем, я с тех пор вообще старался избегать встреч с ней и приходил к отцу, когда ее не было дома. Увиделись мы только на его похоронах, которых пришлось ждать совсем недолго. Жарким майским днем следующего года отец умер на ходу, когда они вместе гуляли по дачному поселку.

Полгода спустя у Нонны Аркадьевны был уже новый муж — кажется, какой-то писатель средней руки.

КОЛЬКА СТРАЧУК

Одним из самых сильных художественных впечатлений моей молодости навсегда останется то, как пьяный Колька Страчук на трамвайной остановке «Красностуденческий проезд» пытался войти в трамвай с другой стороны — той, где не было дверей. Это выглядело словно сценка из чаплинского фильма: ма-

ленький, щуплый человек в модном плаще и с пижонским «дипломатом» колотится руками и ногами в безучастный трамвайный бок, выкрикивая невнятные ругательства и одновременно пытаясь удержать все время сваливающуюся шляпу. В общем, словами не опишешь — такое надо видеть.

Когда Колька пришел к нам во второй класс, он был форменным рахитиком — худенький, сторбленный, тоненькие ручки, тоненькие ножки со ступнями, загнутыми внутрь, и непропорционально большая голова. К нему как нельзя лучше подходило тогдашнее расхожее присловье «ты не гляди, что грудь впала, зато спина колесом». Его мама, статная донская казачка, носившая редкое имя Неонила, рассказывала мне потом, что в результате родовой травмы он родился с очень сильным искривлением позвоночника. Ей даже предлагали не забирать его из роддома, потому как все равно не жилец. Но, к счастью, она была профессиональной массажисткой и сумела его выводить.

Колька, тем не менее, был парнем бойким, веселым и совершенно не комплексовал из-за своей внешности. В общении не робел, в спортивных играх хоть и не блистал, но старался активно участвовать. Да в нашей замечательной школе никому и в голову не приходило смеяться над физическими недостатками. У нас это как-то не было принято. Главное, чтоб голова работала, а с этим у него было все в порядке.

К старшим классам Колька вообще выправился — богатырем он, конечно, не стал, но и росточку немного поднабрал, и даже какая-то элегантность появилась в его subtilной фигурке. И если в то время он часто становился объектом наших поэтических инсинуаций, то это в основном благодаря хорошо рифмующейся фамилии, а не из-за чего-то другого. Он, впрочем, прекрасно это понимал и никогда не обижался. В тех юношеских виршах было, понятное дело, довольно много подростковой жеребятины, но порой просвечивала и не вполне свойственная отрочеству трогательная нежность к товарищу. Что-нибудь вроде:

Где ты, где ты, Страчушок,
Коз рогатых пастушок?
По лесам и по долам
Где ты ходишь тут и там?
По каким висячим тропкам
Ты бредешь назло врагу
И в своем обличье кротком
Рвешь цветочки на лугу?

Где ты, где ты, Страчушок,
Тихих куриц петушок?
Ты зачем ушел от нас,
Где скитаешься сейчас?..

Ну и так далее.

Примерно с девятого класса у нас с ним выработался симпатичный ритуал. Каждый вторник (почему именно вторник, не помню, но так исторически сложилось) мы с самого утра как ненормальные бегали по всей школе и стреляли у кого пятак, у кого гривенник, чтобы к концу уроков набрать пару рублей на бутылку (и не какой-нибудь вульгарной бормотухи, а благородного сухого вина — грузинского или, на худой конец, болгарского), с каковой бутылкой мы в любую погоду неукоснительно отправлялись в Тимирязевский парк и неспешно распивали ее, читая стихи и беседуя о девочках. Потом мы вкладывали в опустевшую емкость записку с посвящением той или иной прелестной особе и выбрасывали

бутылку в пруд. При желании можно легко сосчитать, сколько стеклотары скопилось нашими стараниями на дне Тимирязевского пруда за два неполных года. Разумеется, наш ритуал ни в коем случае не возбранял совместного распития и в другие дни недели, но вторник — это было святое.

Потом школа кончилась. Я с упоением предался сомнительным радостям самостоятельной жизни, а Колька поступил на географический факультет МГУ. Он хотел стать океанологом и со временем стал им. Кончились и наши романтические ежевторничные возлияния в Тимирязевском парке — отчасти и потому, что отношения с девочками начали приобретать, если так можно выразиться, более осязаемые очертания. Но это вовсе не означало, что мы теперь встречались и выпивали реже. Отнюдь. Причем наряду со всякими коллективными пьянками в кругу наших многочисленных общих друзей мы не могли и не хотели отказаться от ностальгической привычки принять на грудь en deux. Правда, теперь мы предпочитали это делать не на пленэре, а где-нибудь в ресторане или в кафе — в «Арагви», в «Огнях Москвы», в «Лире». Не потому что у нас появились лишние деньги — нет, мы жили очень и очень скромно, чтобы не сказать сильней. Но нам нравилось чувствовать себя взрослыми, и на бутылочку сухого с легкой закуской мы почти всегда ухитрялись наскрести.

«Киндзмараули», «Напареули», «Мукузани», «Кварели», «Телиани», «Ахашени», «Твиши» — все меньше остается людей, которые помнят эти названия, звучавшие для нас как сладкая музыка. А тогда, в начале 70-х, такие деликатесные напитки, стоившие благодаря волонтарному советскому ценообразованию дешевле водки, были вполне доступны даже парням вроде меня и бедным студентам вроде Кольки.

Плохо было лишь одно: в то пуританское время все московские кабаки закрывались довольно рано, и ближе к полуночи приходилось выметаться на улицу, что чувствительно обламывало кайф, особенно в плохую погоду. Ночью работали только так называемые бары для иностранцев при интуристовских гостиницах, и пару раз, использовав неплохое знание английского, нам удалось контрабандой туда проникнуть.

Но нам там не понравилось — дорого, шумно и, главное, очень хамили официанты. Как те из них, кто сумел распознать в нас соотечественников, так и те, кто по ненаблюдательности принимал нас за зарубежных гостей столицы. Первые — понятно почему, а вторые, надо полагать, из любви к искусству и из шкодливого чувства безнаказанности, порожденной языковым барьером. Вот подходит к солидным иностранным клиентам такой лощеный субъект в бабочке и, подмигивая коллегам, с учтивым поклоном и любезной улыбкой спрашивает: «Ну, замудонцы, что будем заказывать?». А то может и просто крикнуть через весь зал: «Сергеа, подай двести “Хеннесси” этим трем б*дям за шестым столиком!».

Однажды, помню, изрядно подвыпивший Колька, который любил иногда изобразить джентльмена, барским тоном сказал швейцару, подававшему нам пальто: «Гуд бай, друг мой!». На что швейцар, слегка подталкивая нас в спину, ворчливо пробормотал: «Гуд бай, гуд бай отсюда к *баной матери, американы херовы!».

Окончив университет, или, кажется, еще на старших курсах Колька по своим океанологическим делам начал регулярно ходить в загранку, что породило на свет новую традицию. Когда он возвращался из плавания, он вел меня в ресторан, но уже не на бутылочку сухого, а по полной программе. Как-то раз, помню, пришел он не то из Бразилии, не то из Японии, звонит и говорит:

— Я тут на кафедре немного задерживаюсь, а ты езжай в «Арагви», занимай столик, все заказывай и жди меня.

— Ладно, — говорю, — но имей в виду: у меня денег только на метро.

Он отвечает:

— Не волнуйся, мы здесь только по рюмочке дернем за окончание рейса, и я сразу к тебе.

Ну-с, приезжаю я в «Арагви», заказываю, как полагается на двоих, пару пузырей, зелень, саживи, лобио, хачапури, хинкали. Жду час, жду другой — Кольки нет. Вот, думаю, попал! К концу третьего часа начал понемногу выпивать и закусывать. Так и так, думаю, на цугундер потянут — не пропадать же добру. Барышня какая-то ко мне подседа, помогла с харчами справиться. Я ей еще мороженое до кучи заказал. Семь бед — один ответ...

Но Колька приехал! К самому закрытию, пьяный в лоскуты — но все-таки приехал. Упал на стул, попытался улыбнуться и сразу же отключился — мордой в салат в прямом смысле слова. Так что мне осталось только залезть к нему в пиджак, достать бумажник, расплатиться, погрузить Кольку в такси и отвезти домой.

В другой раз вернулся он из длительного плавания не то в Норвегию, не то в Португалию, звонит и говорит, что сегодня в кабак не пойдем, поскольку привез он из заморских стран бутылку итальянского вермута, бутылку настоящего португальского портвейна, бутылку французского кальвадоса, а также блок сигарет «Кэмел» и собирается со всеми этими раритетными в те годы дарами западной цивилизации приехать ко мне вечером. «Отлично!» — отвечаю я и только тут соображаю: Колька ведь не знает, что за время его отсутствия в моей съемной квартирке образовалась приехавшая из Южно-Сахалинска девочка Надя, которая помимо целого букета выдающихся достоинств обладала двумя серьезными недостатками — она совершенно не пила и абсолютно не курила. И все мои многочисленные попытки изменить это прискорбное положение вещей наткнулись, как говорится, на глухую стену непонимания. Я был весьма удивлен таким упорством, тем более что уговорить ее, например, расстаться с девственностью оказалось делом буквально нескольких минут. А тут — ни в какую.

Вот, думаю, будет Кольке сюрприз. В прошлый раз он опоздал, а сегодня я не буду торопиться. Нехай он там без меня немного пообщается с непьющей гражданкой. И я не стал отпрашиваться с репетиции, а после нее отправился провожать девушку, в которую был тогда влюблен, на что ушло еще сколько-то времени, хотя и не так много, как мне бы хотелось.

Каково же оказалось мое удивление, когда, добравшись наконец до дома, я застал Надю и Кольку за приятной беседой, причем Надя была уже крепко навеселе и успела выкурить к моему приходу с полпачки «Кэмела». Я терялся в догадках, как Кольке за несколько часов удалось добиться того, что мне не удавалось несколько месяцев. Позже Надя рассказала, что на самом деле уже давно мечтала попробовать выпить и покурить, но я якобы склонял ее к этому чересчур прямолинейно и неизобретательно, а перед Колькиными обаянием и красноречием она устоять не могла. Подозреваю, впрочем, что здесь немалую роль сыграли и красивые зарубежные этикетки. Правда, ночью после всего выпитого и выкуренного Наде стало очень нехорошо, и на весь недолгий период нашего дальнейшего совместного проживания она вернулась к режиму полной абстиненции.

А вот взаимоотношения Кольки со спиртным предметом стали постепенно ухудшаться. Медленно, но верно он превращался в законченного алкоголика. На смену прежней снобистской щепетильности к качеству и вкусу напитка пришла мрачная озабоченность голым градусом, некогда веселые загулы обернулись тяжелыми многодневными запоями, во время которых Колька полностью утрачивал человеческий облик и чувство самосохранения. Несколько раз его избивали, обкрадывали, случалось ему и «ловить белочку». Уже иногда допивался он до того, что печень и сердце отказывали, и врачам с большим трудом удавалось вернуть его к жизни.

Разумеется, все это произошло не за один год и даже не за одно десятилетие. Он еще успел между делом удачно жениться, родить и воспитать двух сыновей. Океанологию, однако, в смутное перестроечное время пришлось похерить, но вместо нее Колька смог организовать относительно процветающий бизнес — какую-то левую астрологическую фирму.

Однако чем дальше, тем больше болезнь подминала его под себя. Он пытался лечиться, лежал в больницах, чудовищным усилием воли не пил по многу месяцев, но рано или поздно все равно срывался. Собственно, вся его жизнь определялась теперь чередованием этих состояний, и, говоря о нем, мы обычно интересовались только одним: в запое он или в завязке. Да и это, в принципе, уже было не так важно: вчера в запое, сегодня в завязке, завтра наоборот — какая разница?

Если кто-то из близких тяжело болен, постоянно живешь в ожидании плохих новостей. Поэтому я не очень удивился, когда однажды Колькина жена Галка позвонила мне в четыре часа утра и сказала, чтобы я немедленно приехал. Я даже не стал ее по телефону расспрашивать о подробностях, а просто вышел из дома, поймал такси и потащился на противоположный конец Москвы — с Дмитровского шоссе в Вирюлево.

То, что я увидел, прибыв на место, забыть трудно. Колька раздетый лежал на кровати, и все его тело представляло собой сплошной кровоподтек. Передние зубы были выбиты, из ушей текла сукровица. При этом он был в сознании и мог более или менее связно изъясняться. Но отчетливо помнил он только то, что вчера вечером вышел из своей конторы, имея при себе крупную сумму наличных, и зашел куда-то выпить пивка. А дальше начинались обрывки — то ли он ввязался в какую-то драку, то ли его сбила машина. Смутно помнился ему и приемный покой больницы, откуда его выкинули без верхней одежды, без денег и без документов. Словом, сплошной туман. Как он в таком состоянии самостоятельно доехал (или дошел?) до дома, остается загадкой. Очевидно, его вел тот же автопилот, что когда-то помог добраться до ресторана «Арагви», где я его ждал.

Прибывшая «скорая», тем не менее, никаких значительных повреждений у Кольки не обнаружила — так, по мелочам: легкое сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины. В общем, ничего серьезного, и это в свете его обрывочных рассказов тоже выглядело отчасти странным.

Врач «скорой» посоветовал Галке вызвать наркологов, чтобы Кольку забрали в наркологическую лечебницу, и Галка скрепя сердце согласилась, хотя и относились к такого рода заведениям с большим недоверием.

Колька пролежал в Московском научно-практическом центре наркологии, что в самом конце Варшавки, около двух месяцев. Пару раз я приходил его навещать. Не знаю уж, что они там с ним делали, но выглядел Колька очень хорошо — бодрым, отдохнувшим, посвежевшим. Бросалось в глаза только отсутствие передних зубов. Окрепшим голосом он говорил мне о том, что теперь — шабаш, больше он не выпьет ни грамма. Он хочет снова начать жить как человек и все такое. Я, пряча глаза, поддакивал и не верил ни одному его слову. Слишком часто я слышал подобные зарочки. Я ни минуты не сомневался, что через месяц-другой весь этот кошмар вернется на круги своя и тут ничего нельзя поделать и ничем помочь.

Выйдя из больницы, Колька не пил почти четыре года. Он действительно сумел вернуться к жизни. Он поднял из руин свою полуразвалившуюся астрологическую лавочку. Он опять стал много путешествовать. Он раздобыл, обзавелся солидным брюшком и солидными манерами. Он не на шутку увлекся фотографией и кулинарией, обнаружив недюжинные дарования как в том, так и в другом. Жизнь начала налаживаться, парадоксальным образом идя при этом к концу. Вот только зубы он так и не вставил — все отговаривался недосугом.

В один унылый декабрьский вечер Колька позвонил мне из Египта, где проводил какую-то астрологическую конференцию. «Привет, старый, — сказал он. — Напомни-ка мне, как по-английски будет “одеяло”. А то мы им, понимаешь, асуанские плотины строим, а они, сукины дети, мне одеяло в номер забыли принести. Сейчас спущусь на ресепшн и покажу им кузькину маму». Я напомнил ему, как будет «одеяло», и посоветовал особо не выступать. Не поймут — азиаты. На том и попрощались.

Наутро мне позвонил его заместитель и сказал, что Колька погиб. После разговора со мной он вышел из своего номера, подошел к лифту и вызвал его. А в этой, прости господи, египетской гостинице двери лифта открывались не наружу, а внутрь, и Кольке почему-то показалось, что лифт уже подъехал. Он толкнул дверь и шагнул в шахту.

Он был совершенно трезв.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Поздней осенью 1974 года, наслушавшись рассказов Ольги Седаковой о том, что в Питере неофициальная литературная жизнь буквально бьет ключом, я решил лично в этом убедиться. В те годы у меня еще не выработалось счастливой привычки откладывать задуманное в долгий ящик, и в промозглый октябрьский денек я добрался автобусом до Химок и вышел на Ленинградское шоссе ловить попутку.

Одет я был не по погоде — в солдатскую гимнастерку, галифе и сапоги одного моего приятеля и в морской офицерский китель, позаимствованный у отца другого моего приятеля. Позаботиться о таких низменных предметах, как смена белья и носков, мне и в голову не приходило. В дорогу я взял только паспорт, обгрызенный собакой моей сестры и выглядевший чрезвычайно подозрительно, тетрадку со стихами, шариковую ручку (на случай если по пути в голову придет что-нибудь гениальное) и блок сигарет «Шипка». Денег у меня с собой было рублей пять. Располагал я также взятым у Ольги телефоном уже тогда очень известного питерского поэта Виктора Кривулина и ее устными рекомендациями.

С самого начала мне повезло. Не успел я поднять руку, как возле меня тормознул грузовик с открытым кузовом, и мужик, сидевший рядом с водителем, сказал, что они могут подбросить меня до Калинина (так при советской власти называлась Тверь). Я честно предупредил, что платить за проезд не собираюсь. Мужик выплюнул окурочку и равнодушно ответил: «Хрен с тобой. Но учти: мы везем стекловату».

Ведя исключительно духовный образ жизни, я очень смутно представлял себе, каково воздействие стекловаты на человеческий организм, и этим добросовестным уведомлением легкомысленно пренебрег. Равно как и тем, что по октябрьскому морозцу и под морозящим снежком мне придется прокатиться в кузове. Помимо высокой толерантности к спиртному я в молодости обладал также повышенной морозоустойчивостью. Мой отец в этой связи любил говорить: «Собаку (именно так, в мужском роде) холодно не бывает». Словом, забрался я в кузов, поудобней устроился на большом рулоне пресловутой стекловаты и предался размышлениям о высококом.

От холода я действительно не слишком страдал, хотя, как выяснилось впоследствии, прохватило меня свежим встречным ветерком вполне прилично. Но зато примерно через полчаса я уже ощутил невыносимый зуд по всему телу. Вдобавок лицо и руки горели, как будто по ним прошлись наждаком, глаза слезились, из носа потекло. Плохо понимая причины этого явления, я, сжав зубы, мужественно дотерпел до самого Калинина и, когда мужик, высаживая меня за

городом, спросил: «Ну как поездочка?», ответил: «Нормально». «Ну ты даешь, интеллигенция», — сказал он, и грузовик укатил.

Следующую попутку мне пришлось ждать довольно долго, так что у меня было время проанализировать неожиданное ухудшение своего самочувствия. И пока я стоял, облепленный мокрым октябрьским снежком и расчесывая всего себя чуть не до крови, мне припомнилось, что когда-то я краем уха слышал что-то нехорошее про стекловату — мол, мелкие частицы стекла проникают под одежду, впиваются в кожу и т.д. Но, несмотря на все усиливающиеся зуд и жжение, всерьез такую опасность не воспринял. У меня тогда, безусловно, имели место несколько завышенные представления о своей резистентности к любого рода физическим испытаниям, что в этой поездке сослужило мне плохую службу.

Наконец на обочину съехала большая фура. Место рядом с водителем было свободно, и сидевший за рулем немолодой татарин, гостеприимно распахнув дверь, сказал: «Садыс, солдат!». Я с наслаждением влез в теплую кабину.

«Давно голосуешь?» — явно радуясь возможности поговорить, спросил водитель и сам себе ответил: «На этот *ный Ленинградский шоссе скорей мандавошка поймаешь, чем попутный машина». Он вообще оказался очень разговорчивым и с места в карьер рассказал мне про всю свою жизнь: где живет, кем работает, сколько получает, про двоих сыновей — Рината и Рифата («совсем как ты, один из армия пришел, другой в армия пошел — водка в рот не берут»), про старую жену («некрасивый стал, худой, никакой жопа больше нет»). В процессе разговора также выяснилось, что едет он из Казани до самого Питера, везет какие-то химикаты для производства удобрений («такой вонючий — в фура дышать нельзя») и что сегодня под Москвой «гаишник взятка брал — за что не сказал».

Я старался по возможности поддерживать разговор, хотя особой нужды в этом не было — собеседник прекрасно справлялся и без моего участия, — а сам продолжал остервенело скрестись и чесаться. В какой-то момент он, покосившись на меня, сочувственно заметил: «Я, когда в армия служил, тоже весь вшивый ходил — баня редко был». Смущаясь, я поведал ему о поездке в кузове со стекловатой. «А ты кутак в пчелиный дупло совать не пробовал? — засмеялся он. — Также хорошо пробирает. Тебе теперь надо холодный душ принимай и весь одежда стирай. Терпи мало-мало. У меня в Вышний Волочек знакомый плечевой проститутка живет, у него заночуем и все сделаем».

Ближе к вечеру на окраине Вышнего Волочка мы остановились в очень опрятном домике у крупнотелой русоголовой женщины лет сорока, совершенно, надо сказать, не похожей на проститутку. Она нас, как говорится, накормила, напоила и спать уложила (моего татарина — с собой, а меня — на раскладушку в жарко натопленном закутке за печкой). Кроме того, она перед сном хорошенько выстирала всю мою одежду. Душа у нее, правда, не оказалось — пришлось ограничиться несколькими ведрами холодной воды.

Ранним утром мы, не позавтракав, тронулись в путь. Мой водитель с недосыпа был хмур и на удивление необщителен, меня чувствительно познабливало в не успевшей высохнуть одежде, поэтому дорога до Питера прошла преимущественно в молчании. Тем не менее расстались мы друзьями. На прощание он сказал: «Возьми мой деньги немного — без деньги куда пойдешь?». Но я усилием воли заставил себя отказаться.

Из ближайшего телефона-автомата я позвонил Виктору Кривулину, представился, передал привет от Ольги Седаковой и сказал, что хотел бы встретиться. «Отлично, — сказал Витя, — приезжайте в “Сайгон”. Я как раз туда собираюсь».

Я знал, что «Сайгон», непритязательный кафетерий на углу Невского и Литейного, был культовым местом всей питерской богемы. Витя уже ждал меня там, и хотя мы видели друг друга первый раз в жизни, сразу начал рассказывать о сво-

их впечатлениях от стихов Эзры Паунда, которые он читал всю ночь. По странному совпадению я тоже совсем недавно открыл для себя этого поэта и даже попробовал его переводить. Увлеченные беседой о творчестве гениального американца, мы выпили по чашке кофе, вышли из «Сайгона», сели в трамвай и очень долго ехали, причем я не удосужился даже поинтересоваться, куда именно.

Минут через сорок мы вышли из трамвая и оказались в районе блочных пятиэтажек и девятиэтажек, очень напоминавшем московское Бескудниково. Немного поплутав среди них, мы наконец не без труда отыскали нужный дом и методом проб и ошибок попали в нужную квартиру.

Сколько в ней было комнат, сказать не могу, потому что мы сразу прошли на маленькую кухню, где вокруг стола, уставленного бутылками сухого вина, теснились пять или шесть молодых женщин. Лицом к нам и спиной к окну сидела хрупкая темноволосая девушка с удивительно яркими глазами и угловатыми нервными движениями. А рядом с ней — полная ее противоположность: девушка, выглядывшая чуть постарше, широколицая, ширококостная, со спокойным и ироничным взглядом. Остальных обитательниц кухни я не запомнил.

Витя отрекомендовал меня как друга Ольги Седаковой и предложил присутствующим послушать мои стихи, подчеркнув, что он и сам их еще не слышал. Но вторая девушка попросила меня сначала рассказать о моих поэтических предпочтениях — кого я читал из нынешних питерских поэтов, кто мне нравится, а кто нет.

Тут я замялся. Дело в том, что, зная от Ольги довольно много имен этих поэтов, непосредственно их творчество я представлял себе весьма поверхностно и стихов как таковых практически не читал. Ольга показывала мне какие-то разрозненные машинописные копии и куцые подборки, но все это было несколько сумбурно и второпях, так что у меня совершенно не сложилось о них цельного впечатления. Помнил я только, что мне тогда не понравились стихи Елены Шварц и понравились стихи Елены Игнатовой.

Так я по простоте душевной и ляпнул, но произнести успел лишь первую половину фразы, потому что, услышав ее, темноволосая девушка сверкнула прекрасными глазами и довольно метко швырнула в меня свой стакан с вином. Я, однако, сумел увернуться, и он угодил в стекло кухонной двери, разбив его вдребезги.

Словом, читатель, наверно, уже догадался, что первой девушкой была, натурально, Елена Шварц, а второй — Елена Игнатова. Вдобавок, как я узнал позже, Елена Шварц находилась тогда в процессе работы над своей знаменитой, но так и незаконченной книгой «Теория и практика скандала». Каковой скандал сейчас же не замедлил начаться. Причем мнения присутствующих разделились: одни возмущались безобразным поступком Лены Шварц, другие обвиняли меня в наглости и бестактности, а третьи нападали на Витю, упрекая его в том, что он без предупреждения привел сюда этого проходимца. Характерно, что, ведя разговор на весьма повышенных тонах и используя крайне резкие выражения, действующие лица по-петербургски обращались друг к другу исключительно на «вы».

Я стоял как дурак посреди этого гама и не понимал, что мне теперь делать — то ли обидеться, то ли начать извиняться. Кроме всего прочего, я уже начал ощущать последствия поездки в открытом кузове, холодной ванны и долгого пребывания в мокрой одежде: в горле першило, нос заложило, в голове стоял какой-то туман — в том числе и от голода, потому что в последний раз я ел только вчера вечером в Вышнем Волочке.

В конце концов Вите удалось в той или иной степени овладеть ситуацией, и он заявил, что после всего происшедшего Лене Игнатовой ничего не остается, как забрать меня к себе ночевать. Она сразу согласилась, и мы с ней довольно быстро ушли, предоставив компании допивать и доругиваться без нас.

Лена, которая работала в то время экскурсоводом в Петропавловской крепости, оказалась замечательным и очень остроумным собеседником. По дороге она провела мне краткую обзорную экскурсию по питерскому андерграунду, блистательно и язвительно описав его чрезвычайно насыщенную жизнь — с невероятным обилием течений, направлений, объединений и группировок, с беспощадной борьбой самолюбий и массой всевозможных интриг. Честно говоря, я был слегка ошеломлен таким накалом околотературных страстей. Я, конечно, понимал, что пишущие люди склонны относиться к творчеству своих коллег (и особенно современников) пристрастно и зачастую несправедливо, но по недомыслию и ввиду слабого знания истории литературы мне казалось, что между собратями по цеху и, так сказать, соратниками по идеологической борьбе с режимом можно все-таки обойтись без переходов на личности и злонамеренных инсинуаций.

Дома Лена познакомила меня со своим добродушным лысоватым мужем, и мы провели славный вечер, украшением которого были ее безумно смешные истории о том, как питерскому партийному руководству зачем-то понадобилось кровь из носа разыскать могилу легендарной княжны Таракановой и оно регулярно присылало в Петропавловскую крепость комиссии, наделенные самими разнообразными полномочиями, вплоть до выявления потомков княжны среди сотрудников музея.

Несколько часов в тепле, сопровождаемые обильным чаепитием и легкой закуской, благотворно сказались на моем самочувствии, и я уже было решил, что мой могучий организм в очередной раз успешно справился с подступающим недугом. Но, как вскоре стало ясно, это оказалось совсем не так.

С утра, ограничившись на завтрак чашкой кофе, мы отправились погулять по городу, хотя вконец испортившаяся погода к прогулкам отнюдь не располагала. Ледяной ветер буквально сбивал с ног, и едва мы вышли из дома, как ко мне с удвоенной силой вернулась вся простудная симптоматика. Впрочем, собственно на улице мы находились не так уж долго, потому что все время куда-то заходили — в квартиры к поэтам, в мастерские к художникам, в тот же «Сайгон».

Лена, не зная ни строчки моих стихов, везде представляла меня как талантливого московского поэта, и в каждом месте мы что-то пили: чай, кофе, немного вина — но нигде ничего не ели. Я уже начал думать, что питерцы вообще изжили в себе эту потребность, и в очередной раз оценил справедливость замечания Хемингуэя о том, насколько трудно обходиться без пищи, когда ты молод и сложен, как тяжеловес.

Дольше всего мы задержались в гостях у поэтессы Елены (еще одна Елена!) Пудовкиной. Там мне даже удалось единственный раз за всю поездку прочитать несколько своих стихотворений, после чего хозяйка сказала, что я непременно должен сегодня вечером выступить на поэтических чтениях у некой Аллы Минченко. Я в принципе не возражал, хотя чувствовал себя все хуже и хуже и держался только на морально-волевых.

Судя по всему, у меня к тому времени сильно поднялась температура, потому что я абсолютно не помню, как и с кем добирался на эти чтения. В памяти остались лишь какие-то темные улицы, пронизывающий ветер и то, что Лены Игнатовой со мной уже не было.

Чтения проходили в большой комнате коммунальной квартиры, куда набилось человек сорок. Курили все, и даже мне, злостному курильщику, дышать оказалось нелегко. Я сидел у стены за чьими-то спинами и непрерывным чиханьем, сморканьем и кашлем мешал окружающим наслаждаться высокой поэзией. Об что-нибудь прочесть самому не могло идти и речи — до меня и чужое-то чтение доносилось словно сквозь какую-то пелену.

Читали, надо сказать, в основном женщины. Мужской голос я услышал всего один раз, и, наверно, поэтому мне навсегда запомнились отточенные чеканные строки:

Мой отец — еврей из Минска,
Мать пошла в свою родню.
Право, было б больше смысла
Вылить семя в простыню.

После этого я снова погрузился в монотонный зарифмованный полубред. А когда мне усилием воли удалось оттуда вынырнуть, в центре комнаты стояла коренастая женщина в толстом розовом свитере и, раскачиваясь, читала какую-то бездарную лесбийскую ахинею.

На словах:

Целую твои губы половые
И сморщенный коричневый сосок —

мне стало совсем нехорошо, и я на ватных ногах вывалился в коммунальный коридор, откуда веяло свежим воздухом и прохладой.

В дальнем конце коридора угадывалась общая кухня, где, по всей видимости, была открыта форточка. Туда я, мало чего соображая, и направился. На кухне стояли две газовые плиты и несколько столов, покрытых разноцветными клеенками. На одном из них я увидел пару небольших вареных картофелин и без зазрения совести немедленно их сожрал. Затем я опустился на табуретку и, уткнувшись мордой в прохладную клеенку, глубоко ушел в себя.

В таком полубессознательном состоянии я просидел довольно долго и даже не сразу почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо. С трудом подняв тяжелую, как булыжник, голову, я увидел над собой широкоплечего длинноволосого красавца, который звучным, профессионально поставленным баритоном произнес: «Меня зовут Олег Охупкин. А вас?».

Это имя мне было знакомо по Ольгиным подборкам и фигурировало в рассказах Лены Игнатовой — впрочем, ни с какими конкретными стихами оно у меня не ассоциировалось. Зато свое имя мне удалось припомнить не сразу, а после того как я, запинаясь, его пробормотал, красавец, глядя куда-то в сторону, провозгласил: «Я сегодня писал целый день. Надо на ком-то проверить, как звучат эти стихи», — и без паузы начал громко читать что-то одическое и очень торжественное. Но что это было за произведение, я, к сожалению, сказать не могу, поскольку с первых же строк вырубился, и на сей раз весьма капитально.

Очнулся я примерно через сутки на диване в совершенно незнакомой комнате, когда какая-то милостивая, но тоже незнакомая женщина вынимала у меня из-под мышки термометр. Ею оказалась питерская поэтесса, а впоследствии известная диссидентка и стойкая политзаключенная Юлия Вознесенская. Как я попал к ней в дом, для меня осталось неизвестным. Юля категорически отказалась мне об этом рассказывать, утверждая, что в отношениях между поэтами должна быть тайна. Хотя никаких особенных отношений между нами не наблюдалось — она просто приютила меня в своей большой комнате в коммуналке, где жила с двумя сыновьями и женщиной, который, кажется, не был их отцом.

Я провалялся у Юли почти неделю. Первые дни температура никак не хотела опускаться ниже тридцати девяти, и слабость во всех членах я испытывал такую, что до сортира добирался, держась за стеночку. С высоты моих нынешних

медицинских познаний можно с большой долей уверенности утверждать, что это было воспаление легких.

Юля трогательно меня выхаживала, поила чаем и бульоном, кормила аспирином и омлетом с сыром. При этом бурная общественная жизнь в ее комнате не прекращалась ни днем, ни ночью. Постоянно приходили какие-то люди, приносили свежие сводки с литературных и политических фронтов, шли горячие дискуссии об искусстве, религии и гражданской этике, в деталях обсуждались последние передачи «вражеских голосов». Полагаю, не ошибусь, если скажу, что за подотчетный период у Юли перебивало как минимум человек сто.

Ну и конечно, без конца и края читались стихи. Такого количества рифмованной и нерифмованной продукции я, наверно, не слышал за всю свою предыдущую и последующую жизнь. Правда, пребывая преимущественно в беспамятстве, я большую часть прочитанного пропустил мимо ушей. Подозреваю, впрочем, что основной его массив иного и не заслуживал. Но кое-что запомнилось. В частности, очень сильные стихи Вити Кривулина, который, забежав к Юле, приветствовал меня как старого приятеля, неожиданно встреченного после продолжительной разлуки. Долго не мог изгладиться из памяти и угрюмый, крепко выпивший человек, пронзительным тенором читавший довольно длинное экспрессионистское произведение под названием «Монолог прозектора». Удивил Михаил Генделев. Но не стихами, которых он, кажется, и не читал, а тем, что в отличие от большинства Юлиных гостей, одетых подчеркнуто скромно и неброско, весь был в ярких заграничных шмотках и выглядел не как подпольный поэт, а как участник вокально-инструментального ансамбля.

Однако апофеозом всего стали не стихи, а общественное разбирательство по факту стукачества, в котором подозревался кто-то из своих (фамилии не помню). К этому мероприятию основательно готовились и обставили его со всем подобающим антуражем: были назначены общественный обвинитель и защитник, вызваны свидетели. Сам обвиняемый, правда, не явился, но прислал двух своих представителей. Все происходящее (во всяком случае, его первая половина — до того как тяжущиеся стороны изрядно набрались) тщательно протоколировалось, и в роли секретаря, если память мне не изменяет, выступала сама Юля. Ну и, разумеется, в немалом количестве присутствовала публика, которая тоже принимала активное участие в прениях. Не хватало только судьи, и оставалось непонятным, кто же будет выносить окончательный вердикт.

Заседание затянулось далеко за полночь, но народ и не думал расходиться. За водкой бегали уже несколько раз (причем в складчине участвовали как представители обвинения, так и представители защиты), и градус дискуссии неуклонно повышался. До мордобоя, тем не менее, дело не дошло, хотя его вероятность, переходящая в неизбежность, постоянно витала в насквозь прокуренном воздухе. Уже под утро обстановку разрядил долговязый юноша, почти мальчик, который робко попросил слова и начал свое выступление так: «От лица анархистского крыла православных гомосексуалистов Выборгской стороны я считаю своим долгом заявить...». Раздался всеобщий несколько истерический хохот, народ расслабился и начал расползаться по домам.

Между тем мое здоровье стало понемногу восстанавливаться, и я засобирался в Москву. Естественно, я и возвращаться предполагал на попутках, но Юля сказала, что у нее сейчас есть свободные деньги и она не может этого допустить. Она сбегала на Московский вокзал — от ее улицы Жуковского он был совсем недалеко — и купила мне плацкартный билет, так что домой я добрался без особых приключений.

С тех пор прошло около сорока лет. Ни с Юлей Вознесенской, ни с Леной Игнатовой, которые, насколько мне известно, еще живы, мы больше никогда не

встречались и теперь уже едва ли встретимся. А с покойными Витей Кривулиным и Леной Шварц я потом еще пару раз пересекался в Москве, и возможно, когда-нибудь об этом расскажу.

СНЫ

Теперь я почти каждую ночь стал видеть сны. Многие из них были вполне бессодержательными и оставляли после себя только смутные воспоминания о разнообразных дурацких ситуациях, неловких положениях, несбывшихся ожиданиях: элементарные, казалось бы, головоломки, которые никак не удается разгадать, мелодии, к которым не получается подобрать гармонию, бредовые идеи, которые я всю ночь мучительно и безуспешно пытаюсь сформулировать, гениальные стихи, которые при пробуждении оказываются бессмысленным набором слов, несходящиеся карточечные пасьянсы или просто какая-то невнятная чушь, после которой наутро чувствуешь себя законченным неудачником и недоумком.

Но чем дальше, тем больше из этих сновидений начинали складываться отчетливые сюжетные картинки — иногда обрывочные и лаконичные, а иногда и развернутые в довольно замысловатые новеллы. Вот, к примеру, я прихожу в магазин, набираю в тележку кучу продуктов (в основном всяких красивых фруктов), а в качестве оплаты пытаюсь всучить кассирше несколько своих дисков и еще удивляюсь, почему она не дает мне сдачи... Или я сижу на заднем сиденье междугородного автобуса и на глазах у весьма уважаемых, преимущественно иностранных пассажиров неопытно ем (вернее, даже жру) огромный нескончаемый кусок жареной рыбы. Я знаю, что мне вот-вот выходить и надо успеть все доесть, но чем больше я пихаю в себя эту жирную безвкусную массу, тем больше ее остается... Или на каком-то многолюдном сборище я мучительно и безуспешно ищу человека, с которым мне до зарезу требуется поговорить, перехожу от одной компании к другой, но его нигде нет, хотя я уверен, что он должен быть где-то здесь. И вот наконец я вижу его в противоположном конце зала, со всех ног бегу к нему, но это оказывается не он, а совершенно неизвестный мужчина, который вдруг с размаху бьет меня ногой в живот... Или мы с Лешей на нашей старенькой «Гавриии» — нашей «синей птице» — рыщем вокруг родного Савеловского вокзала и никак не можем к нему подъехать, потому что везде висят запрещающие знаки. Устав от этих бесконечных блужданий, Леша останавливает машину, выходит из нее и направляется к какому-то молодому человеку, который катает по тротуару коляску с ребенком. Недолго поговорив с ним, Леша снова садится за руль. Я спрашиваю: «Кто это?». «Это смотрящий за вокзалом, — отвечает Леша. — Я дал ему денег. Сейчас он позвонит, и знаки перевесят». Молодой человек действительно с кем-то говорит по мобильнику, и сейчас же вокзал, едва видимый вдалеке, начинает стремительно приближаться к нам. «Ну вот и приехали», — говорит Леша... Или я отбываю срок принудительного лечения в какой-то психушке не то в Александрове, не то в Коломне. Завтра он истекает, и утром за мной должна приехать Мариша. А вечером надзирательница мне говорит: «Знаешь, твой срок кончается завтра, а мы по ошибке сняли тебя с довольствия уже сегодня. Ты уж перекантуйся как-нибудь до утра». Я иду в свою палату, но моя койка занята — на ней сидит маленький крикливый старикашка в линиялом нижнем белье, и мне неохота с ним связываться. Я иду в столовую, но баба с раздачи говорит, что уже выдала мою порцию. Я отправляюсь в сортир, но уборщица замахивается на меня шваброй и гонит прочь. А между тем желание справить нужду становится все нестерпимей. Я несколько театрално восклицаю: «А куда же мне теперь податься?». Кто-то отвечает: «А ты спустись в подсобку к тетке Степаниде, она тебя пристроит к своему кабанчику». Я выхожу на темную лестницу, но тут терпеть уже больше не остает-

ся сил. Я спускаю штаны, присаживаюсь прямо на лестничной площадке у зарешеченного окна и, держась руками за холодные прутья, делаю свое дело... Или я спешу к возлюбленной и неожиданно обнаруживаю на месте станции метро глубокий котлован, наполненный грязной водой. Я вскакиваю в маршрутку, но она привозит меня на какой-то незнакомый пустырь или, скорей, свалку. Спотыкаясь о куски арматуры и обломки кирпичей, я долго бреду по колдобинам и рытвинам и в конце концов выхожу к жилому массиву. Я пытаюсь поймать машину, но никто, понятное дело, не останавливается. И тут я вижу — вот же на другой стороне улицы ее дом. Я взбегаю по ступенькам, звоню в дверь. Мне открывает ребенок и говорит: «А мама здесь больше не живет»... Или совсем уж странное: я торгую фруктами (опять фрукты!) в ларьке возле нашего дома, и для этого ларька мне зачем-то понадобился платяной шкаф, стоящий у меня в квартире. И вот я с какими-то немолодыми небритыми кавказцами тащу шкаф по улице, а его дверцы все время раскрываются, и прямо на асфальт вываливается моя старая одежда — синий свитер, рыжий пиджак, салатная куртка. Я смотрю на эти тряпки и чуть не плачу. «Господи, — думаю я, — ведь это же моя жизнь!» Вдруг вместо лета начинается зима, и я словно со стороны вижу себя среди сугробов — трясущегося от холода, в одной футболке и почему-то без брюк. А кавказцы стоят вокруг, смеются и показывают на меня пальцами... Или мы с сестрой живем с мамой и папой в нашей старой квартире на улице Зои и Александра Космодемьянских. Вечером я собираюсь уходить на какую-то вечеринку, а сестра уводит меня на кухню и говорит: «Ты бы лучше сегодня не ходил никуда, ведь наши мама с папой умерли». «Не говори глупостей, — отвечаю я, — они же сидят в комнате и смотрят телевизор». «Ты ничего не понимаешь», — говорит сестра и начинает плакать. «Что за чушь!» — отвечаю я и с легким сердцем выхожу из дома. Внизу я отпираю почтовый ящик и вижу, что мне пришло письмо. Я разрываю конверт, но так неловко, что письмо вываливается из него и падает на пол. Подняв листок, вырванный из школьной тетради, я читаю: «Обвиняемый Швейк утверждает, что за ночь разучился писать»... Или еще такое: место действия очень напоминает пионерские лагеря, куда я в детстве неукоснительно ездил каждое лето. Между нарядных домиков в лесу прогуливается много народу. Преимущественно это мои друзья, но попадаются и посторонние лица. В водовороте этого массового променада, буквально «среди шумного бала, случайно», я встречаю прелестную юную незнакомку — эдакое шаловливое грациозное создание, — и мы с ней внезапно ощущаем такое взаимное влечение, что у нас возникает настоятельная потребность немедленно уединиться. Возбуждая друг друга нежностями и недвусмысленными прикосновениями, мы слоняемся по коридорам и комнаткам, но везде натываемся на моих друзей и подруг, которые вроде бы всячески поощряют меня в моем вождении, но при этом им и в голову не приходит оставить нас одних. И вот, наконец, мы находим какой-то полутемный чуланчик с продавленной пыльной кушеткой, и на ней все, о чем мы мечтали, начинает восхитительно совершаться. Но тут я внезапно слышу звуки музыкальных инструментов, оборачиваюсь и вижу, как в дальнем углу чуланчика, который уже превратился в небольшой зал с низким потолком, репетируют мои музыканты. И тогда я без всякого сожаления встаю с кушетки и присоединяюсь к ним... Или я еду на такси по Москве времен моей молодости. Пыльное московское лето, за опущенным окошком мелькает то, чего сейчас уже не увидишь, — деревянные журнальные киоски, автоматы с газированной водой, дети в пионерских галстуках. Я тороплюсь на поезд — еду в Крым. Здесь тоже как-то неявно замешана женщина — вроде бы мы с ней должны там встретиться, но это где-то на заднем плане. Такси подвозит меня почему-то к Казанскому вокзалу, я достаю бумажник и, порывшись среди нынешних пятисоток и тысячных, нахожу старую советскую зеленую трешку и вручаю ее таксисту. Со

всех ног бегу на перрон, запрыгиваю в вагон, и тут выясняется, что это вовсе не вагон, а теплушка, в каких в фильмах про войну солдаты ехали на фронт. Дверь за мной захлопывается, поезд трогается и быстро набирает ход. Я в этой теплушке совершенно один, в ней очень жарко и душно. С каждой минутой мне все больше хочется пить, но воды нет, а поезд и не думает останавливаться. Я лежу на какой-то грязной соломе и чувствую, что начинаю умирать от жажды. Непонятно откуда рядом со мной оказывается отец. Он говорит: «Посмотри, в какое ничтожество ты превратился, а ведь я так любил тебя. Постарайся хотя бы умереть как мужчиной!»... Или около станции метро «Войковская» я с компанией моих американских друзей сажусь на троллейбус в сторону «Водного стадиона». Мы вроде бы едем на пляж, но вместо этого оказываемся в сыром подвале, где расставлены бильярдные столы, а на них — много бутылок водки, которую мы все пьем из горлышка и без закуски. Мне все это очень не нравится, и вдобавок меня преследует гниловатый запах не то соленых огурцов, не то квашеной капусты. Между тем ко мне подходит Катька и говорит: «Пошли на хер отсюда. Я тебе покажу настоящее море. Нужно только купить сигарет». Мы с ней выходим наружу и долго бродим по совершенно пустынным улицам, но все табачные киоски почему-то закрыты. А Катька непрерывно повторяет: «Надо только купить сигарет, и тогда начнется настоящее море»... Или там же на «Войковской» я мотаюсь по мокрому хлюпающему снегу, увешанный огромным количеством сумок. В них чего только нет — книги, кассеты с моими песнями, белье из прачечной, какие-то харчи, бутылки с пивом. Но мне зачем-то непременно надо еще купить горячие бублики. Я останавливаюсь около лотка с выпечкой и прошу пять штук, а продавщица мне говорит: «Не жмись, мужик! Бери уж всю связку — ребятишкам раздашь». Я оборачиваюсь и вижу, что вокруг меня сгрудилось с десятков гадящих черноголовых огольцов — по виду явно беспризорных. Я ставлю свои бесчисленные сумки прямо в грязную серую жижу под ногами и лезу в карман за бумажником. И тут эти малолетние сукины дети, как саранча, набрасываются на мои сумки, моментально расхватывают их и разбегаются кто куда. Я успеваю схватить за шиворот только одного гаденьша, но у него в руках ничего нет. Я беспомощно оглядываюсь по сторонам, а в этот момент раздаются звуки труб и из-за поворота к кинотеатру «Варшава» строем выходит военный духовой оркестр. Я забываю обо всем на свете и испытываю буквально физическое наслаждение оттого, как чисто, слаженно и мелодично ведут свои партии туба и баритон. А потом поверх оркестра взвываются два ломких прокуренных тенорка:

Отправляясь в большую дорогу
Голубым и улыбчивым днем,
Беспокойство свое и тревогу
Мы в багаж на вокзале сдаем...

Но чаще всего мне снится один и тот же повторяющийся со всевозможными вариациями сюжет о том, как мы с ребятами — с покойным Костей, с Шурой, с Андрюхой, с Мишкой (иногда все вместе, иногда в разных сочетаниях) — должны где-нибудь концерттировать, но в последний момент начинает происходить какая-то лажа. То перед самым концертом выясняется, что я куда-то подевал программу и текст конференса. Я в панике роюсь по карманам и сумкам, но никак не могу найти эти проклятые листочки и, пристроившись за столиком, уставленным пепельницами и бутербродами, лихорадочно начинаю на салфетках набрасывать какие-то бездарные репризы... То мы вдвоем с Костей лабаем квартирник где-то в Штатах. Я пою свои песенки, которые приставляются одна к одной в виде костяшек домино, и их цепочка неумолимо ползет к краю стола. Все вокруг понимают,

что стол сейчас закончится, и это будет катастрофа. Костя делает мне страшные глаза и шепчет: «Дуплись!» Я в ужасе заглядываю за край стола, а там открывается вид на Париж с Монмартрского холма... То мы всем бэндом едем в машине по московским пробкам и страшно опаздываем. Ребята взвинчены, переругиваются друг с другом, а Костя вдобавок пьян, что особенно бесит сидящего за рулем Шуру. И как-то так получается, что Костя на ходу вываливается из машины, а мы это замечаем, только уже приехав на место, и в спешке пытаемся перекроить программу, чтобы обойтись без него. Этот процесс почему-то сводится к надуванию разноцветных воздушных шариков, которые поднимаются к потолку и лопаются один за другим, а мы, с ног до головы обсыпанные конфетти, торопливо надуваем все новые и новые... То во время саундчека микрофоны вдруг начинают пронзительно свистеть и хрипеть, Костя свирепо материт местного звукача, Шура и Андрюха с перекошенными и сосредоточенными лицами суетятся вокруг аппаратуры, я, как ненормальный, бегаю со сцены в зал и обратно, и только Мишка сидит в обнимку со своей мандолиной и блаженно подремывает, а над его головой в розовом луче порхают покерные комбинации... То мы выступаем в Крыму в каком-то роскошном дворце с балюстрадой, спускающейся прямо к морю. На этот раз все складывается удачно — программа отрепетирована, мы трезвые, аппаратура в порядке. Я стою с сигареткой на балюстраде и знаю, что сегодня будет успех и аншлаг — сейчас должен приплыть белый пароход с самой лучшей, понимающей публикой. Но время идет, парохода все нет, и понемногу становится ясно, что он вообще не придет. Темнеет, я начинаю замерзать — меня буквально трясет от холода. Ко мне подходит Костя и говорит: «Хули здесь стоять! Пошли погреемся — Любаша чайку вскипятила»... То я уже на сцене, с большим чувством излагаю про преждевременное семяизвержение и слышу, что или я не попадаю в музыку, или ребята играют что-то левое. Я оборачиваюсь на них, а они знай себе наяривают, совершенно не обращая на меня внимания, — Андрюха зубы скалит и чубом трясет, Мишка, как всегда, из стороны в сторону раскачивается, Шура ногой притопывает. А я чувствую, что плыву, — меня мутит, язык заплетается, голова кружится. И тут из-за кулис на сцену выбегает Мариша и шепчет мне на ухо: «Ты же забыл дома свою вставную челюсть!».

Но что хотелось бы отметить. Вопреки своему в целом довольно мрачному колориту и неприкрытой фрустрационной составляющей эти сны никоим образом меня не удручают. Ну разве что самую малость. Ведь несмотря на все неудачи, неприятности и обманутые надежды, я живу там вполне полноценной жизнью — без усталости хожу, бегаю, поднимаюсь по лестнице, таскаю тяжести, вступаю в отношения с женщинами, без ограничений выпиваю и закусываю. Удручает, как это ни прискорбно, явь: жидкие седые космы в зеркале, немощь, непослушные ноги, отвратительный вкус во рту и неотступная болезнь.

ДЕЛО О ТРИДЦАТИ РУБЛЯХ

В начале осени 1975 года мы с Костей проснулись в квартире, которую я снимал в незаселенном доме на улице Коненкова — в самом сердце тогда еще только строившегося микрорайона Бибирево. Квартира, по меткому выражению Осипа Эмильевича, была тиха, как бумага, и ее меблировка отличалась образцовым аскетизмом. В углах лежали два поролоновых матраса, на полу посреди комнаты валялась пыльная скатерть, заваленная моими рукописями и черновиками, на двери висели плечики с кое-какой одежкой. Больше в комнате не было ничего.

Значительно богаче была обставлена кухня. Там стояли прислоненный к стене трехногий стол, два стула и маленький холодильник «Морозко» — все, принесенное с ближайшей свалки. Холодильник, впрочем, не работал и использовался просто как тумбочка или при необходимости как табуретка. А на подоконнике отсвечивал красным кожзаменителем несомненный атрибут роскоши и красивой жизни — проигрыватель «Концертный». О нем-то у нас и пойдет речь.

Ополоснув морды и справив нужды, мы с Костей вылезли на кухню. Я поставил чайник, а Костя включил упомянутый проигрыватель. Раздались переборы двенадцатиструнной гитарки, и слегка гнусавый голос Пола Саймона запел: «I am just a poor boy. Though my story's seldom told, I have squandered my resistance for a pocketful of mumbles...»

— *дь! — сказал я. — Мне ж его сегодня надо в прокат вернуть. Срок кончается. Сейчас чайку попьем и сходим — тут недалеко.

— Да ну его в жопу! — сказал Костя. — Нас Фрося на обед звала, а тут переться куда-то с самого ранья.

Времени между тем было часов двенадцать. А Фросей мы звали нашу французскую подружку Франсуазу — собирательницу и неподражаемую исполнительницу матерных частушек. Когда эта длинноволосая красотка, закатив огромные мечтательные глаза, начинала тоненьким голосом и с мягким акцентом выводить:

На больоте за рьёкой
Слышно утки крякают.
Парень дьевушку *бьет —
Только сьерьги брякают —

слушатели начинали буквально кататься по полу.

— Ты, Костя, натурально, не понимаешь, — сказал я, — мне ж за него должны трешку залога отдать. Как раз на пару сухого, чтоб не пустыми к Фросе идти. А не сдам вовремя, пени начислят, замучаешься потом платить.

В общем, попили мы чайку без сахара, захватили нашего «Концертного» и почапали.

А выглядели мы, надо сказать, довольно экстравагантно. На мне были тренировочные штаны, тельняшка с разорванным воротом, который маскировала густая нечесаная борода, и домотканая коричневая курточка из коровьей шкуры. Ее мне когда-то подарил в Северной Осетии один местный житель. Сначала он хотел меня зарезать, за то что я помешал ему вступить в интимную связь с какой-то приезжей гражданкой, но потом передумал и в знак расположения подарил эту курточку.

Костя смотрелся не так экзотично, но тоже достаточно стильно. Он был в узеньких джинсах отечественного производства, в полукедах на босу ногу и в линялой майке неопределенного цвета, собственноручно разрисованной всякой битловской символикой.

Пришли мы к пункту проката часа в два — как раз к началу обеденного перерыва. Идти туда было действительно недалеко, но на этом недолгом пути встречался стоячий пивняк, что, естественно, нас немного задержало.

Когда до Кости, юноши невероятно импульсивного и нетерпеливого, дошло, что нам тут куковать целый час, он сперва грубо выругался, а потом предложил пойти на обед к Франсуазе вместе с проигрывателем. Но я, зная по опыту, на сколько дней может затянуться этот обед и чем он может окончиться, такое предложение отверг. Еще через полчаса Костя предложил уйти, оставив «Концертного» на крыльце пункта проката, и хрен с ней с трешкой. Но и эта идея не встретила моей поддержки.

— Ты недооцениваешь советских людей, — сказал я ему. — Мы и на сто шагов не отойдем, как его с*здят.

В три часа пункт наконец открылся, и мы с Костей ворвались туда, как солдаты в захваченную крепость.

— Вот, — сказала я миловидной приемщице, ставя проигрыватель на ее стол, — сдаю точно в назначенный срок. Получите — распишитесь.

— Ох, ребята, вы такие молодцы, что вовремя сдаете, — затараторила приемщица. — А то люди месяцами держат, а нам потом докладные пиши, судись с ними, пени собирай. Держите ваши три рубля...

Тут ее монолог был прерван сильным женским ревом откуда-то из глубины помещения:

— Танька, сучка, иди сюда, тебя опять к телефону!

— Подождите минуточку, ребята, — ласково улыбнулась приемщица, — сейчас вернусь и выпишу вам квитанцию.

Прошло пять минут. Потом десять. К двадцатой минуте Костино терпение лопнуло.

— Да ну их в жопу! — сказал он. — Ты проигрыватель сдал? Сдал! Залог получил? Получил! На хрена тебе эта квитанция? Пошли, жрать хочется, сил нет!

Тут уж мне было нечего возразить.

— В жопу, так в жопу, — согласился я, и мы отправились к Франсуазе.

Не стану описывать обед у нашей французской подружки, поскольку это увело бы повествование слишком далеко в сторону. Скажу только, что продолжался он, как я и предполагал, несколько дней и финишировал совсем не там, где стартовал.

Но история с проигрывателем на этом не закончилась, а, можно сказать, только началась.

Примерно месяц спустя я не помню уже зачем заехал к отцу (где был прописан, но давно не жил), и он после того, как по своему обыкновению дал крайне уничижительные характеристики моих умственных способностей, деловых качеств и морального облика, ехидно заметил: «Тут тебе письмецо пришло из Мосгорбытпроката. Не иначе что-то хорошее пишут». «Интересно, что они могут мне писать? — подумал я. — Наверно, хотят выразить благодарность за временно сданный проигрыватель».

Но это была вовсе не благодарность. Дословно текст письма я сейчас, конечно, не воспроизведу, но говорилось в нем о том, что от меня требуют в кратчайший срок вернуть взятый напрокат проигрыватель «Концертный» (инвентарный номер такой-то) и уплатить пени за просрочку. В противном случае они будут вынуждены обратиться в суд.

Я, конечно, удивился, но особого значения письму не придал. Ну ошибочка там у них какая-то вышла. Разберутся. В общем, выкинул я к свиньям собачьим это письмо и забыл про него. Жизнь у меня тогда шла веселая, предельно насыщенная — не до того было.

Однако еще месяц спустя звоню я отцу, а он мне говорит: «Допрыгался, гондон! Тебе повестка в суд пришла. Явиться такого-то числа к восьми утра в Мещанский районный суд в качестве ответчика по иску Мосгорбытпроката. Передачи носить тебе не буду, так и знай!».

«Ну дела, — думаю. — Ведь сдал я им их сраный проигрыватель. Так чего же эти аферисты из-под меня хотят!»

Прихожу к Косте и говорю:

— Пойдем со мной в суд, свидетелем будешь.

— Да ну его в жопу! — отвечает Костя. — Делать мне нечего — по судам таскаться. Тем более к восьми утра...

— Надо, Костя! Ты мне друг или портянка?

Словом, пришли мы суд. Зачитывают нам заявление истца: «Фрейдкин Марк Иехиельевич, такого-то года рождения, проживающий там-то, такого-то числа взял в пункте проката номер такой-то проигрыватель “Концертный”, инвентарный номер такой-то. Указанный проигрыватель в срок не вернул, на официальное письмо не ответил. Требуем взыскать стоимость проигрывателя (30 рублей), пени за просрочку возврата (15 рублей с копейками), а также судебные издержки».

Я говорю:

— Это наглая ложь и клевета! Я сдал проигрыватель точно в указанный срок.

А представитель истца, потертый хмырь в костюме с галстуком, мне отвечает:

— В таком случае у вас должна быть соответствующая квитанция, которую вы обязаны хранить в течение пяти лет. Есть у вас такая квитанция?

Я говорю:

— Такой квитанции у меня нет, я ее вообще не брал, потому что приемщица ушла разговаривать по телефону, а я торопился.

— Торопился он... — говорит хмырь. — Видали мы этих торопыг...

— Зато, — отвечаю, — у меня есть свидетели. Вызовите приемщицу, которая работала в тот день, она подтвердит мои слова.

— Эта приемщица у нас больше не работает, и найти ее не представляется возможным, — говорит хмырь.

— А у меня есть еще один свидетель, — отвечаю я и указываю на Костю. — Вот мой товарищ, который был со мной, и он тоже может все подтвердить.

— Видали мы этих свидетелей... — говорит хмырь. — Да я таких хануриков из винного отдела десятком приведу. Они за рупь что хочешь подтвердят.

Тут Костя взъелся:

— Что значит «хануриков»? Я, между прочим, студент филологического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина.

— Видали мы этих студентов... — говорит хмырь.

В общем, что тут рассказывать... Правда всегда на эшафоте, а кривда на престоле. Впяли мне по полной — и стоимость платить, и пени, и судебные издержки. И можете, говорят, в двухнедельный срок обжаловать это решение в суде следующей инстанции.

Очень меня это возмутило. Не то чтобы я денег пожалел (тем более что их у меня все равно не было), но, согласитесь, какова несправедливость! Я сдал проигрыватель точно в срок, я битый час на голодный желудок ждал, пока кончится обеденный перерыв, — и вот награда за мою добросовестность! И решил я для удовлетворения нравственного чувства и во имя поправленного правосознания действительно обжаловать это вопиющее решение, хотя совершенно не представлял себе, как делаются такие дела. Но тут я очень вовремя вспомнил, что у меня имеется дальняя родственница — двоюродная сестра второго гражданского мужа старшей сестры моего отца, — которая была адвокатом по жилищным вопросам. Я смотался к ней в Ростокино, и она составила мне кассационную жалобу на шести страницах, каковую я лично отвез в Московский городской суд.

К жалобе прилагались также свидетельские показания Кости, лично записанные им и, безусловно, представлявшие самостоятельную художественную ценность. К сожалению, они не сохранились. Это были абсолютно правдивые показания — в них он только единожды погрешил против истины, упомянув от греха подальше, что торопился не на трехдневную пьянку с французской подданной, а на комсомольское собрание в свой институт.

Заседание Мосгорсуда состоялось уже ближе к Новому году, и, отправляясь туда, я ни в коей мере не рассчитывал на благоприятный исход. Но, к моему ис-

креннему удивлению оно продолжалось буквально пять минут и завершилось полным триумфом. Решение предыдущей инстанции было отменено, я был оправдан по всем пунктам и судебные издержки возложены на истца. Впрочем, представитель истца — тот самый потертый хмырь в галстуке — заявил, что они этого так не оставят, что они не допустят безнаказанного расхищения социалистической собственности и не позволят, чтобы всякие подозрительные захребетники без определенных занятий жировали за счет общества. «Мы, несомненно, будем обжаловать это решение в Верховном суде!» — закончил он и гордо вышел из зала заседаний.

Честно говоря, я не воспринял всерьез его слова. У меня не укладывалось в голове, что Верховный суд будет рассматривать дело о тридцати рублях. Однако скорое будущее показало, насколько жестоко я заблуждался. Еще весна, как говорится, не задула в ширинку, а неумолимая почта принесла мне приглашение на заседание Верховного суда.

Но я уже малость остыл к этому делу. «Да ну их в жопу!» — подумал я и на заседание не пошел. Проигрыватель я сдал, совесть моя перед богом и людьми чиста, а они там пусть что хотят решают и постанавливают.

И они решили.

Четырнадцатого апреля 1976 года, непосредственно в день моего рождения, на квартиру отца явились судебные исполнители в количестве трех человек с целью описать мое имущество, но ввиду полного отсутствия такового были вынуждены ретироваться несолоно хлебавши. Не было у меня в те годы никакого имущества. Собственно, его у меня и сейчас ненамного больше. I am just a poor boy. Though my story's seldom told...

РАССКАЗ В ДУХЕ О. ГЕНРИ

Когда должна была родиться моя дочурка Ася, нас уже и без нее было трое в одной комнате коммунальной квартиры, и мне пришлось пойти работать диспетчером в свой родной ДЭЗ № 17. Помимо совершенно химерической, как вскоре выяснилось, надежды улучшить таким образом свои жилищные условия, я решился на этот шаг ради того, чтобы располагать хоть каким-то уединением для литературной работы. Конечно, трудно считать уединением, если ты целый день сидишь на телефоне и выслушиваешь гневные lamentации несчастных жильцов, у которых то бачок подтекает, то батарея не греет, то света нет, то лифт сломался, то мусоропровод засорился. Как-то раз я не поленился и подсчитал, что в спокойные дни таких звонков приходило примерно десять-двенадцать за час. Но работа была суточной, и ночь почти всегда оставалась в моем распоряжении. Так что в этой вонючей диспетчерской, откуда я каждый раз приносил на себе домой несметные полчища клопов, все-таки смогли появиться на свет некоторые довольно удачные вещи. Например, ставшая весьма известной песня «День рождения» или моя переводческая гордость — паундовская «Вийонада на святки». Там же мне пришло в голову составить словарь основных синонимов и эвфемизмов к глаголу «выпить», но на то были особые причины.

К этой беспрецедентной работе меня подтолкнуло знакомство с личностью, которая во многом изменила мои представления о человеческих возможностях. Безостановочно странствуя по жизни и подозрительно часто меняя рабочие места, я к тому времени приобрел уже неплохое знание отечественных нравов и в частности имел удовольствие весьма тесно общаться с самым широким спектром людей — от Венедикта Ерофеева до грузчиков станции Курская-товарная, — в той или иной степени злоупотреблявших спиртным предметом. Казалось бы, в этом аспекте познания действительности меня едва ли можно было чем-то удивить, особенно если принять во внимание, что я и сам был, прямо скажем, очень

и очень не дурак заложить за галстук. Но полтора года находившийся в моем непосредственном подчинении Славка-сантехник оставил на сем достойном поприще далеко позади всех, кого мне доводилось встречать. За весь период нашего сотрудничества я ни разу не сподобился увидеть его не только трезвым, но также и слегка выпившим или с похмелья — он всегда был пьян в стельку, до полной невменяемости. Причем хочу уточнить, что «всегда» здесь означает не ежедневно и даже не ежечасно, а именно всегда — то есть в любой отдельно взятый момент времени. Исключение составляли только недолгие часы сна, который мог застать его где угодно: на улице, в подъезде, на квартире у жильцов — и просыпался он ровно таким же пьяным, каким засыпал. За счет чего Славке удавалось достичь такого стабильного состояния, мне было непонятно, тем более что я никогда не заставал его, так сказать, в процессе распития. Очевидно, он на подсознательном уровне разделял утверждение Вени, что это дело «интимнее всякой интимности», и предпочитал делать его в одиночку.

Он передвигался в пространстве по замысловатой траектории — как будто плыл через реку, и его все время носило течением то влево, то вправо в зависимости от того, в какой руке у него был тяжелый чемоданчик с сантехническим инструментом. И зимой, и летом он ходил в замазанной телогрейке поверх бурой от грязи тельняшки, в бесформенных, постоянно спадающих штанах и в кедах. От описания сногшибательных миазмов, которые он распространял на расстояние трех-четырех метров, я целомудренно воздержусь.

Ночевал он, как правило, в диспетчерской — в каптерке слесарей. Не знаю уж, чем он там занимался, но по ночам оттуда непрерывно доносились звуки падения тяжелых предметов, удары молотка, звон посуды и громкое исполнение популярных песен советской эстрады, что очень отвлекало меня от интимного общения с музами.

Между тем у него была жена. В светлые минуты он иногда вспоминал об этом и звонил ей с моего рабочего телефона. «Але, Нин! — заплетающимся, но куражистым голосом начинал он. — Это что за дела? Я сегодня утром тебе звоню, а там какой-то мужик трубку берет. Я ему говорю: “Нинку можно?”, а он отвечает: “Пошел на *й!”. Смотри, приду домой, будем с тобой разбираться!»

Впрочем, это были пустые угрозы. Домой он, похоже, уже давно не заходил и заходить не собирался.

При всем этом Славка оставался в некотором роде образцовым работником. Я не припомню случая, чтобы он не вышел на работу, не выполнил заявку или вымогал с жильцов дополнительную плату. Слесаря, как и диспетчеры, работали по графику «сутки через трое», но Славка проводил в диспетчерской даже свои выходные. Да что там выходные — он и в отпуск-то на моей памяти не ходил. Буквально вся его жизнь безотлучно протекала на трудовом посту.

На его работу никогда не поступало никаких жалоб или нареканий. Наоборот, жильцы нередко обращались ко мне с просьбой выразить ему благодарность. Были у него среди них и самые настоящие фанаты.

Особенно меня донимала одна бабуля, которая звонила в каждое мое дежурство:

— Звонют с Чапаевского, дом пять, квартира сорок. Пришли мне, милоч, Славку-сантехника.

— А что у вас случилось?

— Да текет у меня...

— Что у вас течет — кран, бачок?

— Да все текет, милоч, и крант текет, и бачок.

— А я вот смотрю по журналу: вчера у вас был сантехник, все исправил.

— Вчера исправил, а сегодня опять текет. Ты уж пришли мне Славку-то.

— Славка сейчас на вызове. Я вам пришлю другого слесаря.

— Не, милоч, другого мне не надоть. А как Славка ослобонится, ты его ко мне...

После его визита она непременно звонила еще раз:

— Славка приходил, все исделал. Уж такой он парень смиренный да работающий. И ни в одном глазе... Ты уж там, милоч, доложи по начальству, пусть ему благодарность объявят или премию каку...

А назавтра она вызывала его снова.

И главный инженер ДЭЗа Вася Чуваш (такая у него была фамилия) действительно на всех собраниях ставил Славку в пример и ежемесячно выписывал ему премиальные. Этот Вася, надо сказать, тоже был довольно примечательной фигурой. Высокий, стройный, чернявый, с тоненькими усиками, очень неприятным немужским голосом и слащавыми фатоватыми манерами провинциального парикмахера, он одевался невероятно дорого и безвкусно. Мог, например, прийти на работу в ярком блейзере. Фирменные джинсы, стоившие тогда на черном рынке полтора месячных оклада, менял чуть ли не каждый день. Но особенно неприятной была его жеманная манера распекать подчиненных. Сощурился и без того узковатые глаза и недобро улыбаясь, он нараспев говорил: «Ну почему ты так плохо работаешь? Ты что, совсем ленивый, да? Или тебе денег не хватает? Так ты скажи мне — я дам».

И самое удивительное, что он и вправду раздавал деньги направо и налево. Трешки, пятерки и десятки разлетались из его рук со сказочной легкостью. Мало того: он, например, никогда не приходил к нам в диспетчерскую с пустыми руками — зимой непременно приносил торт или коробку недешевых конфет, весной — кульки с ранней клубникой или черешней. Моей сменщице Райке, вовсе не имея в виду за ней приударить (похоже, особы женского пола его вообще не слишком интересовали), на ровном месте подарил часики — не золотые, конечно, но явно импортные.

В те времена поголовной нищеты такая щедрость просто поражала воображение. Не говоря уже о том, что возникал прозаический, но вполне естественный вопрос: откуда у человека столько денег? Вроде живет у всех на виду, получает ту же копеечную зарплату — ну пусть на пару червонцев побольше, ну, наверняка еще подворовывает немного на своей руководящей должности, так это же все равно сущие гроши. Банки он, что ли, грабит по ночам?

Но несмотря на гарун-аль-рашидовские замашки, Васю в коллективе недолюбливали и лишний раз старались с ним не пересекаться. Только Славка всегда ему искренне радовался и при встрече лез с объятиями, от которых Вася, опасаясь за свой костюм, а также, очевидно, из гигиенических соображений всячески норовил уклониться. Трудно объяснить, чем была вызвана эта Славкина привязанность, но едва ли тем, что Вася регулярно поощрял его по службе. Не удивлюсь, если Славка, будучи глубоко погружен в себя, этого даже не замечал. Возможно, его просто привлекала Васина яркая внешность — поди догадайся, что происходит в душе пьяного человека.

И тем не менее именно с Васей у Славки, человека до последней крайности незлобивого и бесконфликтного, случился довольно странный инцидент. Верней, это был не столько инцидент, сколько временное помрачение рассудка, хотя, как ни странно, белой горячкой Славка вроде бы не страдал. Все произошло летним днем у меня в диспетчерской. Славка, подложив под голову свой чемоданчик с инструментом, лежал на пороге и спал. Воздуха он при этом, как писали Ильф и Петров, не озонировал. И тут, не помню уже за чем, пришел Вася. Деликатно перешагнув через Славку, он протянул мне стаканчик мороженого и укоризненно заметил: «Да, пахивает у тебя тут. Окошко бы хоть открыл...».

В этот момент Славку угораздило проснуться. Он оторвал от чемоданчика кудлатую голову и, с угрожающим видом глядя на Васю, встал на четвереньки. «Ты что, Славка...» — начал было Вася, но договорить не успел. Зарывав, как цепной пес, Славка бросился на него и вцепился зубами в полу белоснежного Васиного пиджака. Я выскочил из-за пульта и попытался их растащить, но Славка держал врага мертвой хваткой, так что пришлось вылить ему на голову графин воды. Лишь после этого он отпустил свою жертву и уселся на пол, отфыркиваясь, опять-таки как собака. В его глазах появилось более или менее осмысленное выражение, и он неуверенно проговорил: «Пойду на Викторенко, засор у меня там...». Он подобрал чемоданчик и, качаясь сильнее обычного, направился к двери. Мимо дверного проема он не промахнулся только с третьей попытки.

К Васиной чести следует сказать, что после этого случая он не изменил своего доброжелательного отношения к Славке. По-прежнему ставил его в пример другим работникам и регулярно выписывал премии. Что думал обо всем происшедшем Славка, сказать не берусь. Скорей всего, ничего.

А перед самым Новым 1987 годом, когда и мороза-то сильного не было, Славка замерз. Насмерть. Среди бела дня. На людном месте. В сотне шагов от диспетчерской. Он по своему обыкновению уснул на улице и проспал дольше обычного. Внимания на него никто не обратил — мало ли пьяных у нас по сугробам валяется? А когда какой-то сердобольный прохожий все-таки вызвал «скорую», оказалось уже поздно.

Мое дежурство было на следующий день. Я, еще ни о чем не подозревая, пришел с утра в диспетчерскую и, к своему удивлению, застал там Васю, которой, как правило, редко появлялся на работе раньше полудня. Любуясь перед зеркалом своей новенькой бежевой дубленкой с ярким трехцветным шарфом до самого пола, Вася поведал мне о случившемся и сказал, что сейчас пришлет на замену сантехника с другого участка.

— Вот бабулька с Чапаевского теперь огорчится, — растерянно пробормотал я.

— Да уж не обрадуется, — своим неприятным голосом сказал Вася. — Это же Славкина мать, ты разве не знал? Надо пойти денег ей дать, что ли...

ФРАНЦУЗСКАЯ ИСТОРИЯ

Когда легковерен и молод я был, в моих отношениях с прекрасным полом присутствовала некоторая, что ли, двойственность. Нет, я ни в коем случае не мог пожаловаться на недостаток внимания со стороны женщин и девушек. Но те из них, кто проявлял ко мне определенный интерес, у меня такового интереса, как правило, не вызывали. И наоборот, те, к кому проявлял интерес я, фатально не отвечали мне взаимностью. Поэтому я чаще всего был вынужден добирать столь необходимую в этом болезненном возрасте женскую ласку не там, где хотел бы ее получить, а там, где мне ее охотно предлагали. Таким образом, питая глубокие и преимущественно неразделенные чувства к одним прелестным особам, я в то же самое время беззастенчиво пользовался расположением других — если взглянуть беспристрастно, ничуть не менее прелестных. Эти двусмысленные ситуации создавали известные бытовые трудности (к примеру, как-то раз при отправке любовной корреспонденции я перепутал конверты и мои *lettres d'amour* пошли не по тем адресам), но никоим образом не отягощали моей совести и не представлялись мне чем-то постыдным и безнравственным. Мне почему-то казалось, что я был безукоризненно честен и перед собой, и перед всеми своими пассиями. Собственно, мне и сейчас так кажется.

Мы встречались с Олей в общей сложности больше двадцати лет. Высокая, стройная, худенькая, очкастенькая, большеротая, она была чем-то похожа на Анук Эме в культовом фильме моей юности «Мужчина и женщина» и очень мне нравилась. Меня, выпускника английской спецшколы и стихийного франкофила, чрезвычайно привлекало еще и то, что она свободно говорила и читала по-французски. Это, впрочем, было неудивительно — она родилась и выросла в Париже, где ее мама работала переводчицей в нашем посольстве. А вот насчет папы там было не все понятно. Во всяком случае, жила она с мамой, преподававшей теперь французский в инязе, и с бабушкой в просторной двухкомнатной квартире «сталинского» дома на Фрунзенской набережной, и никакого папы в близлежащих окрестностях не наблюдалось. По каким-то смутным недомолвкам можно было предположить, что он остался на своей родине — во Франции, и в этой связи чисто русское Олино отчество «Олеговна» выглядело несколько странным и подозрительно тавтологичным. Впрочем, я в это дело глубоко не входил и с нескромными вопросами не приставал.

Познакомил меня с Олей перед своим уходом в армию ее тогдашний бойфренд и мой школьный приятель Миша. Он, более того, сам попросил меня по возможности скрасить ее одиночество и почаще навещать, чтобы она не слишком скучала в разлуке с ним. Конечно, он рассчитывал, что мои отношения с Олей останутся сугубо дружескими, да и я, со своей стороны, не предполагал ничего другого, поскольку, несмотря на всю ее несомненную привлекательность, совершенно не был в нее влюблен, а, напротив того, был по самые уши погружен в переживания по поводу своей очередной любовной неудачи.

Словом, Миша отправился выполнять свой гражданский долг, и однажды, когда у меня выдался свободный вечерок (что, надо сказать, тогда случалось крайне редко), я вспомнил о его просьбе и заехал к Оле в гости. И, скорей всего, этот первый визит остался бы единственным, если бы у нее в доме не оказалось довольно много пластинок с французским шансоном и, главное, — нескольких сорокапятков Брассенса, послушать которого в начале 70-х годов было в Москве практически невозможно. А я уже знал несколько его песен и изнывал от желания поподробней ознакомиться с его гениальным творчеством.

Нынешней молодежи, живущей в эпоху общедоступного Интернета, трудно представить себе, на какие подвиги бывали способны в те веселые годы музыкально озабоченные люди, чтобы увидеть или хотя бы услышать своих кумиров. Я, например, довольно близко знал одну девушку, которая ради концерта Джо Дассена приехала в Москву из Южно-Сахалинска и, кстати сказать, на концерт не попала. Так стоит ли удивляться, что, располагая столь притягательным магнитом в виде пластинок Брассенса, я зачастил к Оле, тем более и сама она, повторяю, была мне очень симпатична. И, естественно, наши отношения вполне предсказуемо и довольно скоро вышли за рамки чисто дружеских, причем это произошло отнюдь не по моей инициативе.

Никаких слов о любви и о чувствах между нами сказано не было. Мы и без этого прекрасно проводили время. Я читал Оле стихи, посвященные не ей, она просвещала меня по части французской литературы, переводила мне Верлена, Рембо, Аполлинера, ну и конечно, Брассенса. Мы много смеялись, постоянно подтрунивали друг над другом.

У Оли было очень плохое зрение. Когда мы целовались, она снимала очки и говорила, что вместо моей физиономии видит только светлое пятно. Еще у нее были длинные тонкие пальцы. Она любила их подушечками касаться моего, как правило, небритого лица и как-то особенно трогательно при этом вздыхала. А еще она очень стеснялась своей худобы и часто повторяла мне: «Как ты можешь обнимать эти кости?». А я в шутку соглашался с ней и напевал из Брассенса:

Remballe tes os, ma mie, et garde tes appas,
 Tu es bien trop maigrelette,
 Je suis un bon vivant, ça ne me concerne pas
 D'êtreindre des squelettes.

Я тогда не понимал точного значения этих слов и знал их содержание только по ее переводу.

В общем, все у нас было хорошо и красиво, если не считать того, что я ее не любил. И когда вернулся Миша, отрубив свое в рядах наших доблестных вооруженных сил, я был вполне готов сдать ему Олю с рук на руки в относительной целостности и сохранности. Но этот номер не прошел. Они встретились только один раз, и после этого Миша с горизонта исчез.

А вскоре в лингафонном кабинете Библиотеки иностранной литературы я обнаружил почти полное на тот момент аудиособрание песен Брассенса, и наши встречи с Олей стали гораздо реже, однако не прекратились совсем, несмотря на то, что в моей личной жизни происходили чрезвычайно бурные события. На почве неразделенных любовей я совершал адекватные безумства — покушался на самоубийство, лежал в психбольницах, проводил бессонные ночи под окнами своих жестоких возлюбленных, писал в неразумных количествах трагедийную любовную лирику и все такое. Но в перерывах между боями я примерно разок в месяц заскакивал к Оле, и она всегда была мне рада, хотя, скорее всего, подозревала, что не является для меня единственной подобного рода отдушиной.

Так продолжалось три или четыре года. И вот однажды прекрасным летним вечером Оля позвонила мне, чего обычно никогда не делала. Она сказала, что завтра выходит замуж, и хотела бы сегодня увидеться со мной. У меня намечались на этот вечер совсем другие планы, но я их отменил (что, прямо скажем, было непросто) и поехал к ней.

Мы провели всю ночь в скверике перед ее домом. В первый и в последний раз мы, что называется, выясняли отношения. Все это, понятное дело, происходило очень спокойно и дружелюбно — без криков, слез и взаимных оскорблений. Мы по-прежнему подшучивали друг над другом, обменивались французскими цитатами (я к тому времени уже немного поднаторел в языке, хотя до Оли мне, конечно, было далеко), прикидывали на себя все юмористические аспекты классического адюльтерного треугольника, столь досконально описанные нашим любимым Брассенсом. Помимо прочего Оля сказала, что любит только меня, но знает, что я ее не люблю, и выходит замуж ради мамы и чтобы как-то устроить свою судьбу. Она просила простить ее за это, словно когда-то давала мне клятву в вечной верности. Мне же казалось, что она слишком драматизирует ситуацию. В конце концов, что тут такого? Выходит девушка замуж, и слава богу. Лишь бы за хорошего человека. А что до всего остального, то при желании и грамотном подходе к делу замужество еще никогда и ничему не мешало. Но для Оли все это почему-то было важно.

После ее свадьбы мы не виделись около года. Я за подотчетный период успел пережить уже не помню которую по счету полномасштабную любовную драму со всей сопутствующей симптоматикой и атрибутикой. А потом Оля снова позвонила мне, и у нас все пошло по-старому — разве что встречаться мы стали еще реже, чем раньше. И эти встречи, невзирая на ее замужество, вовсе не были платоническими.

Брак Оли оказался неудачным. Детей у них почему-то не получалось, да и семейная жизнь не заладилась с самого начала. Мужа ее я никогда не видел, но, по Олиным рассказам, он был невероятно ревнив, мелочен и любил устраивать душераздирающие сцены из-за всяких пустяков. Промучившись несколько лет,

они развелись, и развелись не по-доброму. Там, как водится, возникли какие-то жилищные и имущественные конфликты, в которых ее муж не проявил широты натуры, подобающей настоящему мужчине.

И так совпало, что именно в это время мне титаническим усилием удалось наконец разорвать нескончаемую цепь моих любовных неудач, и я женился, как выразился Александр Сергеевич Пушкин о своем полном тезке, «на той, которую любил».

Но и тогда наши отношения с Олей не сошли на нет, хотя из них полностью и навсегда исчезла сексуальная составляющая. Мы, как говорится, остались друзьями — иногда (не слишком, впрочем, часто) встречались, перезванивались, пару раз она даже приходила к нам в гости. Я в общих чертах знал, как складывается ее жизнь, и хорошего в этой жизни было немного.

После всех жилищных пертурбаций, связанных с разводом, она обитала теперь совсем одна в маленькой квартирке неподалеку от Новодевичьего кладбища, и по стопам своей мамы преподавала в инязе. У нее завелся постоянный любовник, женатый мужчина, по профессии, кажется, военный летчик — человек совершенно не нашего круга, грубый и даже склонный к физическому насилию. Я плохо представлял себе, что у них было общего и как они вообще могли сойтись.

Но еще больше я удивлялся тому, что Оля, любительница Вийона, Рабле и Брассенса, читавшая в подлиннике Виана, Кено и Гари задолго до того, как они были у нас переведены, неожиданно с головой ушла в беспробудную и не вполне здоровую религиозность. В постперестроечные годы этот недуг был, увы, довольно распространенным явлением — мы называли его острым православием головного мозга. Со своими новыми кликушествующими и юродствующими околоцерковными приятельницами она проводила много времени в разговорах о том, что можно и чего нельзя делать истинно верующему человеку, обсуждала достоинства и недостатки того или иного батюшки, распространяла какие-то мракобесные брошюрки, вдавалась в тончайшие детали богослужения, соблюдения обрядов и постов. Последними она, будучи и без того весьма сублильного сложения, доводила себя буквально до анорексии, неделями голодая или сидя на хлебе и воде. Со мной она еще старалась оставаться прежней Олей — умной, раскованной, ироничной, утонченной, — но давалось это ей с большим трудом. В общем, грустное было зрелище.

А потом она вдруг умерла, причем при очень странных обстоятельствах. Ее полуразложившийся труп нашли в собственной постели, где он пролежал уже несколько дней. И было непонятно, то ли с ней случился сердечный приступ (она частенько жаловалась на сердце), то ли она умерла от истощения, то ли наглоталась антидепрессантов и нейролептиков, к которым пристрастилась в последнее время. Впрочем, никто особо и не доискивался причин, а разрешения на вскрытие ее мать не дала.

Ей было сорок два года. Никогда не думал, что буду так часто ее вспоминать.

Я В ГАЛОШУ НАССАЛА...

Анна Константиновна Кулагина, директор Дома культуры Московской окружной железной дороги, страдала диабетом и ни хрена от него не лечилась — не принимала никаких лекарств и, мягко выражаясь, не соблюдала никакой диеты. Однажды она в пьяном виде прищемила себе дверью большой палец на ноге и, по ее собственному выражению, положила на это с прибором. С месяц она прохромала, а когда пошла к врачу, то было уже поздно. Началась гангрена, и ногу пришлось отнять. История — прямо как из медицинского учебника.

Первое время Анна Константиновна бодрилась и на больничной койке пела частушку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога —
И портянок меньше рвется,
И не надо сапога —

но через несколько дней все-таки умерла. На ее похороны собралось все Коптево и все Лихоборы. Сравнимое количество людей я видел, пожалуй, только на похоронах Эренбурга перед Новодевичьим кладбищем, куда меня четырнадцатилетним юнцом притащила мама.

Я не знаю, какого масштаба литературным дарованием надо обладать, чтобы хоть сколько-нибудь конгениально изобразить эту выдающуюся женщину. Ясно одно: у меня такого дарования нет. Но все же я попытаюсь — потому уже хотя бы, что все меньше остается на свете людей, знавших ее. А уж пишущих среди них и вовсе нет. Так что получается, что кроме меня некому.

Низкорослая, коротконогая, с неприятным визгливым голосом, маленькими водянистыми глазками, обвислым одутловатым лицом, нечесаными сальными волосами и плохим запахом изо рта, всегда неопрятная и неухоженная и почти всегда в изрядном подпитии, разговаривающая со всеми (включая партийное начальство) на «ты» и преимущественно матом, она поначалу производила просто отталкивающее впечатление. А между тем я не встречал более добросердечного, порядочного, бескорыстного и артистичного человека, чем Анна Константиновна.

Совершенно непонятно, как она могла стать директором дома культуры и проработать на этом посту больше тридцати лет. Образования у нее, судя по всему, не было никакого (я даже сомневаюсь, удалось ли ей в свое время окончить среднюю школу), и о культуре во всех смыслах этого слова она имела самые общие представления. Честно говоря, я не припомню ни одного текста, написанного ею собственноручно, кроме резолюции «в жопу!», которую она ставила на моих предложениях о модернизации работы подведомственного ей учреждения.

Зато она, подобно булгаковскому Филе Тулумбасову, обладала безошибочным чутьем на людей и с первого взгляда видела человека насквозь. Обмануть ее было невозможно — малейшую фальшь, малейшую пафосность, малейший проблеск стяжательства она просекала моментально. При этом я ни прежде, ни потом не встречал руководителя, которому были бы до такой степени безразличны профессиональные достоинства и недостатки подчиненных. Ставшее таким популярным сегодня слово «профессионал» она ненавидела всей душой. Ее интересовали только человеческие качества. Ты можешь быть плохим бухгалтером, пьющим педагогом, неумелым электриком, но если ты «хороший человек», она будет тебя костерить последними словами, объявлять выговоры и взыскания, но с работы не выгонит, в обиду не даст и в трудную минуту всегда поможет.

Столь же безошибочным было ее понимание прекрасного. Книг она не читала, живописью не увлекалась, музыки не слушала, в кино и тем более в театры не ходила, но что-то талантливое в любой области искусства угадывала влет и без промаха. Когда я привел к ней Костю, не имевшего тогда никакого музыкального образования, и предложил послушать, как он играет, она сказала: «Да хули мне его слушать! Что я не вижу, какие у него руки?» — и тут же оформила его преподавателем по классу гитары.

Однажды я попросил Ольгу Седакову почитать на каком-то утреннике свои детские стихи. Ольга, будучи человеком абсолютно незаносчивым, любезно согласилась. Ну казалось бы, что полуграмотная Анна Константиновна могла раз-

глядеть в стихах Седаковой и во всем ее утонченном и изысканном облике? Тем не менее, послушав всего пару минут, она поманила меня пальцем в фойе и там удовлетворенно хмыкнула: «Сразу видно, что поэтесса, а не б*дь какая-то!».

Впрочем, непосредственно культпросветработа была далеко не главным объектом приложения ее кипучей энергии. Занималась Анна Константиновна в основном двумя вещами: борьбой за сохранение дома культуры, в котором уже лет десять шел нескончаемый вялотекущий ремонт и который различные инстанции то и дело норовили в этой связи закрыть, чтобы он не мозолил глаза, а также всевозможными хлопотами о самых разных, порой совершенно незнакомых ей людях. Она постоянно кому-то пробивала ставки, находила работу, помогала получить жилплощадь, доставала путевки в санаторий, устраивала чьих-то детей в детские сады и пионерские лагеря, чьих-то родителей — в больницы, кого-то даже отмазывала от милиции.

Ее, как сказали бы сейчас, энергетика и харизматичность были просто невероятными. Вокруг нее все кипело как в котле и ходило ходуном. В любое самое обиходное дело она вкладывала столько страсти и экспрессии, что оно сразу же становилось проблемой мирового значения, в него немедленно вовлекались все окружающие, и начинался форменный сумасшедший дом — с криками, воплями, скандалами, хлопаньем дверями и битьем посуды.

Она вовсе не была всемогущей, и многие ее начинания оканчивались неудачами, но эти хлопоты были смыслом ее жизни. Люди к ней шли непрерывным потоком, и телефон в ее кабинете не умолкал никогда — так что и здесь сравнение с Филей Тулумбасовым оказывается вполне уместным. Она и меня-то взяла к себе на фиктивную должность заместителя директора по культмассовой работе для того, чтобы я развязал ей руки и разгрузил от клубной рутины.

Это был довольно трудный период моей жизни. Я уже полтора года нигде не работал и впал в беспросветный пауперизм. У меня не было даже порядочной одежды — и зимой, и летом я ходил в солдатской форме, которую мне подарил мой демобилизовавшийся из армии приятель. Анна Константиновна не только задним числом вписала мне в трудовую книжку эти пропущенные полтора года, но и выдала безвозмездную ссуду на покупку гражданского костюма. Причем, подозреваю, что не из казенных, а из собственных средств. Кстати, все деньги она хранила в чашечках своего обширного бюстгальтера — на правой груди личные, на левой общественные, — но часто путала, где какие (по большей части не в свою пользу), что служило причиной постоянных и бурных препирательств с бухгалтершей.

На следующий день я вышел на работу элегантно как рояль — в пиджаке и при галстукке. Оценив мой импозантный вид, Анна Константиновна сразу обратилась ко мне с просьбой пойти вместо нее в Дом журналиста на торжественное заседание, посвященное пятидесятилетию ведомственной многотиражки «Московский железнодорожник». Просьбу свою она изложила примерно в таких выражениях: «Марк Охереевич (она до конца дней так и не смогла справиться с моим отчасти экзотическим отчеством), будь другом, сходи ты на это сраное заседание. Там в президиуме надо все время сидеть, выходить неудобно. А у меня пузырь слабый, боюсь обоссаться».

Я, конечно же, не мог ей отказать, и должен признать, что шесть с половиной часов без перерыва даже для моего тогда еще молодого и здорового мочевого пузыря оказались серьезным испытанием.

Но это был только эпизод, а основные мои служебные обязанности заключались в том, чтобы сочинять всевозможные отчеты, перспективные планы, сценарии, пригласительные билеты и афиши для многочисленных идеологических мероприятий, которые Дом культуры должен был проводить в связи с неимо-

верным количеством советских праздничных okazji: 1 сентября, День учителя, 7 ноября и ноябрьские каникулы, День Конституции (тогда он отмечался 5 декабря), Новый год и зимние каникулы, 23 февраля, 8 Марта, весенние каникулы, день рождения Ленина и коммунистический субботник, 1 Мая, 9 Мая, окончание учебного года и выпускные вечера, ведомственный праздник — День железнодорожника (первое воскресенье августа). Ну и плюс к этому выборы, партийные съезды и их судьбоносные решения, всякая внутривластная кампания (к примеру, непреходящая борьба то с пьянством и алкоголизмом, то за повышение производительности труда) и, натурально, злободневные отклики на важнейшие международные события.

Разумеется, подавляющее большинство этих мероприятий никто и не думал проводить — даже при желании это было просто нереально. Они существовали только на бумаге, каковые бумаги тысячами (буквально!) отправлялись в вышестоящие организации в качестве доказательства нашей неусыпной культпросветработы. Причем каждую такую бумажку нужно было не только сочинить, озаглавить и издать типографским способом, ее еще полагалось провести через «Мосгорлит» — тогдашний комитет по цензуре. Вот всей этой творческой работой я и занимался.

Впрочем, что касается последнего испытания, то оно носило преимущественно формальный характер — хотя бы потому, что скромный штат упомянутой организации физически был не в состоянии ознакомиться с таким огромным количеством поднадзорных документов, не говоря уж том, чтобы отыскивать в них крамолу. Выглядело это примерно так: я с двумя битком набитыми портфелями раз в неделю (а при необходимости и чаще) приезжал в контору в Оружейном переулке и, отстояв многочасовую очередь, оказывался в большой комнате, где сидели несколько хорошо одетых женщин, которые занимались сугубо механической работой. Перед ними лежали гигантские кипы бумаг, и они, не глядя, ставили на каждый лист круглую печать и неразборчивую закорючку, не переставая при этом беседовать друг с другом о домашних делах и новинках моды. Поэтому залитовать в принципе можно было все что угодно, чем я однажды смею ради воспользовался, на спор проведя через цензуру цикл учебно-воспитательных мероприятий для старшеклассников «Из школы — на скамью подсудимых», в рамках которого фигурировали встречи со знатными рецидивистами района, обсуждение методического пособия для юного карманника (составитель — поэт Степан Щипачев), воскресник под девизом «Хулиган на улице не гость, а хозяин» и не помню уже сейчас что еще.

Но главную идеологическую диверсию я осуществил неумышленно. В 1977 году, когда принималась брежневская Конституция, нам было предписано провести ряд мероприятий, посвященных каждой ее статье. Среди моря прочей «липы» я сочинил афишу тематического вечера «Советский человек имеет право на жилище», залитовал ее и сдал в типографию. Там заказ выполнили в срок, но в слове «жилище» допустили опечатку — вместо «л» набрали «д», а я, не читая, разослал эту афишу во все контролирующие инстанции. Ужасную опечатку я случайно обнаружил только после того, как афиша пару дней провисела на доске объявлений. Впрочем, этих афиш все равно никто не читал. Анна Константиновна сперва перепугалась и ждала крупных неприятностей, однако никакой реакции сверху не последовало — похоже, там в эти филькины грамоты тоже не заглядывали.

Со временем круг моих обязанностей расширился, и наряду с подобного рода писаниной мне пришлось заняться практической работой. Поскольку кое-какие мероприятия в Доме культуры все-таки проводились, а количество штатных единиц вопреки стараниям Анны Константиновны неуклонно уменьшалось, мне поневоле пришлось стать артистом широкого профиля и выступать на сцене в качестве тещи-декламатора, конферансье, лектора, пианиста-аккомпаниатора, автора-исполнителя юмористических скетчей и сатирических частушек

на производственные темы, Деда Мороза и певца (причем, невзирая на отсутствие вокальных данных, случилось мне иной раз исполнять даже произведения классического репертуара). Не рискнул я испробовать себя, пожалуй, лишь в роли участника ансамбля русских народных плясок, хотя Анна Константиновна неоднократно предлагала мне и это.

Следует отметить, что была у нее склонность к некоторому волонтаризму, чтобы не сказать самодурству, и под влиянием внезапно осенявшего ее вдохновения она любила давать своим сотрудникам совершенно невероятные и сумасбродные поручения, строго требуя неукоснительного их исполнения.

В нашей головной организации «Дорпрофсоже» культурой ведала молодая незамужняя женщина по имени Майя Афанасьевна. Анна Константиновна терпеть ее не могла, потому что та все время ставила ей палки в колеса, приставала с разной ерундой и изо всех сил пыталась «руководить». «Мужика у ней нет хорошего, — говорила Кулагина, — ей и неймется — лезет во все дырки».

И вот перед новогодним вечером профсоюзных работников она во всеуслышание заявила: «Ты, Фредькин, парень видный. Даю тебе партийное задание: подпойти и трахнуть Майку. А иначе уволю, так и знай!».

Увы, с заданием я не справился и более того — по личным обстоятельствам вообще не явился на тот вечер. А там, как мне потом рассказали, Анна Константиновна с Майкой опять поцапались.

Наутро мрачная и похмельная Кулагина встретила меня словами: «Фредькин, б*дь, я тебя предупреждала? Пиши по собственному желанию!». Я написал: «Прошу уволить меня с занимаемой должности ввиду служебного несоответствия, выразившегося в неспособности вступить в интимную связь с заместителем директора Дорпрофсожа по культурной работе Майей Афанасьевой имярек». Настроение у Анны Константиновны сразу улучшилось. Конечно, она и так не собиралась меня увольнять, но теперь об этом уже и речи не шло. Радостно усевшись за телефон, она стала обзванивать всех партийных и профсоюзных работников в районе и зачитывать им мое заявление, сопровождая его совершенно нецензурными комментариями.

Она жила одна в невероятно захлавленной однокомнатной квартирке на первом этаже ведомственной пятиэтажки. Никого у нее не было — ни мужа, ни детей, ни родственников. Иногда она вскользь упоминала о каком-то брате в Смоленске, но никто его никогда не видел. Не появился он, кажется, даже на ее похоронах. Не было у нее и близких друзей, хотя на улице с ней здоровался каждый второй.

Как-то зимним вечером мы засиделись на работе, и я вышел на улицу покурить. Стоял легкий морозец, небо было звездное и чистое. Дышалось легко. Через некоторое время вышла Анна Константиновна. Меня она в темноте не видела. Она посмотрела на небо, улыбнулась, притопнула и отчаянно заголосила на всю улицу:

Я в галошу нассала
И в другую нассала.
И стою, люблюся,
Во что же я обуюся.

Потом она воровато огляделась по сторонам и ушла обратно.

Александр Левин

Остаётся водород

* * *

Бодрый утренний бухгалтер
из Сбербанка выбегает,
резво топает по снегу
в направлении производства,
всех попавшихся под ноги,
всех идущих и бредущих,
всех ползущих еле-еле
на пути своём сметая.

В голове его премудрой,
а точней, её премудрой —
выразительные цифры
для квартального отчёта,
а в руках её могучих
папка, полная бумажек,
папка, полная платёжек,
всяких чеков и квитанций,
неподъёмных распечаток
и внушительных счетов.

И она идёт по снегу
в направлении производства,
где у ней на производстве
есть другой ещё бухгалтер,
но не бодрый, а вчерашний,
носом скрюченным клюющий
свой засаленный компьютер,
свой Эксель перемудрёный,
Один-Эс обыкновенный —
с недосыпу, с перепую.

И ещё одна помощник
тоже есть на производстве,

Об авторе | Александр Левин родился в Москве в 1957 году. По образованию — инженер по вычислительной технике. В четырнадцать лет начал писать музыку, в двадцать — стихи, что естественным образом перешло в сочинение песен. На сегодня — автор четырех поэтических сборников (включая два самиздатовских) и книги избранных стихотворений (изд. «Новое литературное обозрение», 2007 г.), а также шести компакт-дисков с песнями в собственных аранжировках. Публиковался в литературных журналах и поэтических антологиях, постоянный автор «Знамени». С середины 90-х годов пишет самостоятельно по работе на компьютере и компьютерным программам, выходящие массовыми тиражами. Предыдущая публикация в «Знамени», № 5, 2012.

тоже девушка такая
выразительная очень:
что-то красит непрерывно
на лице незаурядном,
(или, может, заурядном,
если красить перестанет) —
с недосыпу, с перепоею.

Кончен отпуск новогодний,
кончен праздник бесконечный,
отстреляли все салюты,
отзвучали все куранты,
новогодние концерты
и рождественские встречи.
Всё шампанское допили,
недопитое прокисло,
хлеб засох, зацвёл и сгинул,
все подъелись салаты,
бужина и ветчинина,
колбаса и колбаса.

И опять в трудах бухгалтер,
по сбербанкам пробегая
с многоумными бумаги
и с наличными купюры.
И опять в трудах бухгалтер,
по налоговым летая
с толстомясыми отчёты
и журналами учётов.

И идёт она такая,
выразительная очень,
поразительная где-то,
заразительная в чём-то,
с новой силой новогодней,
с новым годом наступившим,
с героической походкой,
с юридическим лицом.

Немуму

Он был доверчив, как Муму,
и чист душою, как простынка,
когда подкралася к нему
невидимая Рукарынка.

Он Рукарынки не видал
и за карманы не держался...
И тут же весь поиздержался!
И сразу весь оголодал!

И бездны тёмные ему
в тот час ужасный приоткрылись,
и мысли страшные явились...
И он уж больше не Муму!

Их много разом поднялось,
кого обчистила зараза
(иных и вовсе по два раза!), —
их туча просто поднялось!

И похватили топоры
лопаты, сети и багры.
И рупор праведного гнева
их вёл уверенно налево.

Там слева был один тупик —
в него загнали Рукарынку,
поймали и арестовали,
велели паспорт показать.

А чтоб злодейка не сбежала,
облили жидкостью её
весьма коричневого цвета.
И запах тоже был весьма!..

И хоть особо не побили,
а в каталажку упекли.
И долго пели и кричали,
но денег так и не нашли.

* * *

Ты мене хозяйка, я тебе добытчик.
Я тебе водитель, ты мене кухарка.
Я тебе носильщик, ты мене сиделка.
Ты мне поломойка, я тебе электрик.

Ты мне парикмахер, я тебе рассказчик.
Я тебе фотограф, ты мене художник.
Ты мене бухгалтер, я тебе сантехник.
Я тебе придумщик, ты мене здравый смысл.

Я тебе советчик, ты мене подсказчик.
Ты мене садовник, я тебе ремонтник.
Ты мене надёжа, я тебе опора.
Я тебе надёжа, ты мене опора.

Ты мене хозяйка, я тебе добытчик.
Я тебе водитель, ты мене кухарка.
Поживем пока что во любви и дружбе.
А любви не станет, так хотя бы в дружбе...

Вернись, Марчелло! (ариозо на два голоса)

— «О чем мычало ты, Марчелло?
Кого морочить ты хотелло?
Кого ты, дерзкое, схватило
облобызало и ушло?
О, молодое крокодилло!
Куда, куда ты укатилло!
Зачем, зачем ты улетело
и растворилося в дали?»

Не отрываясь от земли,
он шёл по улице, гуляя,
глазами томными стреляя
в различных вероятных дам,
и вдруг попал в одну мадам
(точней, конечно, сеньориту),
такую пышку и милашку,
такую пылку и ранимку,
наивную не по годам.

Она чуть ахнула как будто,
слегка раздетта и разбутта.
Он восхитительно встряхнул
и так доверчиво моргнул!..

Глядит: такая Бабадурра,
что просто шорты подери!
Такая бёдрая снаружи,
такая выдрая внутри!
У ней вот тут ну так прилично.
А там у ней ваще финал!
И в целом выглядит отлично.

И он тихонько засвистал
весьма лирическое что-то:
сперва бемоль, потом стаккато.

— Быдым-быдым! — она сказала.
— Четыре-пять, — ответил он.
И тут же искра пробежала
и полетел вечерний звон.

И он пропел ей ариозо,
что в сердце у него занозо,
и что занозо есть она!
И сразу сделалась весна!

Как сладко томное обнятье!
Как долог томный полецууй!
Какое щас те, щас те, нате!
А если нравится, танцууй!

А он танцууй-то был изрядный!
Шестилитровый и нарядный,
такой подвижный и родной,
какого нет ни у одной...

Ведь мужики такие гады,
чуть что, сейчас же норовят!
Одни хотят, но чтоб не замуж,
а эти выпьют и песец,
хоть поначалу — красавец,
Те до-минировать желают,
те фа-мажорствовать хотят,
и на футболы удирают,
и топят маленьких котят!..

А он прекрасный! Не такой!!
 Зачем же он взмахнул рукой,
 как ангел раненый — крылом?!
 Зачем он не вошёл к ней в дом
 и в нём навек не поселился?
 Зачем куда-то устремился?

— «Ах, где же ты, моё Марчелло!
 Куда ты нахрен улетелло?!
 Услышь меня, пропавший безвесть!
 Ведь без тебя житьё как известь,
 в которой тонет всё подряд
 и остаётся водород.
 Вернись, вернись, мой трубадуρο!
 Твоя навеки Бабадурра».

«Книга вам выслана...»

Видите ли вы слона
 в выражении «книга вам выслана»?
 Слышите ли вы слона?
 Трубит ли слон?
 Гудит ли?
 Сопит и топочет?

Не очень.
 Но он там есть.
 Слона там
 примерно четверть.
 Им, слонатам,
 слонопатам и слонопотатам,
 не понять, как идёт телеграмма,
 бандероль, открытка, посылка,
 что за книга едет в пакете
 и зачем эта почта на свете.

Но слонатам того и не надо.
 Им, слонатам, общественность рада —
 эндемический вид, рост и цвет,
 а уж вес!.. Эндемичнее некуда.
 Эндемична любая молекула —
 развесёлая, неисповедимая,
 бессистемная,
 непереводаемая.

Лучше уши заткнуть в глубине головы,
 чтоб не слышать ненужных созвучий
 непригодных,
 пригодных едва-едва
 на случай —
 один или два.

Вот слонаты и топают, как солдаты,
 уходя вереницей куда-то —
 в тёмный лес, где другие такие же,
 маршируют на месте, кружа, кружа,
 осыпаясь, как соль с ножа.

Валерий Бочков

Теннис по средам

рассказ

«...некоторые игроки жалуются на удары, которые выполняет соперник. Но как бы ни играл соперник, это его дело, пока он действует в пределах правил. Однако не унижайте слабого соперника излишней грациозностью своих ударов».

Из «Теннисного кодекса», Кембридж, 1912

— Три раза! — воскликнул Александр неожиданно громко. Очкастая мымра за соседним столиком вскинулась, поглядела на него, после на меня, брезгливо отпила кофе и снова уткнулась в журнал. Алекс смутился, подавшись ко мне, быстро зашептал:

— Впервые в жизни! Понимаешь! Три раза...

От него пахло пивом и цветочным мылом. Как от старшеклассницы на каникулах, подумал я. На лбу у него зрел прыщ, а волосы совсем поредели — он их зачесывал назад, туго и мокро. Ему казалось, что он похож на тех вальжных красавцев из черно-белого кино, в двубортных плечистых пиджаках. С сигаретой в зубах. Не похож. Тем более что он ни разу в жизни не курил, даже не пробовал.

— Утомонись, это все лирика, — строго сказал я, понимая, что именно сейчас мне нужно встать, наврать про неотложные дела и уйти. В противном случае мы от пива перейдем к скотчу, за полночь переползем в «Пять с Половиной», наутро я буду подыхать с похмелья и уже окончательно влипну в эту идиотскую историю. Где-то запиликал телефон, мымра оторвалась от журнала и, оглядевшись вокруг, с отвращением уставилась на меня.

— Расскажи все по порядку, — я отпил пива и вытер губы ладонью.

1

Александр был младше меня лет на пять, он всю жизнь занимался какой-то банковской нудьгой, последнюю человеческую книгу (не про сальдо-дебет-кредит) он прочел в школе. Единственное, что нас сближало, — мы оба русские. Хотя это тоже чушь — даже между собой мы обычно говорили на английском.

Об авторе | Валерий Бочков родился в 1956 году в Латвии. Профессиональный художник, основатель и креативный директор «The Val Bochkov Studio». Член Союза журналистов, горкома художников-графиков СССР. С 2000 года живет и работает в Вашингтоне, США. Рассказы публиковались в журналах «Волга», «Новая юность», «Слово /Word». Последняя публикация в «Знамени» — рассказ «Бросить курить» (№ 4, 2012).

Он был женат на Джил, русоволосой крепкой американке, с громким смехом и странной страстью к русскому конструктивизму. Пару лет назад она позвонила мне в галерею и сказала, что ее интересует Родченко. Она видела его на сайте: это «Добролет», черно-синий плакат с самолетом, но там почему-то нет цены. Поэтому и звонит. Плакат не продается, оттого и нет цены — ответил я. Есть отличный Мартынов, «Табактрест Украины», плакат редкий и в прекрасном состоянии. Или Алексей Михайлов, двадцать третий год, тоже про самолеты. Она громко хохотнула на том конце.

Джил, румяная с морозу, нагрелась на следующий день. Кончался февраль и зима напоследок продувала Манхэттен ледяными сквозняками. Джил дышала в красные ладони и бойко, почти без акцента, говорила по-русски, с толком вставляя матерные слова. Я сразу понял, что просто так от нее не отвертеться. Предложил Дейнеку, киношных Стенбергов — у меня их пять. Она смеялась:

— Кончайте пудрить мозг, Димитрий. Я хочу Родченко!

Потом сказала, что я должен посмотреть ее коллекцию. Именно должен. Я согласился, лишь бы отбояриться от нее. Коллекция оказалась по-любительски эклектичной, впрочем, ничего другого я не ожидал. Тогда я и познакомился с мужем. Алексом, Александром. Они жили на Парк-авеню с видом на статую Колумба и кусок Центрального парка. Родченко она у меня выцыганила к Пасхе. В нагрузку я ей всучил «Глаза Любви» Стенбергов, от которых давно и безуспешно пытался избавиться.

Джил была постарше Алекса. Они познакомились в Нью-Йоркском университете, он учился на экономике, она на международных отношениях. К тому времени Джил решила остепениться — разгон, который она взяла, вырвавшись из патриархального Вермонта, уже пугал ее саму.

Алекс оказался девственником. Многоопытную Джил поначалу это озадачило — все было, но только не это. Она решила действовать осторожно. Целомудренно натягивая простыню под подбородок, она сказала, что он у нее второй. На носу был диплом, предстояло искать работу, репутация из пустого звука неожиданно стала понятием почти материальным. Меньше всего ей хотелось возвращаться в Берлингтон, штат Вермонт. По ночам ей снились кошмары: бесконечные зеленые холмы, уходящие за горизонт, на них глупые пятнистые коровы, жующие траву.

Через три месяца Алекс сделал Джил предложение. На свадьбу приехали его родители из Москвы — отец, развеселый усатый банкир, похожий на подгулявшего мичмана, и кроткая, круглая мамаша. Алексу купили смокинг и золотые запонки в виде долларовых знаков. О загульной юности Джил он так никогда и не узнал.

2

По средам мы с Алексом играли в теннис, после заходили на час-полтора в «Сити-Гриль». Пили пиво, он пересказывал мне статьи из «Экономиста» или бизнес-секции «Нью-Йорк Таймс», говорил небрежно, стараясь выдать мысли журналистов за свои собственные умозаключения. Друзей у него не было, коллеги и клиенты не в счет. Отчего-то ему хотелось произвести на меня впечатление. Я не сопротивлялся. Тем более что мне все равно нужен партнер по теннису.

О Мэгги, младшей сестре Джил, я услышал в начале сентября. Она переехала из Лос-Анджелеса, устроилась в риелтерскую контору в Мидтауне, сняла квартиру где-то в Виллидж.

— Такие волосы, знаешь, вот досюда... Коричневые... — Алекс зашелкал пальцами, пытаясь найти слово. — Нет, как это называется?

— Шатенка?

— Не, цвет этот?

— Охра, сиена, умбра, марс коричневый, нет? Лесной орех, каштан?

Я не видел этой сестры, но скоро уже представлял ее в подробностях — Алекс говорил о ней каждую среду. Тонкое запястье, плавный жест, негромкий смех. Шоколадные волосы, что загораются рыжим от солнца, остроносые змеино-зеленые туфли. Тонкая бретелька, выглянувшая в распахнутом вороте, запах корицы и чего-то еще непередаваемого. Да, — родинка на ключице.

У Мэгги что-то не сложилось с замужеством, она сбежала чуть ли не из-под венца. Подробностей Алекс не знал, но драматичность калифорнийской истории явно добавляла сестре привлекательности. Хваткая Джил настойчиво опекала ее, Мэгги стала бывать на Парк-авеню через вечер. Втроем они ходили в рестораны, на вечеринки, в кино. Пили мартини в «Энигме», катались на великах по Центральному парку. Все втроем. Я уже знал, какой у этой Мэгги любимый цвет — бирюзовый. Знал, как она откидывает назад голову, когда смеется, — божественно. Что у нее нежнейшая кожа — матовая, а лодыжка стройней, чем у лани.

— Я — дрянь! Сволочь, мерзавец! Я ненавижу себя, понимаешь? Она мне мерещится везде: кассирша в магазине, мулатка, в профиль. Или та еврейка в офисе, я тебе говорил... Просто схожу с ума. Давай выпьем водки? — Алекс хотнул. — Вчера приехал к клиенту, секретарша заходит — бац! Мэгги! Я был уверен, что это Мэгги. Понимаешь, Димыч?

Водку пить я не хотел, заказал еще пива. Вечерний луч вонзился в шеренгу бутылок за спиной сонного бармена, алкогольная бурда радужно вспыхнула, превратясь в волшебные эликсиры. Я украдкой взглянул на часы, шесть.

— Не собираюсь учить тебя... — скучным голосом сказал я и тут же начал давать советы и говорить банальности.

Я думаю, что мои родители не изменяли друг другу. Почти уверен. Расспросить их об этом я не могу, их нет. Они не были святыми, просто вовремя исчезли. Тогда мне только исполнилось тринадцать. Сейчас я на десять лет старше своего отца. Ему было тридцать пять, матери тридцать два, машина перевернулась несколько раз, потом загорелась. Я случайно наткнулся на полицейские фотографии, с тех пор мне гораздо проще прислушиваться к советам того, кто сидит на моем левом плече. Аргументы его крылатого оппонента справа кажутся мне скучными и лишены здравого смысла.

Я не верю в супружескую верность. Не вижу логики. Изменяют все — если ты еще не изменил, то лишь из трусости, или из лени, или из страха сломать заведенный порядок вещей. Или просто не подвернулся случай. Не мелькнули волосы требуемой золотистости. Когда ты сидишь в баре, а хриплый Коэн бормочет из динамиков про венский вальс, и твой третий «манхэттен» постепенно обретает привкус надвигающегося чуда.

Среда. Алекс пнул сумку с ракетками под стол, жадно отпил полстакана, перевел дыхание, допил до конца. На губе белели тонкие усики пены. Щеголь с открытки. Сегодня он играл кое-как, продул три сета подряд. Если честно, он сильнее меня, особенно у сетки. У него мощная подача, которую я безуспешно пытаюсь копировать. Я сделал глоток, поставил стакан и расстегнул воротник. Я выиграл и был в прекрасном настроении, ему было плевать. На теннис, по крайней мере.

Он нервно пробарабанил ладонями по столу. Откинулся назад, зажмурился и тихо простонал, словно у него вдруг прихватило зуб.

— Что делать, что делать, Димыч, что делать? Вчера ужинали, за десертом она тронула меня под столом. Коленом, случайно.

— Случайно? — невинно спросил я. Он даже не обратил внимания.

— Я пулей выскочил в сортир, там пустил воду и бил кулаками в дверь, орал в зеркало. Я чокнулся! Я был готов наброситься на нее прямо там, завалить, растерзать, понимаешь? Эти пуговицы, крючки... Колготки зубами порвать. Понимаешь, прямо при Джил? На полу, на столе... Го-осподи!

Он снова зажмурился и застонал.

— У тебя пена, вытри, — сказал я. Он не понял.

— Что? — рассеянно спросил он.

— Рот вытри, — буркнул я и строго добавил: — И слушай сюда.

Алекс послушно придвинулся.

— Тебе нужно уехать. Прямо сейчас. Придумай себе командировку, отпуск — неважно. Немедленно.

Алекс растерянно моргал.

— Это как наркотик. После любого наркотика приходит отходняк. Если не сдох от передозы, чувствуешь себя как дерьмо...

— Да знаю, знаю, — замахал он руками. — Знаю я...

— Ни хера ты не знаешь! — заорал я. — Ты — дилетант! Сколько баб ты трахнул на этой неделе? Одну? А за сентябрь? Одну! А за год? Тоже одну. Одну, одну, одну! И это все та же Джил. Твоя жена. Ты — хронический семьянин!

Алекс жалобно глядел на меня, словно я пытал его щенка.

— Димыч, — он простонал. — Ну что мне делать? Вчера, там в сортире... да не смейся ты! — я понял вдруг... Понимаешь — бац! — как прозрение! Что готов все послать к черту, и Джил, и дом, и всю эту семейную канитель. К черту! Когда она рядом — меня как током прошибает, тыща вольт. Насквозь! Это такое ощущение... такое... — он сжал кулаки. — Будто и не жил до этого. Что вот только сейчас... Ну что ты ржешь, честное слово?

— Ну да, прав ты, тут плакать надо, — мрачно сказал я. — Тыща вольт...

Я допил пиво и уставился в окно. Ветер с реки рвал плащи и платья, трепал желтую рекламу скрипичного концерта. Желтый цвет может быть на редкость мерзким. Настроение у меня испортилось. Алекс проверял почту, шевеля губами. Я исподлобья разглядывал его — прозрение у него, будто и не жил до этого! Пытался вспомнить, испытывал ли я когда-нибудь чувство такой силы, ради которого был готов послать все к черту. Да и не важно — любовь это, страсть или похоть, — не в этом дело! Я завидовал силе этого чувства. Куражу и безумию в тыщу вольт.

3

В базилике Нотр-Дам в Лионе есть любопытные мозаики — Семь смертных грехов. Блуд, грех номер пять, если считать от западного портика, изображен там в виде то ли козла, то ли барана. Мне, рожденному в середине апреля, такие намеки кажутся необоснованными.

Я только проснулся, бродил по кухне, ожидая, когда заварится кофе. Вместо кофеварки запиликал телефон.

— Мне вас рекомендовали, как специалиста по русскому конструктивизму. Голос в трубке звучал совсем молодо.

— Вы студентка, диплом пишете?

Она смутилась.

— Нет, я журналист. Статью для «Арт-Ревью» готовлю. Мне рекомендовали...

Я уловил акцент, верней даже не акцент — интонацию.

— Вы русская?

Мы сидели в баре «Хилтона» — идеальное место для бесед с клиентами. Вокруг росли пальмы в циклопических кувшинах, рядом плескалась голубая вода. Что-то вроде искусственного ручья, огибавшего с двух сторон остров с роялем.

Пианист, с башмаками подмышкой, засучив штаны, идет вброд к инструменту. Она засмеялась. Нет, вон там мостик, вам не видно.

Какой хороший смех. И имя замечательное — Катя. От своего любимого Родченко я перешел к Левому Фронту, к нападкам ортодоксальных марксистов на Маяковского и его теорию универсальной рекламы. Потом перескочил на Лилю Брик. Я говорил не переставая уже часа два.

— А Мандельштам — это кто? — Катя давно выключила диктофон, на блокноте стоял стакан с мохито. Она выудила зеленый лист мяты, облизнула. Я закашлялся.

Это ее первая работа, первая настоящая после колледжа. Она очень благодарна, обязательно упомянет меня в статье. И что без моей помощи...

Я тронул пальцами ее руку, она запнулась. Сразу засобиралась, торопливо, словно опаздывая.

Вьждал два дня. Сидя перед экраном, вертел в руках ее визитку. Звонить не стал, написал вежливо-нейтральное письмо. Перечитал, поморщился. Уже почти решил стереть, но вместо этого кликнул «отправить». Она позвонила сразу, словно между кнопкой на клавиатуре и телефоном существовала прямая связь.

Мы бродили вдоль парка, сидели в темном баре, было шумно, нам удалосьвтиснуться за стойку. Мое колено упиралось ей в бедро, от нее пахло лимоном, мы пили джин-тоник. Она сказала, что у нее кто-то есть, там — в Пенсильвании, зовут Джастин. Она махнула в сторону Гудзона. Там океан, подумал я, детей совершенно уже не учат географии, Пенсильвания гораздо южнее. Она сказала, ей двадцать два. Я сделал арифметические вычисления. Она добавила, что, если б не ее Джастин, этот вечер можно назвать идеальным свиданием.

Мне пора, сказал я, соврал про дела, которые непременно нужно закончить.

Поймал ей такси, распахнул дверь. Она кинула сумку на сиденье, растерянно повернулась.

Я придержал ее за локоть, спросил, словно извиняясь:

— Можно тебя поцеловать.

Она подставила губы. Лимон, можжевельник, что-то еще, похожее на карамельные ириски.

В среду Алекс не появился. Я проверил почту, даже спам — ничего. Я не спеша завязывал шнурки, поглядывая на вход в раздевалку. Почти пять. Я пожал плечами, отправился на корт. Сыграл пару сетов с бодрим пенсионером, он громко топал изумительно-белыми тапками, гоняясь за моими мячами. После душа набрал номер Алекса. Мобильный сразу скинул на автоответчик. Домой звонить я не стал, разговаривать с Джил не хотелось.

Вышел на улицу, побродил у входа. Обычно в такие моменты люди закуривают — и ситуация сразу обретает некий смысл. Я бросил лет десять назад. Снова достал телефон: от Алекса ничего, зато появился текст от Кати с кучей скобок. Я за всю компьютерную жизнь не поставил ни одного смайлика.

— Только не вздумай ей звонить! — строго приказал я себе. Тетка с такой подозрительно покосилась на меня, такса юрко ткнулась мне в ботинок, фыркнула. Я присел, почесал толстые, теплые складки, такса шершаво лизнула мне руку и засеменяла дальше, весело помахивая хвостом.

— Только не вздумай звонить! — повторил я с угрозой. И тут же, сидя на корточках, набрал ее номер.

Мы сидели за столиком в углу. Тот же бар, но сегодня было тихо. Мы почти не говорили, она осторожно перебирала орешки в плошке, разглядывая их, словно мелкие бриллианты. Я наклонился и поцеловал ее. Кто-то включил Коэна,

старый хрипатый еврей сказал, что он тоже хотел, как лучше, увы, не получилось. Он тоже не умел чувствовать, поэтому учился трогать. И пусть в конце концов все пошло наперекосяк, он не жалеет ни о чем.

На улице был уже вечер. Ветер растрепал ее волосы, она ойкнула и засмеялась. Дверь за нами хлопнула, я приподнял Катю и прижал к стене. Она по-девчоночьи вцепилась в меня, жадно обхватила ногами. Она не весила ничего. По дороге к ней нас чуть не сбило такси, мы хохотали, словно ничего смешней на свете быть не может. Потом в темноте квартиры, сшибая стулья, мы рухнули на диван. Из черноты весело отозвалась посуда.

Она позвонила на следующий день. Я не взял трубку и сразу выключил телефон. К полуночи она позвонила семнадцать раз. Утром я отправил ей текст, предложил встретиться через час у северного входа в парк. Я очень надеялся, что она не придет.

— Ну зачем, зачем ты это делаешь?! — Катя цеплялась мне в куртку, словно хотела оторвать воротник. — Зачем?

Она сразу начала плакать, мне стало совсем тошно.

— Я думала... Думала, что ты... — она всхлипывала, терла мокрые глаза. — А ты, бесчувственная... сволочь.

Сволочь, все верно. Я молчал, мне хотелось удавиться. Она в два раза моложе, совсем девчонка. Все заживет. Ничего, ничего. У нее Джастин в Пенсильвании, все будет нормально.

— Ну ты можешь хоть что-то сказать? — она кричала, прохожие оглядывались на нас. Я, очевидно, выглядел законченным мерзавцем.

Сказать мне было нечего, да и что тут говорить?

Что я потерял родителей, когда мне было тринадцать? Что они сгорели живо? Что те полицейские фотографии всю жизнь стоят перед моими глазами, как задник в бесконечном спектакле? Что больше всего на свете я боюсь снова пережить эту боль? Что я не завожу даже собаку, потому что боюсь, что она смертельно заболит или попадет под машину? И всякий раз, когда в моей жизни появляется кто-то, это превращается в пытку, потому что каждую минуту в моем сознании прокручивается бесконечное кино с разбитыми автомобилями, летящими в шахту лифтами, падающими строительными лесами, самолетами, входящими в пике, нагромождением искореженных вагонов, забытым газом, свечкой у занавески.

Что тут говорить?

4

— Расскажи все по порядку, — я отпил пива и вытер губы ладонью.

Алекс сиял: волосы — тугой, мокрый зачес, сумасшедшие глаза, прыщ на лбу.

— Димыч! Господи, я не знаю как! — он вскрикивал, дергался, словно собирался вскочить и бежать. — Божественно — вот как! Вот как!

Он засмеялся и помахал мымре за соседним столиком. Та фыркнула и загордилась журналом. Последний «Нью-Йоркер», с павлином на обложке.

— Мэгги позвонила, я поехал. Думал — инфаркт хватит. Руки — вот так, ходуном. Я ей соврал на той неделе, что, мол, клиенту нужен маленький офис, в Мидтауне. Мэгги сказала, что посмотрит. Вот звонит... Мэгги... — он допил пиво, словно умирал от жажды.

Вытянул шею, выискивая официанта. Бледная брюнетка в траурном макияже принесла стакан, поставила перед Алексом. Вопросительно поглядела на меня. Я помотал головой. В ноздре у нее было стальное кольцо, еще несколько в ушах, татуировок я не увидел, но был уверен, что все белое тело покрыто кельтской вязью и зубастыми драконами.

— Квартира, короче, на Сорок Второй... Я отпустил шофера. Мэгги меня ждет у подъезда... Швейцар, мрамор в холле, колонны. В лифте я вспотел, ду- мал, сдохну. Мэгги открывает дверь, заходим. Там три комнаты, в окно «Крайс- лер» видно... Мэгги показывает, смеется. И я чувствую, Димыч, чувствую, что она ждет. Понимаешь, ждет! А сам думаю, господи, господи, как же, ведь я не знаю как! Тут она говорит, вот там душ, а тут — ванная. И открывает дверь. Входит, я за ней. И тут она сама, представляешь, сама! Прямо в ванной. Господи! Потом на полу, потом на кухне... Три раза... Понимаешь? Первый раз в жизни!

Он сделал глоток и повторил:

— Первый раз...

— Ну и что теперь?

Он посмотрел на меня, моргнул и тихо ответил:

— Не знаю.

Я поглядел на прыщ, редеющие волосы, мне стало жаль его. Было еще под- ленькое злорадство, что это не со мной. И что я его предупреждал. Мудрый, стар- ший товарищ.

— А что эта твоя Мэгги говорит? — имя я произнес чуть пренебрежительно, он не заметил.

— Она потрясающая! Потрясающая! Она тоже, как я, говорит, это безумие... И что та — ее сестра, но все равно, гори все огнем! Это невозможно описать, губы, руки... нет! Три раза подряд! Представляешь?

Алекс издал какой-то рычащий звук.

Я подумал, что если до сорока жить с одной бабой, то любая Мэгги покажет- ся пиком совершенства. Тем более, сбежавшая из-под венца младшая сестра жены. Тут, пожалуй, любой зарычит. Даже такой травоядный, как этот.

Мои родители разбились на Первом шоссе. Они выехали из Сан-Францис- ко, остановились перекусить в Кармеле около полудня. Они ехали в Биг Сур. Когда я получил права, я полетел в Калифорнию, взял напрокат дешевый «Форд». Я нашел то место. Их машина перевернулась, пробила ограждение. Там крутой спуск, дальше обрыв, внизу океан. Машина на боку сползла к обрыву, но застря- ла между двух камней. Когда вспыхнул бензин, родители еще были живы. Так сказали в полиции.

Я стоял на обочине, смотрел вниз. На те два валуна, что могли спасти им жизнь. Их бока были черными. Я перелез через барьер, я не мог поверить, что за пять лет дожди не смыли копать. Это была не копать, камень почернел от огня. Местами оплавился, стал скользким, как стекло. Я царапал, пока не сломал но- готь. Потом сидел и плакал, потом пошел дождь. Кто-то вызвал полицию.

Когда я вернулся в Нью-Йорк, в кармане штанов обнаружил гладкий каму- шек, идеально круглый и похожий на солодовую ириску, с запахом микстуры от кашля, которую мне прописывали в детстве. Я совершенно не помню, как ка-мень очутился в моих джинсах.

Мои опасения оправдались наполовину: мы действительно перешли к скот- чу, но до «Пяти с Половиной» дело не дошло. Около восьми Алексу позвонила Мэгги, и он умчался, забыв заплатить свою долю. А я даже не успел съязвить насчет старшей сестры. Пить больше не стоило, но я заказал еще — одиночество навалилось так внезапно, что я растерялся.

Сумрачная брюнетка с кольцом в носу принесла скотч, поставила. У нее были сбриты брови, а на их месте нарисованы тонкие черные дуги. Она безразлично спросила, не хочу ли я сэндвич.

Я не знал, что ответить, мне было не до сэндвича. В этот момент я понял, что загнал себя в ловушку: убежал Алекс, деляга и невежда, человек, которого я презирал, презирал его инфантильность, его пошлость, дурной вкус, тягу к по-

брякушкам и мишуре. Если бы кто-нибудь назвал нас друзьями, я бы рассмеялся. Он унесся к своей Мэгги, а мне стало тоскливо, словно ушел близкий человек. Он — никто, знакомый. У нас нет ничего общего. Почти ничего. Откуда эта пустота?

Официантка лениво разглядывала меня, наверное, гадая, как это мне удалось так наклюкаться. Я извинился, сказал, у моего товарища несчастье, я никак не могу прийти в себя. Переживаю.

— Да? — удивилась она, сунув ладони в карманы невероятно тугих штанов. — Такой веселый. С виду...

— Он просто не знает пока.

Она задумалась, свела нарисованные дуги.

— Как там насчет сэндвича? — спросил я и улыбнулся. — Какие рекомендации?

Никаких татуировок не оказалось, Кэрол призналась, что страшно боится боли. Она сразу заснула, раскинув руки и выпятив бритый лобок. Лежала бледная, белей моих простыней и подушек. Я тихо встал, забрел на кухню, выпил залпом банку ледяной колы. Постоял у окна, глядя на мигающие желтым светом форы. Два ночи. Я раньше не замечал, что в коридоре так скрипит паркет. В кабинете нашел толстый плед, накрывшись с головой, заснул на диване.

5

Кончился октябрь, незаметно в Нью-Йорк вполз промозглый ноябрь. Каждую осень даю себе слово смыться до Рождества, каждый раз торчу здесь. Простужаюсь, матерю сквозняки и снежную жижу под ногами, свинцовое небо, которое можно достать рукой, прямолинейность архитектуры Манхэттена с продувными ветрами. Каждый раз нахожу неотложные дела и никуда не еду. Лень, скорее всего. Впрочем, на этот раз подвернулось кое-что действительно увлекательное.

С утра получил текст от Алекса. Пять слов, три опечатки: срочно нужно встретиться, очень важно.

— Ну вот, — пробормотал я. — Началось...

Звонить ему я не стал, отправил текст. Пальцы тыкали не туда, от спешки руки дрожали. Черт с ним, поймет, исправлять не стал.

По привычке прихватил ракетку, хотя знал, что играть не буду. Среда — условный рефлекс.

С реки дул сырой ветер. Задержался у кортов, там два маньяка — один потный, в трусах и майке, другой — в русской шапке-ушанке и меховых перчатках, — носились взад и вперед, лупили так, словно хотели убить друг друга. Я поежился и пошел в «Сити-Гриль». Надеялся не застать Кэрол, но сразу столкнулся с ней у входа. Она нахмурила нарисованные дуги, поджала лиловые губы.

— Уезжал? — равнодушно спросила она, держа наготове блокнот. — Что будем пить-есть?

Я поглядел на фиолетовые ногти, длинные и острые.

— На аукцион... в Чикаго ездил... — соврал я.

— А-а, это тот город, где нет телефонной связи...

Обжигая губы, пил чай с лимоном. Добавлял туда ром. Сел у стены, справа окно, напротив вход. Как в вестерне — все под контролем, все простреливается. Впрочем, травоядные не стреляют, они выясняют отношения — так это, кажется, у них называется.

В окне сновали макушки и шляпы, потом раскрылись и заплясали мокрые зонтики. Вдали темнела вода залива, статуя Свободы факелом цеплялась за мох-

натую серую мерзость, которая ползла с севера. Раскрыл газету, несколько раз перечитал один абзац. Как по-китайски, ничего не понял. Плюнул, начал просто перелистывать страницы, поглядывая то на дверь, то в окно.

Алекс появился на десять минут раньше условленного.

— Ты здесь уже... — досаду скрыть не удалось. — Чайком балуемся?

Он сел напротив, шлепнул перчатки на стол. С грохотом отодвинул стул, развалился, закинул ногу на ногу. Заказал двойную «Столичную». Когда принесли водку, он сразу отпил половину.

Я никогда не обращал внимания, какого цвета у него глаза. Карие. Он смотрел сквозь меня, сквозь стену. Глаза казались неживыми. Он зачем-то громко хлопнул в ладоши и засмеялся. От рома у меня поплыла голова, происходящее стало напоминать скверный сон. Знает или нет? Я надеялся, что она ничего не сказала.

Алекс допил водку, стукнул стаканом. Посетителей было мало, но все, кто был, сразу посмотрели на нас. Мне стало стыдно за него, за себя, за то, что я здесь с ним. Ведь мог же просто не ответить, ведь мог! Нет, потащился...

— Короче, ты прав оказался, Дмитрий, — он сказал так, словно завершал какой-то монолог. И снова хлопнул в ладоши.

— Что? — сипло спросил я и обрадовался — не сказала!

— Суки они, вот что! Суки! — он засмеялся, резко и истерично, будто залаял.

Я сунул руки в карманы, придумывая, что сказать. Как повернуть разговор, чтоб спустить всю эту беду на тормозах. С наименьшими разрушениями.

— Ошибка! Представляешь? Ошибка, твою мать! — он замотал головой. — Так и сказала — ошибка.

— Кто?

— Целый месяц и две недели! И все ошибка. Как это? Я жену, дом, семью на хер послал ради нее, а она — ошибка. Димыч, ты не представляешь, сколько я потратил. Мы в Вегас летали, я конторский «Гольфстрим» брал, наврал, важный клиент.

— А Джил? — я спросил, чтоб не молчать.

— В Вегас! — заорал он. — Хочешь кольцо? Двенадцать тысяч? Пожалуйста! Я за один ужин в «Россо» полторы штуки выложил. На двоих, представляешь? Лобстеры с икрой, твою мать... Икра осетровая...

Он выдохнул и устало добавил:

— Да и хрен с ним, с деньгами. Не в этом дело... Я ее прижал когда, она призналась, короче... — Алекс взъерошил волосы. — Короче... Она с кем-то спуталась. Со мной и с... ним. Понимаешь? Одновременно.

Я облегченно кивнул, мол, чего тут не понять.

Он заказал еще водки, молча пил, глядя в пол. Я сидел тихо, надеясь, что он выдохся и это конец. Мы молчали минут двадцать, потом он выцедил остатки, запрокинув голову и выставив кадык. На шее краснел свежий порез, я всегда почему-то думал, что Алекс бреется электробритвой.

Он поставил пустой стакан, двинул его пальцем. Словно мы играли в шахматы.

— Вот... — тихо сказал он.

Устало встал и пошел к выходу. На столе остались перчатки, я хотел окликнуть его, но передумал. Хлопнула дверь. Я повернулся к окну, ожидая увидеть его макушку, но в это время с улицы раздался глухой удар, скрип тормозов. Кто-то завизжал. Официанты заспешили к дверям, распахнули, потянуло сырým холодом. Меня пробил озноб. К столу подошла Кэрл, у нее тряслись губы. Она хотела что-то сказать, но, увидев перчатки, осеклась. На улице уже выли сирены, кто-то с бруклинским акцентом грубо командовал, приказывая всем очистить проезжую часть и отступить за линию ограждения.

6

Черный костюм неожиданно оказался мал. Я выдохнул, застегнул брюки. Натянул пиджак, он жал подмышками и был тесен в плечах. Подвигал локтями, словно куда-то продирался, — жмет. Подошел к зеркалу, белые манжеты торчали из рукавов, я одернул лацканы, полы. Пиджак длиннее не стал.

— От долгов в таком бегать, — пробормотал я, вдруг вспомнив материнскую присказку. Взял со стола фотографию, родители снялись на какой-то вечеринке. За год до аварии. Отец чуть улыбался и внимательно смотрел куда-то в сторону, словно там происходило нечто важное, мать смеялась и глядела прямо в камеру. Это звучит банально, но она действительно была красивой.

Я приблизился к зеркалу, потрогал морщины на лбу, у губ. Посмотрел в глаза. Люди на фото выглядели моложе меня. Они выглядели гораздо счастливей.

— Спасибо, — прошептала Джил, когда я выражал соболезнования и клевал ее в щеку. — Ты скажешь что-нибудь?

— Нет, пожалуйста, нет. Я не умею, пожалуйста, — пробормотал я.

На Джил была черная шляпа с вуалью, я чуть не ляпнул, что ей очень идет. Наверное, нужно было принести цветы, с досадой подумал я, разглядывая зал. Вдали стоял гроб, сбоку, на деревянной треноге, черно-белое фото. Рядом ваза с цветами. Лилии, догадался я, удушливый запах дополз до дверей. Я протиснулся в угол, сел. Разглядывая незнакомых людей, я почувствовал, что промочил ноги. Тоскливая музыка — орган со скрипками — вдруг оборвалась, сразу стало слышно шарканье и шепоты, кто-то натужно закашлялся. Тут же мелкое покашливание рассыпалось по залу. Чертов ноябрь, подумал я и тоже прокашлялся. На кафедре, за гробом, появился некто в белой манишке и с бледной лысиной. Он заговорил в микрофон протяжно и благостно. Какие-то церковные тексты, их смысл ускользал от меня. А может, его там и не было. Среди затылков и дамских шляп я пытался отыскать Мэгги. Неожиданно запел хор, детские чистые голоса. Дети стояли в нише у кафедры, я их даже не заметил.

Я старался не смотреть на фото, ретушер перестарался и здорово польстил Алексу. Там он выглядел именно так, как ему всегда хотелось: прищур, зачес, улыбка. Кларк Гейбл и Кэрри Грант. Я вспомнил прыщ и пену на губе.

Говорил кто-то из банка. Он перечислял титулы и заслуги, словно это имело значение для того, кто лежал в красивом, полированном ящике с медными ручками. Я с удивлением узнал, что Алекс дослужился до вице-президента и возглавлял департамент по связям с клиентами.

Потом произошла какая-то заминка, Джил вывела на кафедру плотного старика с моржовыми усами. У меня вспотели ладони, я догадался, что это отец Алекса. Он говорил по-русски, Джил переводила. У него был южный, почти украинский выговор. Я вдруг вспомнил, что у Алекса был похожий, когда мы разговаривали на русском. Я всегда думал, он так дурачится.

Неожиданно я услышал свое имя. Его произнесла Джил. Она кивнула мне и, придерживая старика за локоть, уже спускалась в зал. Выбираясь, я зацепился и чуть не упал. Ноги ступали как-то не так, от цветочной вони мне казалось, что меня сейчас вырвет, хоть я ничего не ел с утра. Я обошел гроб, стараясь не подходить близко, я задержал дыхание, а когда вынужден был вдохнуть, явно уловил приторный запах. Протиснулся рядом с хором — пять подростков: четыре девочки, все черные, худые и голенастые, и один парень, рыжий и толстый.

Я зачем-то поправил микрофон. Внизу белели лица, все смотрели на меня.

— Он... — я начал и неожиданно понял, что не могу произнести вслух имя Алекса. Что-то почти физически не давало мне это сделать. Я замаялся, достал платок, вытер лицо.

— Он... — повторил я. — Был моим другом...

Проснулся от утреннего солнца, по-летнему теплого и яркого. Не помню, что снилось, но проснулся я в отличном настроении. Открыл глаза. По полу вытягивались длинные тени, в полосах света искрилась пыль. На стену заползал треугольник света, он делил по диагонали «Кино-Глаз», может, мрачноватый для спальни, но один из моих любимых плакатов Родченко.

Вспомнил вчерашний день. Думаю, мое сознание не смогло переварить бредовости происходящего и вытеснило информацию в тот дальний чулан мозга, где покоится мусор от просмотренных фильмов ужасов, кадров с кровавых мест преступлений, хроники землетрясений, цунами и геноцида.

Отчетливо помню шок, когда я понял, что гроб сожгут прямо здесь и сейчас. Служители проворно убрали цветы, снова завьили орган и скрипки. Гроб вздрогнул и стал медленно опускаться вместе с подиумом. Музыка сделали громче, наверное, чтоб заглушить шум механизмов. Я расслышал звук, похожий на щелчки старой лебедки, в моем прежнем доме так работал лифт. Гроб исчез, на его месте чернела прямоугольная дыра в полу. Потом оттуда поднялся пустой подиум.

На улице я оказался под одним зонтом с Джил. Лил дождь. К нам подходили, я без конца пожимал руки, кивал, что-то бормотал. Я пытался разглядеть трубу и дым, но мы стояли слишком близко к зданию. Джил сказала, что нужно дождаться урны с прахом, я покорно согласился. Я думал, будет что-то вроде античной вазы, мрачной и строгой. Нам вынесли коробку с бантами, похожую на рождественский подарок. В лимузине мы ехали молча, коробка стояла между нами, Джил придерживала ее рукой. На всякий случай.

В лифте я спросил про сестру. Джил сказала, что Мэгги лежит с жутким гриппом, температура под сорок. Двери в их квартиру были распахнуты настежь. На створках висели черные банты. По комнатам хмуро бродили гости, бесшумно скользили официанты.

На поминках меня вырвало: мне налили водки, я сделал глоток и едва успел добежать до уборной. Больше я не пил, а по пути домой заснул в такси.

Солнце сползло с Родченко, я наконец собрался с силами и поплелся в ванную. Затрещал домофон. Со щеткой во рту, капая белыми кляксами на паркет, я нажал кнопку:

— Х-кто?

— К вам посетитель, — раздался официальный баритон консьержа, — госпожа... извините, как? — на том конце происходил диалог. — Госпожа... Гордиенко.

Я натянул халат, пытался отыскать тапки. В дверь постучали.

— Открыто! — крикнул я.

На пороге стояла Джил, в руке два картонных стакана.

Быстро вошла, бросила сумку в угол, громко стуча каблуками, прошла в комнату. Запахло кофе. Я сделал глоток, сел напротив в кресло. Было видно, что Джил вымоталась, лицо осунулось, в глазах появилось что-то злое. Мне не приходилось иметь дело со вдовами, я пил кофе мелкими глотками, бесконечно запахивал и поправлял халат.

Она встала, прошла к окну.

— Я говорила с Дугласом, — не поворачиваясь, сказала она, — Дуглас предупредил, что они попытаются отбить страховку.

— Что? Кто? — я не понял ничего. — Какой Дуглас?

— Наш... Мой юрист, — Джил повернулась. Лица я не видел, лишь контур и сияние. — Страховая компания хочет квалифицировать смерть, как самоубийство.

Она так и сказала — «квалифицировать».

Я поежился, по полу дуло, тапки я так и не нашел.

— Дуглас сказал, что тебя непременно будут мурьжить. Ты был последним, кто... — она замялась, подбирая слова. — Последний, с кем он...

— Ну и что? При чем тут я?

— Ты? Ты ни при чем. Будут вынюхивать, о чем вы говорили, какое у него настроение было, что и сколько пили, понимаешь?

Я кивнул. У меня началась изжога. Я поставил картонный стакан на пол.

— Дуглас тебе позвонит, — Джил поставила свой стакан на стол. — Окей?

Она подошла, провела пятерней по моей макушке, взлохматила волосы. Села рядом, притянула к себе.

— О чем вы там говорили? — тихо спросила она. От нее горьковато пахло кофе.

Я пожал плечами, хмыкнул.

— Он про нас не догадывался? Ничего не говорил тебе? — Джил ткнула носом мне в щеку.

Я помотал головой.

— Уверен? — спросила она. Потом выдохнула со взхлипом: — Господи, как же я устала! Если б ты знал. Если б ты только знал.

В спальне она запуталась с застежкой, повернулась ко мне спиной. Я расстегнул. На гладких плечах у нее пестрели конопушки. Она стянула юбку через голову, почему-то осталась в колготах и высоких сапогах. Запиликал мой телефон. Я, путаясь в халате, перескочил через кровать. На дисплее зажглось имя. Опередив автоответчик, схватил трубку.

— Да! — громко сказал я.

Джил бросила сапоги на пол, на цыпочках прошла к зеркалу, подняла руки, потянулась. Втянув живот, посмотрела на меня через плечо.

— Да, конечно. Буду в три, — я кивнул головой, добавил: — Хорошо, захвачу. Да, непременно.

Джил подошла ко мне. Я быстро нажал отбой. Джил молча смотрела мне в глаза, чуть исподлобья, не то зло, не то с насмешкой.

— Клиент... — непроизвольно начал я. — Там интересный Михайлов и Клуцис... Надо посмотреть...

Джил молча кивнула, медленно села на кровать. Тихо сказала по-русски:

— Димитрий, кончайте пудрить мозг.

Ласково улыбаясь, перешла на английский:

— Твой клиент, кстати, неплохо играет в теннис. Второе место на юниорском кубке в Сан-Диего. Не думаю, что это твой уровень, но тебе ведь надо с кем-то играть в теннис. По средам.

Я положил трубку, сел на край кровати. С фотографии мне улыбалась мать, отец смотрел куда-то в сторону. Рядом лежал круглый камушек, похожий на соловодую ириску. Придерживая халат, я дотянулся до фотографии и перевернул ее лицом вниз.

Вирджиния, 2012

Ростислав Амелин

Натура натуре

* * *

вот они, наши места

простые

стулья, расставленные вокруг
стола, голубой огонек в экране
раннее утро, снежное на стекле
окна, потолок в облупках, весь
от искорок золотой

простые

стулья, расставленные вокруг
телевизора, капли стекают и
падают на подоконник, вечер
серый от облаков, царит
ранняя осень

простые стулья

стоят, расставленные вокруг
стола и тела меж кубков, от
искорок золотых, облупки
сыпятся с потолка, что снег, и
кажется, не подняться

солнце

падает на подоконник, свет
неотразимый, предпоследний
голубой огонь, а со стульев лень
подняться, холодно, и земля

мешает

* * *

интересно узнать, как часто, копая землю
чтобы зарыть, приходится отдыхать
перекусить, посыпать огурчик солью
достать помидоры, налить воды
из банки, закрыть её, завернуть

как часто, чтобы зарыть
приходится спать, под кронами яблонь
взглянув на часы, положить обратно
в рюкзак, под голову положив, заснуть

Об авторе | Ростислав Амелин родился в 1993 году в Курске, учится в Литературном институте на отделении художественного перевода. Лонг-лист премии «Дебют» (2013). Участник Форума молодых писателей в Липках-2013 (семинар поэзии журнала «Знамя»). Первая публикация стихов в «толстом» журнале.

мне нужно узнать, как хочется жить, пока что
ничто не зарыто, никто не зарыт, пока
приходится там ночевать, питаться
яйцами с майонезом, копая сухую землю

чтобы зарыть, мне нужно узнать, как часто
всё это повторять, омываться в речке
что нужно думать, как правильно распределить
вес по лопате, закапывая обратно

* * *

гляди, вон там, внизу
под этим глуповатым паром
танцуют атомы по парам
и усложняются в росу

ещё тут отливают снег
в голубоватых кубках этих
такие штуки на мечетях
на всех

в растворе из вот этой вот эмали
два полушария земли
пока их склеить не могли
до склеивания лежали

в начале склеили, а после обожгли

все это бусины, и каждая блестит
как бы хрусталь, оставленный в пожаре
но электрическая в каждом шаре
душа что ли гудит
и страшно им, и каждой нужно друга
как вам и мне
и каждому, земле, мячу, луне
капусте, помидору на окне
любому завершившемуся кругу
и шарик, и каждой из планет
и даже целому шару небосвода

чем больше связь, тем больше и свобода
а бога нет

* * *

ступая по льду, хрупкому за рассветом
карканьем обозначенным, что ещё
думая, приготовлено на день, глядя
на отражение

ад, в бесконечной выси
над головами

простой, неприкрытый ад
температур, зашкаливающе низких и
высоких, что плавают атом

печи
как будто звёзды, на небесах горят
бесчисленные, не дай вам боже
неба

сжигающего
смотреть и не трогать, не
стоит продолжать

* * *

им оставили только тело, жить
чтобы могли, остальное в печи
как они смешны теперь, без своих
электронных крыльев, железных
глаз, как они летали, теперь лежат
точно так же, гордые, но смешные
как больные голуби это так
удивительно кто бы мог подумать
неожиданный сбой программы по
улучшению каждый раз так, но
что за птичий крик
это кто-то спит
а во сне летит
изолировать
изучить

Ужин

она отламывала горячего хлеба, макала
в сыр с маслом и зеленью, клала в рот
*почему не ешь, ты же знаешь, мне бы
только знать что сытый, и я спокойна
ты какой-то странный сегодня, Лот*

она мыла инжир, выкладывала на блюде
вытирала стол от липкого, от вчера
золотые руки, чистые, а в посуде
отражалась тёрна сиреневая кожура
*а возьми хурму, сладкая, глянь-ка, вся
налитая, не раскисла, из погреба спасена
я помыла, свеженькая как святая*

изнутри как будто бы, запятая, светом озарена
она чистила вареные яйца, резала их на дольки
разложивши солнцем, белым и золотым, солью
посыпала для вкуса, обильно, *только
погляди, Лот, а солнце уже садится
и как яблоко красное стало за этот день
ты поешь наконец, так сочны эти наши птицы
жареными, и попей, хороша холодненькая водица
только сам возьми, у меня все руки жирные*

а позади него дом, погреб, вино в пакете
жена его, килограмм соли на голове
две собаки, козы, куры, коровы, дети
мандарины, персики, яблоки все на свете
винограда усики, цветики на окне, всё течет

*подумаешь, всё меняется на сырой планете
а уже ни усиков, ни цветиков на окне*

Александр Котюсов

Место в вагоне определяет проводник

рассказ

— Ты приедешь ко мне в гости когда-нибудь, а? — басит нараспев мой кировский товарищ Пашка в телефонную трубку.

Вятский забавный говорок приятно щекотит ухо и веселит.

— Тут ехать-то, понимаешь, ночь одну... купил, сел, выпил, заснул, проснулся, приехал, — льется Пашкина речь, — давай уж, этова, как раз сейчас лето, тепло, а то зимой мороз. У нас север все-таки. Ну, приедешь? Я тебя сколько лет зову? А...

— Пять, — загибаю я по очереди пальцы.

— Вот, — чувствую, как Пашка разводит руками, рубит воздух правой, в левой трубка, — раз в пять-то лет можно, чай, приехать, знаешь...

Как время бежит, две тысячи первый год на дворе, с прошлого века, считай, знакомы.

Купил, сел, выпил, заснул, проснулся, приехал.

Первых два действия выполнил легко. Третьим решил пренебречь. То есть не выпил. А зря. Друзей слушать надо. Думал, действий меньше, приеду быстрее. Нет. Без «выпил» дольше. Потому что между «заснул» и «проснулся» целая ночь.

Два билета. Один туда, второй обратно. Туда пятый вагон, седьмое место. Обратно третий вагон. А место...

— А место? — спрашиваю я в кассе.

— Место в вагоне определяет проводник, — сипит старый динамик над ухом. — В билете написано. Читайте билет внимательней. Там же по-русски всё. Для таких, как вы, и пишут.

Динамик сокрушенно вздыхает: эх...

Я думал, читать можно только книги. Еще газеты. Ошибался.

Вагон старый, скрипит, качает всех по трем осям, каждый стык чувствует колесом, спотыкается. Трогается, вроде, мягко, а вагоны друг за другом — тых,

Об авторе | Александр Николаевич Котюсов родился в 1965 году в Нижнем Новгороде. По образованию физик. Кандидат физико-математических наук. Работал в НИИ, опубликовал ряд научных работ в российских и зарубежных журналах. С 1992 года пресс-секретарь губернатора Нижегородской области, первый заместитель председателя Госкомитета по поддержке и развитию малого предпринимательства, руководитель аппарата первого вице-преьера РФ, руководитель аппарата фракции СПС в Государственной думе, депутат Государственной думы (третьего созыва). В настоящее время занимается бизнесом — президент группы ресторанных компаний «Пир».

Публикует прозу с 2010 года. Рассказы печатались в журналах «Нева», «Знамя», «День и ночь», «Сибирские огни» и др. Живет в Нижнем Новгороде.

тых, тых. Последний словно с корнем от рельс отрывается — присох, приварился, прилип. Бах... и толчок, плечом о стенку.

По вагону бродит кто-то, шумит, дверями хлопает.

— Пиво, чипсы, орешки... пиво, чипсы, орешки, — как мантра дорожная, речевка РЖД.

И еще:

— Кофе, чай, фанга... кофе, чай, фанга.

Чай!

Слово знакомое, вятское. Давай сюда чай. Выпил. Стакан в подстаканнике. На стол его. Пустой. Ложечку внутрь. Лег.

Уснул. Проснулся...

Уснул, проснулся...

Стоп.

Уснул?! Как бы не так. Сна ни в одном глазу.

Звенит ложечка всю ночь. Нигде так больше не звенит. Только в поезде. В самолете нечему звенеть, все пластиковое.

Дзи-дзинь, дзи-дзинь. Дзи-дзинь, дзи-дзинь.

Ночные звуки. Вынул ложечку из стакана, положил рядом, три минуты тишины, и вновь звенит, трется, приползла, как живая, внутрь просится. Не могут они со стаканом друг без друга. Страшно одной в ночи. Отодвинул на другой конец стола, опять приползла. Леня вставать, леня, надо бы отдать все проводнику. Может, и ложечке он определит место, не только мне. Дзи-дзинь, дзи-дзинь. Положил книжку сверху. Кафка. «Замок». Замолчала. До утра хватит. Тяжелое чтение, трудное. Зачем брал, где читать? Вот пригодилось.

Закрыл глаза. Открыл. Снова закрыл. Сами открылись. Вдруг понял — выпил не то. Не про чай Пашка говорил. Это у него междометие, слово-паразит. У нас — «значит», «так сказать», а у вятчан — «чай».

Пялюсь в потолок. Пялюсь, не плююсь. А мог бы с тоски. Каждый километр между «заснул» и «проснулся» все длинней.

Купил, сел, выпил водки, заснул, проснулся, приехал. Может, так надо было? Не сказал Пашка, что пить.

Нет, не водки. Пропадает поэзия. Везде глаголы по одному, особняком, а тут после второй запятой глагол с существительным. И почему водка? Почему не виски или коньяк? Или пиво. Хотя с пивом еще длинней. Тогда ночью — встал по нужде, до утра не дотерпел, лег. С полки, на полку, надел брюки, снял. Много действий. Длинная мантра. Лучше без пива.

Сосед накурился. Спать ложился — покурил, заснул, проснулся, снова покурил, снова заснул. У соседа своя мантра.

Дорога фонарями очкастыми в окно по глазам шарит. Вкл, выкл, вкл, выкл. Вы в Киров? Да. Ну, хорошо, проезжайте. И следующий — вы в Киров? Да. И снова — вы в Киров? Да, в Киров я, в Киров, вашу мать... А! А мы думали... И снова — вкл, выкл, вкл, выкл. Только быстрее, разогнались. Зеркало на двери отражает всё, всю жизнь за окном, мимо которой ты едешь. Видишь секунду всего ее. И проезжает. Закреть бы окно, не путать жизнь с отражением. Еще насмотришься чужого. Только леня снова вставать, потом ложиться, так мантра длинней. Купил, сел, встал, закрыл окно, заснул, проснулся, приехал. Нет, не длинней. Не надо надевать брюки, вон шторка, только дерни. И слово «окно» можно убрать, так короче, ведь закрывать, кроме него, больше нечего.

Закрыл.

Темнота. Лучше так. Теперь сосед храпит. По-вятски, нараспев, как колокольчик звенит, у нас не храпят так. У нас жестче, по-волжски, заунывно, как бурлаки тянут. Хрррррр, хрррррр. Э-эх ухнем... А тут тройка с бубенцами, того гляди — поезд обгонит. Не хочет мантра сокращаться. Где там это — «уснул»?

«Ты, если храпеть буду, дергай за нос меня, не бойся», — говорил отец, засыпая. Дергал. Из соседней комнаты прибежал, дергал. Стены тряслись, дергал. Он просыпался в полглаза: а!.. что?.. где?! — и снова храпеть. Это когда мамка в командировке была. В другие дни сама дергала.

А тут как? Не батя же, чужой человек, разрешения не давал. Личная собственность — нос. Как дернуть...

Еще языком пощелкать можно, вот так вот, челюсти чуть-чуть развести, чтоб расстояние было между зубами и языком от неба, чок, еще раз — чок, чок, чок. Главное, чтоб между небом и языком слюна была. На сухую не щелкается. Не к небу, а от него. Правильно. Пощелкал. Работает. Перестал сосед храпеть, на бок перевернулся.

Дальше поезд идет.

Купил, сел, заснул, проснулся, приехал.

Купил, сел, заснул, проснулся, приехал.

Купил, сел... проснулся...

А где заснул?

Пропустил... не заметил, как. Утро в щель шторки рвется. Проводница в дверь стучит.

— Тук, тук... Киров, просыпаемся, туалеты через тридцать минут закрываются, санитарная зона...

— Тук, тук... Киров, просыпаемся...

— Тук, тук... туалеты... санитарная зона... Киров...

Сосед носом в подушку, тихо сопит о чем-то себе, отзвенели бубенцы, Кафка на полу, упал, нечитанный, ложка на столе, лежит, не двигается. У каждого свое место.

Киров. Пашка.

Выше всех, каланча, видно за версту в окно. Щеки отъел, хомяк. Приехал встречать, глазами, как перископом, водит.

Схватил в охапку, дыхание вышло наружу, как выжали из тебя.

— Наконец-то, — тискает, — наконец. Соизволил товарища посетить. Пять лет знакомы, пять лет, а он токо вот нонче собрался. Не мог раньше, че ли... Я уж у тебя сто раз был, а ты... Ну я таперича не отпущу тебя. На сколько приехал-то, а, на сколько? Как на день? Че маленько так? Без ночевой? Это вот друг, на день! А совесть где? Да Киров только неделю смотреть нужно, а еще... еще...

Пашкины скороговорки, как волны. Освежают. Одна за другой, одна за другой. Накатит, обдаст, отхлынет. Накатит, обдаст, отхлынет.

— Я все равно тебе гостиницу-то снял. С дороги умыться, отдохнуть али поспать. Сейчас напрямки туда поедем, два часа покемарь, а я дело одно срочное сделаю семейное и до вечера твой. Только сейчас по пути заедем тут, за человеком одним.

Поехали.

Киров. Дороги — стиральная доска, бум, бум, недовольна подвеска, жалуется. Притормозил, яма, проехал, снова притормозил, еще яма.

— Север, — объясняет Пашка, — а зимы ноне странные стали, потепление глобальное, то плюс два, то минус сорок. Снег растаял до воды, она во щелинку асфальтовую залилась, тaitся там до поры. Пора пришла, мороз, замерзла вода во лед. А леду-то больше по объему, чем воды, она расширяется при замерзании. Он асфальт-то растолкал, щелинка больше стала. Мы с тобой вот проехали, еще его побеспокоили. Снова плюс два, еще растаяло — опять вода затаилась. Только щелинка больше уже, стало быть, и леду больше в нее влезает. Так и ломает его, туда-сюда, туда-сюда. Чем больше переходов через ноль за зиму, тем

больше ям и трещин. — Ты это, — косит он на меня глаза, — не думай, что я умный такой — начитался. К нам на телевизор начальник один приходил. Он в городской администрации за дороги отвечает. Вот и рассказал. Им же народу надо объяснять, почему дороги плохие. А я запомнил.

Пашка работает на телевидении. Телевизором он называет свою телекомпанию.

— Приехали, — тормозим мы у дома, — подожди. Я за человеком схожу.

Девушка тоже человек. На вид двадцать-двадцать два, смуглая, черные волосы, платье на просвет.

— Надя.

— В гостиницу таперича.

К чему девчонку взяли? Неудобно Пашку спрашивать. Нужна кому-то, видеть.

«Октябрьская». Сколько их было в моей жизни. Три, пять, десять. Вывеска на всех одна — «Гостиница Управления делами администрации области». В память об Октябре.

В девяносто третьем летел в жаркий Ростов, чтобы сесть на пароход до Астрахани. Нужна-то была всего одна ночь.

— Где у вас в городе можно остановиться? — мужик в самолете рядом сидит, страдает, запотели очки, костюм помялся, «Большевичка». Я ему фляжку свою с коньяком. На?! Тогда еще на борт можно было. Мужик счастливый, глоток побольше, про запас, вдруг последний.

Полегчало, улыбнулся.

— Рюмин, помощник губернатора.

Неловко, что я без галстука.

Ростов с первой минуты залил меня потом. С головы до ног. Рубашка промокла. Рюмин довез до «Октябрьской». Без кондиционера машина. «Волга». Еще больше взмок.

— Зин, посели его в нормальный номер, свой парень, — подмигнул он администратору.

Мы попрощались. Как Рюмин в костюме в такую жару? Может, южане привычные к пеклу...

— Где я нормальные номера найду, — ворчит за стойкой Зина, — он же знает, что здесь нормальных номеров всего два. Один президентский. Всегда свободным должен быть, вдруг президент приедет. Мы вон линолеум французский постелили в прошлом году.

— А второй номер? — спрашиваю я.

— Второй занят, — отвечает мне Зина, — Леонтьева ждем. Певца нашего. Концерт у него завтра. Хотите, билеты могу достать. Только сами понимаете, с наценкой, — она опасно оборачивается.

Мотаю головой. Спасибо. Наш Леонтьев, нижегородский, посмотрелся в детстве.

— Вот, нашла, — копается в похожем на бухгалтерскую книгу журнале Зина, — есть номер получше один, на седьмом этаже. Семьсот девятый. Ключ у горничной там. Поднимайтесь. Только лифт не работает. Третий день уж.

— А вдруг президент? — спрашиваю я.

Зина разводит руками.

— Приедет коль, починим.

Горничная выдает ключ и полторалитровую пластиковую бутылку воды.

— Это что? — удивляюсь я.

— Воды в гостинице нет, — объясняет она, — с утра. Прорвало, а отремонтировать не могут. Воду нам в цистерне привезли, мы ее для жильцов разлива-

ем. Руки помыть, зубы почистить, в туалете слить за собой. Только мало ее, воды. Одна бутылка в день на человека. Экономьте. И, уезжать будете, бутылочку с собой не увозите, они у нас все пронумерованы. Иначе в счет впишем.

На прозрачном пластике жирно черным фломастером цифры — 709. На другой стороне — КОКА-КОЛА. Зачем мне ее увозить?

— А вдруг президент? Ему же зубы тоже чистить надо. Как он без воды? — повторяю свой вопрос.

— Да не придет он, — машет рукой горничная. — Кто его вообще видел. Про Леонтьева не спрашиваю.

Номер. Слово трамвайный вагон. Только без поручней. Узкий, длинный. Одна стена жесткая, кирпичная, другая — тук-тук, фанера. Стол, кровать. Туалета нет. В коридоре туалет. Общий. Окно. За окном Ростов. Морит жарой людей. Голуби квелые. Не взлетят до вечера. Взмокли крылья. Взопрели.

— Маш! А ты за какую цену синенькие-то брала? — будит меня чей-то женский голос.

— Да за три, но они больно маленькие по мне, а шо?

— Та не шо. Просто так, шо пол молча мыть. Так, а я по три пятьдесят там же. Представляешь? Ну надо ж, спекулянты, обманули опять. От я дура...

В Ростове синенькие — это баклажаны. Овощ такой. Впрочем, иногда так называют цыплят. Только не свежих. Смотрю на часы. Семь. Тонки перегородки в «Октябрьской». Все равно не заснуть. Бутылка с водой в руках. Плещется опорожненной половиной неприкосновенный запас. Коридор длинный, пустой. Дежурная за столом. Зевает. Увидела меня, прикрыла рот рукой.

— Так проснулся один, из семьсот девятого, добро утречко, может, уберем-ся у вас в номере пока, а? встали же все равно. Маня!

Это не мне уже, уборщице. Она в другом конце коридора.

— Шо?

— Та не шо! Иди пока в семьсот девятый, гость проснулся, по нужде пошел. А то вернется, ляжет снова, не добудишься. Они ж такие, приезжие, лишь бы поспать. А то, шо людям работать надо, не интересуется никого...

Гостеприимный город Ростов, душевный. С тех пор синенькие люблю. Тушеные особо. Это я не про цыплят, разумеется...

— Буду через пару часов, — говорит Пашка, высаживая нас возле гостиницы, — там номер на твою фамилию забронирован.

— С водой? — не могу я отогнать воспоминания.

— Чего? — спрашивает Пашка.

Машу рукой. Свое вспомнил. Не вникай.

— Тут вот советско шампанско в номер тебе, мало ли че, — Пашка косит глазом на Надю.

Смешно они говорят, вятчане, куда буквы у них пропадают, не сыскать. Так подожди... а Надя-то зачем?

Уехал змей. В воздух мой вопрос.

Входим в гостиницу. Я регистрируюсь.

В холле всех гостиниц с названием «Октябрьская» стоит охранник. Этому охраннику под шестьдесят. У него плохая стрижка, черный костюм прямого покроя без разреза на спине. Рукава длиннее, чем надо. В костюме мало шерсти, много синтетики. Локти вытерты. На плечах перхоть. Рубашка белая, несвежая. Раз в неделю стирает жена. Черный галстук, на лацкане пиджака бэйдж. Руки вдоль тела. Вдоль тела, не по швам. Некуда девать.

— Ваши документы.

Показываю регистрационную карточку.

— Проходите. Ваши? — это к Наде.

У Нади нет документов. Регистрационной карточки тоже нет. У нее вообще ничего нет. Она не собирается жить в гостинице «Октябрьская». Впрочем, как и я.

— Стоп, — говорит ей охранник. — Вам нельзя.

Ладно хоть на «вы». И глазами Надю жрет. Куда тебе с таким костюмом.

— Почему?

— Необходимо снять номер, заплатить, тогда пустим. А так, посторонним, нельзя. Мы подчиняемся Управлению делами. Посторонних быть не должно. Вдруг президент приедет.

Гордо произносит, с достоинством.

— Ключевое слово — заплатить?

— Ключевое слово — президент!

— А был хоть раз? — спрашиваю я.

Охранник сдвигает брови. Не велено говорить. Это государственная тайна.

— Но мы всегда должны быть готовы. Женщин без регистрации не пускаем. И снова Надю жрет. Не будь меня рядом, проглотил бы вмиг.

В девяносто седьмом я прилетел в Омск на совещание в областную администрацию. Сибирь, стужа, минус тридцать. Поселили в гостинице «Октябрьская». Поднялся в номер, бросил сумку. Звонок.

— Не желаете ли провести вечер с милой девушкой?

Голос женский, игривый.

Смотрю на часы. 8.30 утра. Задолго, однако, бронь. Совещание через полчаса.

— Спасибо. Перезвоните вечером, — пошутил я и пошел в душ.

— Вы вечером во сколько будете? — заискивающе глядя в глаза, поинтересовалась администратор в холле гостиницы.

Голос знакомый.

— Хорошая у тебя гостиница, — говорю я управляющему делами администрации на совещании, — даже девушки включены. Собеседование сам проводишь или отдал на аутсорсинг коммерсантам?

Управляющий густо краснеет. Запалился!

Вечером мне так и не позвонили. Пропала бронь.

— Вдвоем нас не пускают, — звоню я Пашке.

Он матерится.

— Деньги предлагал?

Я бурчу что-то в трубку. Угу.

— Ждите меня в ресторане.

— Пожалуйста, пожалуйста, — вежливо открывает перед нами двери охранник и почтительно изгибается, — мы всегда рады видеть у нас дорогих гостей.

Перхоть сыплется с черного костюма.

— Что ты с ним сделал? — спрашиваю я Пашку.

Он машет рукой.

— Север у нас тутова. На всё свои аргументы.

— Можно я не пойду в душ? — говорит мне Надя.

Ко мне вопрос. Можно. А что?

— Была сегодня. Четыре раза. Пятый не хочу. В Кирове жесткая вода. Кожа сохнет.

— Не ходи.

Раздевается, под одеяло змеей, кожа смуглая, красиво на белом.

— Ну!

— Что?

— Разве мы не будем?

— Нет.

— Странно! Но мне заплатили. Павел.

— За что?

— За это.

Мотаю головой. Резко, позвонки хрустят. Нет. Не будем.

Почему? Волнуется, голос дрожит. Что-то не так, не как обычно. Не случилось раньше, чтоб отказывались. Словно в программе сбой... А зачем брали тогда?

— Я не верну деньги. У меня их нет с собой. Я отдала старшей.

Вон в чем дело. Машу рукой. Не переживай. Никто отбирать не собирается.

— Я могу одеваться?

— Можешь.

— Точно не будешь?

— Сказал же. Не люблю... — торможу на секунду, стараюсь подобрать слово, дается нелегко.

— Проституток? — помогает мне она.

Киваю. Некорректное слово, оскорбляет. Тоже люди.

— Я привыкла. Только вначале неприятно. Потом становится все равно. Просто думаешь о деньгах. Работа есть работа.

— Ты только Пашке не говори, — это я ей. — Обидится. Старался. Старый друг. Думал, как лучше. Спросит, скажи — все отлично. Ладно?

— Ладно. Можно шампанского? — кивает на бутылку.

Я открываю. Наливаю. Ей. Себе. За знакомство. Больше не увидимся.

— Зачем ты ходила в душ четыре раза? — шампанское пенится, шипит.

— У меня было сегодня четверо. За ночь. Ну, мужчин. Ты понял. По очереди. Первый, второй, третий... четвертый уже утром... Перед каждым душ. Или после... Неважно.

— Я — пятый?

— Мог быть, — устало улыбается она.

— Город у нас красивый, древний, — говорит мне Пашка через час, — тута много чего посмотреть можно. Собор вона, музей. Видишь?

Я ничего не вижу. Мошка. Ударение на «а», в конце слова. На бумаге не читается, слушать надо. Маленькая, мерзкая гнусь размером с точку, оставленную на белом листке шариковой ручкой. Не жужжит, не свистит, незаметна. Возникает словно из воздуха и в нем же исчезает. Мои руки покрыты мелкими красными пятнами. Словно сыпь. Я отбиваюсь. Пашка терпит.

— Лето, — философствует он, — мошка завсегда летом жрет всех. Самый жор. Мы-то привыкшие местные, а вам тяжелей. А в июне еще комар. Во такой, — разводит пальцы на спичечный коробок. — Зимой надо было тебе приезжать. У нас, знаешь, как зимой хорошо. Снег, сугробы, елки ряженные везде, народ с горок катается. Машин нет почти. Им ездить негде, снег не убирает никто, неколи его убирать. Да и незачем. Все равно нападает еще.

— Ты мне сам предложил летом приехать, тепло, мол, а то зимой замерзнешь.

— Вот не подумал, понимаеш. У каждого времени свои плюсы. Может, посидим тогда где? В ресторане вон. Там нет мошки. Там мухи только, — ржет. — Выпьем за встречу. Настоечки. Хошь на клюкве, хошь на бруснике. Даже на морошке есть. Это не шампанско тебе, пузыри газовые. У нас медвежатина еще. Ел медвежатину? Нет. Ну вот... А пока в магазин пойдем. Вона насупротив церкви.

Дымковская игрушка. Слышал? Это гордость наша. Из глины, раскрашенная. Иностранцы ящиками скупают.

Идем в магазин... за игрушкой. Потом в ресторан... за медвежатиной.

— Жаль, ты так уезжаешь быстро, — кручинится на вокзале нетрезвый Пашка, — и не посмотрел ничего. У нас в Кирове, знаешь, мест красивых сколько. Ты давай, этова, зимой приезжай, в январе, с горок кататься. У меня санки есть.

На перрон подадут поезд.

— Ну, что, обнимемся, — лезет целоваться Пашка и вдруг вспоминает. — А я не спросил, Надя-то как, глянулась?

Я киваю. Не переживай.

— Она у нас лучшая в этом деле, — улыбается Пашка, — ко мне кто приезжает, я всем ее зову. Как это называется. Топ. Или вип. Ну, неважно. Другим плохого не подсуну. На себе проверял.

Нервно дергается поезд. Перецепили локомотив. В голову с хвоста. Всё. Пора. Мы прощаемся. Давай, друг, свидимся еще. Хороший ты товарищ.

— Счастливого, — машет Пашка, обернувшись. — Обратно быстрее: сел, уснул, проснулся.

Совсем сократил мне мантру. Как жить с такой короткой? Не остается желаний. Обрубил все своим вятским топором.

Вагон номер три. Место определяет проводник.

— Определите мне место.

Стройная, высокая, с черными бровями. Слишком южная для этого города. Синий китель, юбка выше колен, чулки. На лацкане значок. Волосы под пилотку собраны. Глаза глубокие, взглянешь — утонул, не выплыть. Смотрит в меня, как книгу читает. А я думал, ничего, кроме билетов... ошибался.

Отвожу взгляд. Глубоко, дна не достать, утонешь ненароком.

— Выбирайте любое место.

— ?

— Вы одни в вагоне, — и с задержкой потом: — мы...

И снова взгляд. Внутрь, через глаза. Побежали мурашки по коже мелким табуном, вдогонки, вперегонки...

Трогается поезд. Медленно, нехотя, за вагоном вагон. Тых, тых, тых. Последний, как с корнем от рельс. Прилип, приварился, присох. Знакомо.

— Давайте билет!

Стоит у порога, внутрь не зайдет.

Протянул. Надорвала корешок. Вернула.

— Чай, кофе, фанга, пиво, чипсы, орешки...

Чай я уже пил. Не помогло. Вспомнил мантру.

— Может, водки? Водка есть?

— Есть. Или коньяк?

— Несите коньяк.

Пять минут. Десять. Куда пропала? Выхожу в коридор. Дорожка на полу смята, запнулся, когда выходил. Поправил. Никого. Свет приглушен, словно ночники по вагону разбросаны.

Тихо. И только колеса — чух, чух, чух, чух. Куда-то едем. Куда? Купе проводника. Подошел. Открыто. Заглянул осторожно. Никого. Куда исчезла? В вагоне один. Вернулся в коридор. Сделал руки домиком, прижался к окну. Вгляделся в ту жизнь. Темно за окном. Ночь. В Киров ехали — фонари светили. Чужую жизнь видел. На секунду всего, но видел. Нет фонарей. И чужой жизни нет. Только моя. Хоть бы немного света. Хоть бы чуть-чуть.

— Извините, что заставила вас ждать.

Вздрыгнул, обернулся. Что угодно ожидал, не этого...

Длинные волосы, распущенные, под пилоткой было не разглядеть, влажные, словно из душа. И запах... словно по полю бегу, цветы вокруг.

Домашний халат. Голубой, махровый, на молнии, выше колен. Тапочки с помпонами на ногах. Смешные. В руках два стакана, коньяк, шоколадка. Глаза в полумраке темней, еще глубже омут.

Два стакана?! Два!

— Я могу посидеть с вами?

— ?

— Одиноко... Шесть лет езжу. Сразу после училища попросилась в проводники. Тогда казалось интересно. Новые города, люди, жизнь в движении, ни минуты не стоит. Летит вместе с поездом. Да и график хороший. Две недели работаешь, две отдыхаешь. Льготы разные. Санаторий, питание. Первый год нарадоваться не могла. На второй уже не так интересно. А сейчас, — пожимает плечами, — работа как работа, обычная. Собрала билеты, проверила, белье разложила. Чай, кофе, печенье. Туалет открыла, закрыла. И так каждый день. Рутинна. Только люди разные. У каждого проблемы свои. Им проводник не нужен. У них все в жизни определено. Некоторые, наоборот, какое зло накопилось, на тебя вылить готовы. А ты стой, слушай. Клиент всегда прав.

Летит поезд, все дальше и дальше от нас Киров с дымковской игрушкой своей, мошкой, медвежатиной, комарами с коробок, Пашкой.

Проводницу Валея зовут. Сидит на кровати напротив, тапочки сбросила на пол, носочки голубые в цвет халата, уперлась ими в мою полку. С носка на пятку, с пятки на носок. Мое колено задела как невзначай. Отдернула, ой, извините. В руке коньяк греется. И в моей. Невкусный коньяк. Кизлярский, другого нет. Туманит голову. Глаза с поволокой. Затягивает омут.

— Чего только не насмотрелась я за эти годы. Самое страшное было, когда грабили. Два раза такое было. Первый раз со страху чуть не умерла. Зашли на какой-то станции ночью. Двое. Один нож к горлу, другой сразу: ключи давай! Спят все. В коридоре свет выключили. Связали меня, рот залепили, чтоб не кричала. Пошли по купе шарить. Тихо так всё, профессионально. Видно, не случайные люди — занимаются этим. Внутрь купе не заходят даже. Приоткрыл дверь чуть-чуть — и рукой по пальто и костюмам на ощупь. Вагон спальный, люди важные ездят. Деньги есть. У кого бумажники в нагрудных карманах, телефоны. Вытащили, что нашли. Потом на стоп-кран и прыгнули где-то в лесу. Не найти. Да и кто среди ночи искать станет. Испугалась я сильно, уволиться хотела. Отговорили. Когда второй раз грабили, уже не так страшно было.

Пустеет бутылка коньяка. Еще по рюмке выпили, еще... Она чуть-чуть со всем, в основном я. Рвется поезд в темноту, рассекает ее, как стрела. Загнулся голубой халат, коленка оголилась незаметно.

— Как работать начала, девчонки рассказали, что на поезде заработать можно. Оказывается, если постараться чуть, неплохой заработок получается. Конечно, все от рейса зависит. На этом вот, — разводит руками, — ничего, кроме комаров. А если ты с южного города какого едешь на север осенью, то можно фрукты вести, овощи. В вагоне полно мест всяких укромных — в полу, под дорожкой. Снял ее, а там крышки металлические. Крышку открыл, под ней отсек. Положил в отсек все, что нужно, закрыл и забыл на два дня. А как приехал, уже к поезду перекупщики бегут. Знают всех своих, связи постоянные. Этот картошку берет. Этот яблоки. Вроде, ерунда кажется, но разница в цене иногда в два раза, в три, в пять. Уже деньги. И главное, делать не надо ничего. В одном городе товар привезли, в другом забрали. Тебе нагнуться всего один раз, половицу откинуть.

Садится на кровать с ногами, по-турецки, застенчиво подоткнув халат. Халат не скромный совсем, ног не закрывает. А может, и хотела так. Поезд потряхивает на повороте. Дуга, изгиб. И снова мерное покачивание.

— Выгоднее всего мясо возить. Но это зимой. Чтобы не стухло. В города крупные. Москву, Петербург. Там оно хорошо идет, по дорогой цене. В общем, если задуматься, то работа неплохая, зря я. Грустно только иногда. Вот как сегодня. Я уже полгода на этом рейсе работаю. Он почти всегда пустой обратно. Туда едет народ, а обратно нет. Как будто пропадают люди в кировских лесах. Дыра черная. Обрадовалась я, что вы сегодня в поезд сели. Хоть поговорить можно. А то тоска.

Встряхивает головой своей. Как в замедленном кино, локоп за локопом падает, словно золотистый водопад, обдавая запахом лета.

— У вас мокрые волосы, почему?

— Душ. В поезде есть душ. Он для служебного пользования. В туалете, в обычном туалете, в стене в каждом вагоне есть кран. На этот кран наворачивается шланг с рассеивателем. Шланг в моем купе. Принес, навернул и превратил туалет в душ. Все просто.

Улыбается и проводит рукой по волосам.

— Я как раз сейчас оттуда. Представляете, как тяжело иногда неделю ехать в поезде без душа. Особенно женщине.

Делает маленький глоток, сморщилась, горько. Стакан на стол, хватит сегодня, пусть стоит. А дальше вдруг:

— Но без мужчины еще тяжелей. Сидишь в купе, словно в клетке, одна, томишься. Судьба это моя — поезд.

Вжалась куда-то в угол, обхватила колени, глаза вверх, смотрит жалобно... Ударил в голову коньяк. Не ей ударил, мне. Хотя и ей тоже.

— Оставайся...

— ?

— Со мной, здесь, сегодня, сейчас, ехать до утра...

— Нет.

— Почему?

— Не могу, нет.

Решительно так, резко, честно. Не ожидал. Сразу ясно, что нет. Сколько я их слышал. Отличу правду. У правды тембр другой.

— Я ведь в поезде замуж вышла.

Вытягивает правую руку к моим глазам. Кольцо обручальное на безымянном пальце. Тонкое, в полумраке чуть видно. Только сейчас и заметил.

— Три месяца назад вышла. Попросили меня подмениться на другом рейсе. Из Краснодара во Владивосток. Длинный рейс. Считай, неделю ехать. И потом обратно столько же. Под Краснодаром на полустанке, минуту всего стоять, парень сел. Из командировки возвращался, в Чечне по контракту, в федеральных войсках, целый год без малого воевал. Отпуск дали на несколько дней, вот домой к родителям съездить решил. Хороший парень, добрый. Столько видел всего, столько друзей от пуля полегло, но жестоким не стал, горячим сердце сохранил. Вечерами сидел в купе, на гитаре играл, пел. Вот песнями этими и свел меня с ума. Предложение сделал. Я подумала и согласилась. Как приехали во Владивосток, там стоянка несколько часов — локомотив поменять, в вагонах убраться, белье новое забрать. Мы сразу к родителям его. Благословите нас. Родители так счастливы, что сын живой, и раздумывать не стали. Раз любишь, сынок, женись. Тебе жить. Вызвали из ЗАГСа работника в поезд прямо. Там для контрактников, которые в горячих точках служат, правила другие, не как для всех. Ждать три месяца не надо. Вдруг завтра убьют. Распи-

сали нас в вагоне. Потом к начальнику поезда подошли, до отправления два часа. Он понял все, купе уступил свое. На левую руку посмотрел, прикинул. Тридцать минут, тебе, боец, сказал. Успеешь? Мой кивнул, а что, варианты есть? Как любили мы друг друга эти полчаса, каждую минуту помню. А потом... Поцеловала его и в Краснодар обратна поехала. А оттуда к себе, на этот вот рейс. В Киров. А он в Чечню. Три месяца уж прошло. Пишет... Я, говорит, в жизнь твою на полустанке зашел. Так и в другой раз приду. Любить будешь, помнить — живым вернусь. А изменишь с кем, мне смерти не миновать. Жди меня, надо мне это, жди!

Волнами светлеет в вагоне. Фонари. Проснулись полуночники. Вспомнили про меня. Вдоль окон наперегонки друг за другом бегут, в окно подсматривают. Здороваются, не виделись с прошлой ночи. Привет, привет, заждались. Как там, в Кирове? Хорошо. И следующий — как там, в Кирове? Хорошо. И опять — как там, в Кирове... Баламуты. Одна мантра на всех.

— Станция скоро, Буреполом... две минуты всего стоять. Пойду я. А вы... вы ложитесь спать, — тихо шепчет Валя, — поздно уже. Завтра рано приезжаем.

Ночь. Ночь за окном. Кировские темные леса. Стакана нет, ложечки. Не звенит ничто. Нечему звенеть. Только стыки на рельсах — тук-тук, тук-тук. Сосед не храпит. Нет соседа. Храпеть некому. И чокать языком ни к чему. В вагоне пустота. Всего-то нас двое, я да проводник. Проводница. В Киров едет народ, обратно нет. Всех забирают кировские леса.

Обратно быстрее. Сел, уснул, проснулся.

Сел...

Уснул...

«На первую платформу прибывает фирменный поезд “Киров — Нижний Новгород”... Стоянка две минуты...» — словно старый знакомый... динамик, привет, дружище. Буреполом, говоришь. Сложно с таким именем. И здесь живут люди.

Уснул...

Тишина, поезд стоит, секунды на счет. Всего сто двадцать. Десять, одиннадцать, тридцать пять, тридцать шесть... Отрываю от подушки голову. Наяву ли, во сне — не понять: на окне дорожная пыль, за окном солдат. Сержант, лейтенант — не подскажет темнота, фонари не друзья, светят лишь чуть. Цветы, в руках цветы, целый букет, какие в Буреполоме цветы... ромашки, васильки, ромашки... Приснится же такое...

Голубой халат за окном, промелькнул, быстро, быстро... милый, вернулся... ждала... ждала...

Приснится же...

Тых, тых и снова в плечо... спать, завтра рано приезжаем.

Обратно быстрее... прав был Пашка.

Баярма Занаева
Улан-Удэ

* * *

Мне двадцать, а водку до сих не всегда продают,
однажды не продали спички, и я был в шоке,
такие дела, хорошо, что сегодня салют,
хорошо, что держу я сейчас твои тёплые руки.
Мне двадцать, я снова устал горевать, надрываться,
ты видишь, что перед нами трава не расти,
мне хочется взять и кого-нибудь как-то спасти,
или же, к чёрту, всем отомстить, за то, что мне двадцать.
Мне хочется взять и удрать, утонуть у Парнаса,
забиться в дупло и долбить до центра Земли,
мне хочется власти, вы поняли, хочется власти,
и всем бы было бы счастье в светлой дали.
Мне двадцать, и я нищеврод, нищеврат, бородат,
разбит на четыре угла, перетёрт и безумен,
я тихо ишу под ногами забытый Везувий,
но нахожу только твой бессмысленный взгляд.

* * *

Что диски, маленькие синие рисунки,
зелёные дороги и полянки,
разводы окон в радужках каких-то
обычных, но возвышенных людей
и прочий бред?
Колонки разрываются от визга,
а голова от безысходных фильмов
про вечность, тишину,
про лёгкость бытия и невесомость,
дорогу, кафедру, научные труды
и про любовь такую и такую.
И всё прекрасно,
всё действительно прекрасно,
и как-то всё настолько хорошо,
что хочется пойти самоубиться.

Об авторе | Баярма Сергеевна Занаева родилась 26 июля 1992 в г. Улан-Удэ. Училась в Музыкально-гуманитарном лицее им. Д. Аюшеева, в Технологическом колледже при Восточно-Сибирском государственном технологическом университете на юридическом факультете. С 2010 по 2011 изучала китайский язык в Пекинском объединенном университете, с 2011 по 2012 — в университете Тсингхуа. С 2012 года обучается в Восточно-Сибирском государственном университете. Живёт в Улан-Удэ. Участница совещания молодых писателей в Липках-2013 (семинар поэзии журнала «Знамя»). Печатается впервые.

солидарность Триер фигня

люди — зло, это важно, и всем нужно знать,
их вылавливать надо пока во ржи,
и не глядя, скорее, в пропасть кидать,
а потом с этим жить.
и скорбеть молчаливо, смотреть на юг,
натирая до блеска свой револьвер.
я когда-нибудь всех на свете убью,
ну а может, не всех.

* * *

люди вечны, не все, наверно, но есть такие, что вечны,
они приходят сюда, и с ними можно поговорить,
и мне интересно к чему в человеческой речи
так страшно и странно выглядит профиль жестяных рыб
каким надо быть человеком чтоб эти рыбины
казались нежным серебряным светом в прозрачной воде
а вы могли бы со звоном роняя зубы выбитые
выдержать это зрелище в темноте
впрочем, это всё заковыристый путь и странствия
это первый час ночи рассыпанный в тихом мозгу
если люди не вечны, они получают рацию
и каждый шепчется с вечностью как на духу
они скулят в эту чёрную старую трубку
и антенна качается что-то не разобрав
и она ломается в ужасе из сочувствия
к одной из сторон, а может, просто устав.

Стихи под Земфиру

во мне поселилась жаба и каждые пять минут выключает свет
потому что (слово на букву «б»!)
электричество дорожает и одеяло сбежало
отопление отключили хотя зима
и холодно мне и промерзло всё до извилин,
и выросла я такая внезапно кобыла
за час в сети подымают метры моих аксонов
и люди твари и я безвольное чёрт дерьмо
и люди суки и люди слишком бездонны
и трактор меня проедь и взорви слоу-мо
мне невыносимы мои привычки и образ жизни
мой правый и левый глаз голова и сердце
мне невыносима сама возможность коллизий
геометричность и герметичность лестниц
и я ненавижу так ненавижу совсем ненавижу себя

* * *

1. Клеточка, клеточка, клеточка, комната,
залы и залы, дома и дома,
микровселенная, клеточка с крестиком,
красненьким крестиком в форме стола.
Стол, мой кораблик, на синем ковре,
тихо качают неровные ножки вас,

под правой истёртый том о войне
на месте своём чванливо полёживаает.
Обычная дрянь о долге и чести,
я б в каждую строчку ему бы вписала б,
но как-то по буквам в мысли не лезет,
от сложной душевной не много запала,
и девять уже,
и чайник остыл,
и завтра, о, боги, рано вставать...

2. И ни дом, и ни дым, и ни дождь, и ни даже пчела,
и ни рубль, к сожалению, ни даже четыре рубля,
ни карниз, ни кирпич, ни огонь и ни дева светла,
не останутся подле меня в долгий срок и не для,
Не для жизни и смерти, победы, а для просто хорошей беседы.

3. Пройдите просто мимо, мне так проще,
мне просто спокойнее, если меня не трясут,
я думаю, может себе проколоть язык или жёстче,
на морду лица нанести колдовской звездокруг,
иль, может, удариться лбом о стенку сильней,
прощайте тогда все предметы для коммуникаций,
но двадцать второго после парада планет
когда здесь останутся только большие зелёные зайцы,
я буду об этом, скорее всего, немного жалеть.

* * *

По улицам бегают дети неутомимые,
не делимые под микроскопом,
удивляемые только айфоном,
не взрывающиеся на минах,
не участвующие в войне,
не потопляемые даже в антиутопиях передач НТВ,
не пытающиеся поджарить поганки в подъезде и вообще,
кажется, обделённые жаждой поиска для себя проблем.
И мне бы хотелось завывать от ужаса, но получается какое-то...
Оу-оу-оу-оооу....
Кстати, их Джастин Бибер заразно поёт.

La strada

(ДЖЕЛЬСОМИНЕ)

Девочка странная с блюдцами вместо глаз,
взбалмошным морем, тонущим в этих блюдцах,
с рыбами, в медленном вальсе мрущими в этом море.
Девочка, волосы светлые, мне бы таких волос,
мне бы хоть половинку такой души,
Девочка, у тебя же в груди вопрос
бьётся порой вместо сердца, зачем у ширм
такие тонкие рейки? Как долог и хрупок гвоздь?
Зачем трубе и скрипичным струнам
такие печальные звуки, а в горле кость?
Но это настолько глупо, что лучше играй на трубе,
не падай с повозки и не поднимайся с колен,
сиди себе смирно, свисти свои песни в углу,

и если что-то прекрасно, глаза закрой,
твое сердце не выдержит, просто закрой глаза,
и смотри на море, синее, как бирюза.

* * *

В огромной пустоте над головой,
пустующей в бесчисленные дали,
я видел шоколадные медалки,
по два рубля, и слышал тихий вой.
Собачий, видимо. Он был похож на тень
и забивался в разные углы,
такой забавный переносчик мглы,
с пушистой головой, внушал он мне,
лишь радость и покой.
Порой, когда я в комнатах пустых,
тонул в немислимых ковровых волнах,
и выжигал глаза свои под солнцем,
я видел в пятнах свой скулящий стих.

* * *

Я почти не могу, все лимиты превышены, горько,
и углов не хватает кидаться и прятаться, боже,
почему-то картины так манят, и я осторожно
в них залезть попытался, но измерения долги.
Все причины, как закоулки
на ветер и на ветру,
как последние списки имён во время войны,
все стоят, обещают и прочат, но я поутру
вижу белый буран, и темно от такой белизны,
а как день напоёт, так темнее ещё, и упал бы,
и сгорел бы, и вытащил б этот чайный крик,
и попёр бы я в осень сытым больным катафалком,
но счастливым в какой-то мере, вполне живым.

* * *

Я устала и скоро, наверное, выйду, пройду по улицам,
буду здороваться с каждым встречным в зелёных кедах,
буду заглядывать, не объясняя, в глаза и в добрые лица
долго смотреть, вывешивать фотки, короче, лето...
Я хочу, чтобы в каждом глазе оставался мой отпечаток,
чтобы встречный потом тоже видел с привкусом моря
синее море, а не какую-то лужу, и ни какую-то вату
вместо цветных облаков. И хочу, чтобы Оля
оставила пару полосок на радужке, чтобы Олеся
осталась где-нибудь в колбочках, палочках, а в сетчатке
как-нибудь Маша добавила Генделя лестницы,
немного вальсов и зонтиков в складках платья.
Я не знаю, хочу гвоздик и зелёных яблок, и морских портов,
и света в глаза до боли, и сожжённых солнцем полей, и соли,
и людей, которых ни разу, но почему-то скучаю, слов,
предложений, сложностью начинённых драмок,
и расписанных по минутам квадратов,
разрисованных женщин за тридцать, мужчин женатых,
и ручей, и родных невидимых городов.

Павел Нерлер

Битва под Уленшпигелем¹

1

История эта как бы обрамлена двумя мандельштамовскими «прозами». Очерк «Жак родился и умер», написанный в июне 1926 года и впервые опубликованный в вечернем выпуске «Красной газеты» 3 июля 1926-го — как бы ее пролог, а «Четвертая проза» — эпилог и кульминация.

В прологе — этой беспримесной рефлексии на состояние переводного дела в СССР, возмущенной, но и почти без «оргвыводов», — сказано уже почти все. «Кто он, этот Жак?» — вопрошает Мандельштам, прежде чем припечатать этим именем — «Жак» — все те же потоки переводной халтуры, к которым он вернется позднее.

А ведь так было не всегда! Было и то время, «...когда перевод иностранной книги на русский язык являлся событием — честью для чужеземного автора и праздником для читателя. Было время, когда равные переводили равных, состязаясь в блеске языка, когда перевод был прививкой чужого плода и здоровой гимнастикой духовных мышц. Добрый гений русских переводчиков — Жуковский, и Пушкин — принимали переводы всерьез. <...> Высшая награда для переводчика — это усвоение переведенной им вещи русской литературой. Много ли можем мы назвать таких примеров после Бальмонта, Брюсова и русских “Эмалей и камней” Теофиля Готье?»

Нынче же, то есть в середине 1920-х гг. (хотя кажется, что это и про сейчас сказано), — «...перевод иностранных авторов таким, каким он был, захлестнувши и опустошивши целый период в истории русской книги, густой саранчой опустившийся на поля слова и мысли, был, конечно, “переводом”, т. е. изводом неслыханной массы труда, энергии, времени, упорства, бумаги и живой человеческой крови. <...> По линии наименьшего сопротивления — на лабазные весы магазинов пудами везут “дешевый мозг”»².

Эта халтура, эта саранча — этот «Жак», который «родился и умер», — не так уж и безобиден: «Все книги, плохие и хорошие, — сестры, и от соседства с “Жаком” стра-

1 Благодарю С. Василенко, А. Лаврова, О. Лекманова, Л. Кациса и Д. Лахути за ценные замечания и советы.

2 Впервые: Красная газета. Вечерний выпуск. 1926, 3 июля; Журналист. 1927. № 6. С. 30—31.

Об авторе | Павел Маркович Нерлер (р. 1952), поэт и филолог, председатель Мандельштамовского общества, член Русского Пен-клуба и Союза писателей Москвы. Редактор изданий О.Э. Мандельштама, Б.К. Лившица и др., автор книг «Осип Мандельштам в Гейдельберге» (1994), «С гурьбой и гуртом...». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама» (1995), «Слово и “дело” Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений» (2010), «Осип Мандельштам и Америка» (2012) и многих других публикаций о биографии и поэтике О.Э. Мандельштама и его современников. Автор поэтических книг «Ботанический сад» (1998) и «Високосные круги» (2013). Как географ и историк выступает под фамилией Полян.

дает сестра его — русская книга. Через “Жака” просвечивает какая-то мерзкая чичиковская рожа, кто-то показывает кукиш и гнусной фистулой спрашивает: “Что, брат, скучно жить в России? Мы тебе покажем, как разговаривают господа в лионском экспрессе, как бедная девушка страдает оттого, что у нее всего сто тысяч франков. Мы тебя окатим таким сигарным дымом и поднесем такого ликерцу, что позабудешь думать о заграничном паспорте!”».

А вот и «оргвывод», к коему пришел Мандельштам в 1926 году: «Взыскательной и строгой сестрой должна подойти русская литература к литературе Запада и без лицемерной разборчивости, но с величайшим, пусть оскорбительным для западных писателей недоверием выбрать хлеб среди камней».

Да здравствует лучшая в мире цензура — цензура по признаку качества!..

2

Этот «Жак», а точнее переводческая, ради куска хлеба и лечения жены, поденщина, состоявшая в том числе и в преодолении уровня «Жака» в конкретных работах, для самого Мандельштама оказался опасен вдвойне и двояко. Во-первых, тем что перекрывал воздух и ход собственным, непереводаемым стихам. А во-вторых, тем, что подспудно готовил, а в один нехороший день загнал поэта в самую настоящую западню.

3 мая 1927 года, то есть спустя 10 месяцев после первопубликации очерка «Жак родился и умер», О.Э. Мандельштам и издательство «Земля и фабрика» (ЗИФ) заключили договор об издании книги Шарля де-Костера (так!) «Тиль Уленшпигель». Согласно договору в задачи Мандельштама входил не перевод, а редактирование (источники редактируемого текста в договоре оговорены не были)³. Готовая рукопись должна была быть представлена к 10 июля 1927 года⁴.

Но, судя по письму к М.А. Зенкевичу, срок этот выдержан не был, хотя и отставание было еще не катастрофичным: «Я увожу с собой Уленшпиг<еля>. В среду высылала его спешной почтой на твое имя в “ЗИФ” обратно <...> С Ул<еншпигелем> не подведу. Сам понимаю. <...> Еще раз: не беспокойся об Уленшпиг<еле>. Будет в четверг»⁵.

Письмо не датировано, но фраза «Проездом через Москву увидимся без счет, хворобы и Лены-конструктивистки»⁶ дает основания предполагать, что рукопись везется не в Детское Село, а подальше, раз личная встреча планировалась на Москву. Если предположение верно, то датировка письма (а следовательно, и сдачи «Уленшпигеля» в издательство) навряд ли падает на последние дни издательского дедлайна, а приходится едва ли не на позднюю осень 1927 года, когда Мандельштам с женой — в тяжелейшем материальном положении — возвращались с юга: они были в Сухуме, Армавире (где в это время жил и работал Шура Мандельштам) и Ялте⁷. Такая задержка по крайней мере уменьшает недоумение по поводу выхода «Тилиа» в свет только в сентябре 1928 года: если бы рукопись была сдана в июле 1927 года, как это предусматривал договор, то неужели производство занимало 14 месяцев?!

3 Предприятие было вполне акмеистическое, если вспомнить, что редактором «ЗИФа» был Владимир Иванович Нарбут, а редактором книги — Михаил Александрович Зенкевич, которому, кстати, накануне (2 мая) Мандельштам подарил «Шум времени», написав: «Дорогому Михаилу Зенкевичу эту никчемную и не нужную книжку» (ГЛМ). Видимо, в те же майские дни Мандельштам вместе с Зенкевичем, Лившицем и Б. Горнунгом ходили к Нарбуту с планами издания массовой серии (запись в дневнике Л. Горнунга).

4 Даты известны из письма Д. Заславского А. Горнфельду от 18 мая 1929 г. (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 316. Л. 1—5).

5 ГЛМ. Ф. 247. Оп. 1. Роф. 6146/2.

6 Имеется в виду художница Е.М. Фрадкина, жена Е.Я. Хазина.

7 ЦГАЛИ СПб. Ф. 2913. Оп. 1. Д. 558. Л. 157.

Срыв срока сдачи тем более вероятен, что лето 1927 года было у Мандельштама как никогда переполненным. На первом месте — впервые за несколько лет — стояло «свое»: «Египетская марка»!⁸ «Осип Мандельштам в Лицее и пишет повесть, так странно перекликающуюся с Гоголем "Портрета"...» — писал Д.С. Усов Е.А. Архипову 15 июля 1927 года⁹.

Нелишне заметить, что 18 августа 1927 года Мандельштам заключил с Ленинградским отделением Госиздата еще один договор — на издание «Стихотворений»¹⁰, не говоря уже об ушедшей в производство в апреле книге статей «О поэзии» и работе еще над одним переводом — «Набоба» Альфонса Додэ¹¹.

Все это я перечислил лишь для того, чтобы показать, с какой сумятицей и с каким нервным напряжением была сопряжена работа над прозой Шарля де Костера. Надежда Яковлевна добавляет к этому еще и яростную, зато успешную хлопоту по отмене казни пяти банковских служащих, но это уже в 1928 году!¹²

3

И вот в конце сентября 1928 года¹³ эта злополучная книга — с предисловием профессора П.С. Когана¹⁴, рисунками Алексея Кравченко и тиражом в 4000 экземпляров — выходит в свет.

На титуле, увы, стояло то, что действительности не соответствовало и чему есть оправдания, но нет извинения:

«ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА!»

На самом же деле труд Мандельштама заключался в редактировании (стилистической обработке) уже имевшихся переводов, причем не одного, а контаминации из двух! Начало (около 2 печатных листов) было взято из перевода Горнфельда, все остальное — из перевода Карякина.

Самое время представить переводчиков.

Василий Никитич Карякин (1872—1938) искренне считал себя переводчиком, ведь кроме «Тилия» из-под его пера вышло еще несколько переводных книг. «Тилия» же он издал дважды, и оба раза в 1916 году: один раз — книжкой¹⁵, а другой — брошюрками в трех выпусках «Нивы»¹⁶. Перевод «Тилия» привел Карякина на самый пик его писательской карьеры, поскольку именно за сей труд его как переводчика, «художественно работающего над словом», избрали в члены Союза русских писателей, предложение о чем, в присутствии самого А.И. Свирского, внес сам М.О. Гершензон.

В 1928 году Карякин жил в Москве, на Спиридоновке, работал в Московском коммунальном музее (позднее — Музей истории Москвы) и преподавал русский язык на рабфаке Института им. М.В. Ломоносова. Оценив свой ущерб в 1550 рублей, он подал в губернский суд иск к издательству «ЗИФ», которое призвало в соответчики и Мандельштама, и проиграл¹⁷.

8 Договор с «Прибоем» о переиздании «Шума времени» он заключил еще в марте-апреле.

9 РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 78. Л. 113об.

10 ЦГАЛИ СПб. Ф. 2913. Оп. 3. Д. 92. Л. 12.

11 Договор от 12 апреля 1927 г. (ЦГАЛИ СПб. Ф. 2913. Оп. 3. Д. 92. Л. 13)

12 Мандельштам Н.Я. Кто виноват? // Мандельштам Н.Я. Третья книга. М., 2006. С. 460—463.

13 Книжная летопись. 1928, № 38, 21 сентября.

14 Коган Петр Семенович (1872—1932) — литературный критик и литературовед, профессор и ректор МГУ, президент Государственной академии художественных наук, автор ряда книг и учебников, написанных с позиций довольно вульгарного социологизма.

15 Ш. де Костер. Уленишпигель (Герой бессмертной Бельгии). М.: Современные проблемы, 1916.

16 Ш. де Костер. Легенда об Уленишпигеле и Ламме Гоодзаке, их приключениях геройских, забавных и достославных во Фландрии и иных странах. Пг.: А.Ф. Маркс [1916]. Авторство Карякина, впрочем, не доказано.

17 Вечерний Киев. 1928, 19 июня. С. 4.

Аркадий Георгиевич Горнфельд (1867—1941) — русско-еврейский критик и литературовед, тяготевший к проблематике психологии творчества. Крымчанин, он учился в университетах Харькова и Берлина. В Петербурге — с 1893 года, с 1904 по 1918-й — член редакции и активнейший автор народнического «Русского богатства».

В 1920-е гг. жил на улице Некрасова (бывшей Бассейной). С детства инвалид (карлик и горбун с большими ногами), он редко выходил из дому, а в 1920-е годы и вовсе не выходил. Мандельштам упоминает единственную встречу, но произошла она не в доме Синани, с которым были близки оба, а в каком-то журнальчике. Им скорее всего был «Еженедельный журнал для всех», где — в бытность редакторства все того же Нарбута! — печатались оба.

Свой перевод Уленшпигеля Горнфельд впервые опубликовал еще в 1915 году — в первых шести выпусках «Русских записок» и под псевдонимом Ю.Б. Коршан, так смутившим впоследствии Карякина, но не Заславского (см. ниже). Книжная версия впервые была напечатана издательством «Всемирная литература» — в двух томах — в 1919 году¹⁸. В 1925 году издательство «Молодая гвардия» и в 1926-м журнал «Гудок» уже перепечатывали его перевод — один к одному и без спросу: оба раза Горнфельд судился и оба раза выиграл в суде¹⁹. Но в 1929²⁰, 1930²¹, 1935 и 1938 гг. — и во многом благодаря описываемому скандалу — этот же перевод переиздавался вновь. Так что ко времени смерти Мандельштама в горнфельдовской прихожей красовалась не одно, а сразу несколько неперелицованных «пальто» — и материально Горнфельд внакладе не остался.

4

Что же делал и что сделал с этими двумя посредственными переводами Мандельштам?

Отредактировал и создал на их основе нечто третье, изрядно оторвавшееся от своих первоисточников.

Называлась такая процедура «редактирование и обработка» — и, кроме небрежности с титулом, зифовское издание «Тилия» ничем не отличалось от преобладающей практики выпуска переводной литературы того времени.

Точно таким же образом и тот же «ЗИФ» выпустил в 1928 году 13-томное Собрание романов Вальтера Скотта под общей редакцией А.Н. Горлина, Б.К. Лившица и О.Э. Мандельштама, в котором Мандельштам, например, был редактором и обработчиком восьми томов. Не лишено интереса, что критико-биографический очерк о Вальтере Скотте, открывающий всю серию, написал... Горнфельд: этот очерк предварял первый том собрания с романом «Веверлей», вышедшем, кстати, «в переводе и обработке» А.Н. Горлина двумя месяцами позже «Тилия»²².

Это «третье», по мнению большинства, было заведомо более читабельным, но, по мнению Горнфельда, — недобросовестным и никуда не годным. И не только из-за привлечения чужих переводов без спросу и даже без упоминания авторов, но и из-за незнакомства редактора-обработчика с оригиналом и редактирования карякинского перевода с помощью горнфельдовского.

18 Ш. де Костер. *Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях, отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах*, т. 1—2. Пг.: Всемирная литература, 1919.

19 См.: *Краткая литературная энциклопедия*. Т. 7. М., 1934. Столбец 587. Вот уж поистине «оброчный мужик», как пошутил А.Б. Дерман.

20 Перевод, предисловие и примечания А.Г. Горнфельда составили книгу: Шарль де Костер. *Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях, отважных, забавных и достославных, во Фландрии и иных странах* (выпущена в Ленинграде в 1929 г. издательством «Красной газеты»).

21 В 1930 г., как явствует из писем А. Дейча к А. Горнфельду, переводом Горнфельда заинтересовалось издательство «Огонек», причем А. Дейч с убежденностью называет его «лучшим из всех существующих на русском языке» (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 294)

22 Не ранее 23 ноября 1928 г.

Так что же все-таки — худое или доброе — совершил писатель Мандельштам с текстом де Костера, обрабатывая и редактируя переводы Горнфельда и Карякина?

Вот несколько суждений о работе Мандельштама, принадлежащих независимым экспертам.

А.В. Федоров: «Большинство переводов (как старых, так и новых), вышедших в течение последних лет, — переводы редактированные. Целесообразность и плодотворность принципа редактур, широко применяемого сейчас, — вне сомнения. <...>

Какой бы радикальный характер ни имела переработка, редактор все же вынужден считаться со свойствами перерабатываемого материала, поскольку старый перевод, хотя бы и в измененном виде, кладется в основу. Случаи полной творческой переработки — редки.

Подобный случай представляет собою изданный ЗИФом перевод «Тили Уленшпигеля» де Костера в переработке О. Мандельштама. Здесь мы видим контаминацию двух ранее вышедших переводов этого романа, отбор наиболее удачных вариантов, проверку одного перевода посредством другого, и своеобразие подлинника, действительно, найдено (может быть, угадано) сквозь словесную чашу двух переводов. Блестящие результаты, достигнутые Мандельштамом, не случайны, конечно, в плоскости работы самого Мандельштама — крупнейшего художника слова и автора превосходных переводов, и лишь с точки зрения практики редактур удача эта, пожалуй, случайна, как слишком индивидуальная»²³.

Исследовав и сличив все три перевода, В.М. Шор счел, что мандельштамовская обработка двух переводов «Тили Уленшпигеля» является «...выражением определенной стадии в развитии русского прозаического перевода — промежуточной между стадиями, представленными переводами А.Г. Горнфельда и Н.М. Любимова. Далеко не точный, не ориентирующийся на народный язык, а следовательно — и на стилистику оригинала, этот вариант перевода отличается вместе с тем отсутствовавшей и у Карякина, и у Горнфельда языковой живостью, выразительностью лексических средств, четкостью синтаксических конструкций... Примеры достаточно иллюстрируют тенденцию Мандельштама как редактора: оживить перевод, освободить его от тягучести и однотонности. Мандельштам не поднимается до уровня мастерства, достигнутого в этом переводе Н.М. Любимовым, но он идет в сходном направлении, добываясь художественной выразительности текста»²⁴.

Третий эксперт — Олег Лекманов, посвятивший немало страниц аналитическому сличению горнфельдовской и мандельштамовской версий «Тили Уленшпигеля», гораздо суровее к обработчику и редактору:

«Главный вывод, напрашивающийся из сопоставительного анализа горнфельдовского перевода с мандельштамовской перелицовкой, следующий: как бы мы сегодня ни оценивали проделанную Мандельштамом работу, назвать ее откровенной халтурой нельзя. Густая правка, которой в процессе переработки подвергся горнфельдовский текст, была спровоцирована необходимостью решать вполне конкретные редакторские задачи. Две самые очевидные среди них, — это тотальное упрощение и сокращение «слишком грузного текста» Горнфельда <...> с целью сделать его максимально доступным для восприятия «широкого читателя». А также идеологическое причесывание текста, вымарывание из него фрагментов, «несозвучных» советской эпохе»²⁵.

Но все эксперты сходятся в одном: в контексте задач, поставленных перед Мандельштамом издательством, отредактированная им версия самостоятельна (текст перелопачен практически весь), эффективна (текст сокращен и освобожден от политически нежелательных двусмысленностей) и привлекательна для читателя (текст облегчен, и читается легко — «Уленшпигель-лайт-энд-шорт»). Другое дело, что сами эти задачи не слишком кошерны, ибо никак не считались ни с авторской волей де Костера, ни с авторской волей его реальных переводчиков.

23 Федоров А.В. О современном переводе // Звезда, 1929. № 9. С. 191—192.

24 Шор В.М. Из истории советского перевода // Мастерство перевода. Сб. 13. М., 1990. С. 314—317.

25 Лекманов О. Осип Мандельштам. Жизнь поэта. М., 2009. С. 172—177.

5

Мандельштам прекрасно сознавал, что ложное указание его имени на месте имени переводчика, не будучи дезавуированным, содержит в себе массу угроз. И забил тревогу сразу же после того, как узнал о казусе.

Из Крыма, где он находился, он послал Горнфельду телеграмму (увы, не сохранившуюся), в которой приносил извинения и предлагал компенсацию²⁶. По его настоянию и издательство вскоре подтвердило его слова, впрочем, не принеся никому никаких извинений и даже теперь не назвав имен пострадавших переводчиков.

Осип Мандельштам для Горнфельда — «*талантливый, но безпутный человек, умница, свинья, мелкий жулик*»²⁷. Эта пятерка эпитетов выдает как знакомство с творчеством самого Мандельштама и признание его класса («талантливый», «умница»), так и крайнее раздражение в его адрес, сложившееся задолго до этой истории. Источник раздражения прямо называет А.Б. Дерман, друг и конфидент Горнфельда: «*Какой надменно-аристократический тон, когда он трактует о разных там Михайловских, и какая простенькая, вульгарная вороватость. Это не случайное совпадение, — и в том и в другом случае это преломление нищезанства сквозь призму русского поросенка*»²⁸.

Тут имеются в виду иронические характеристики, данные Мандельштамом Н.К. Михайловскому в «Шуме времени» (в главках «Эрфуртская программа» и, особенно, «Семья Синани»). Но Михайловский был центральной фигурой всего круга «Русского богатства», к которому прочно принадлежал и Горнфельд! Так что мандельштамовские «наезды» в глазах этого круга смотрелись актами неслыханного кощунства и святотатства.

Но больше всего Горнфельда задевало другое: та уничижительная «критика» его переводческой работы, которую он вдруг обнаружил при сличении версий «Уленшпигеля» — своей и мандельштамовской. От того, что он и Мандельштам поймал на ошибках, «мозоль» не проходила.

Как литератор с 40-летним стажем он понимал, что мандельштамовская версия в итоге лучше. Разве не об этом — его же слова в публичном письме: «*Хочу ли я сказать, что среди поправок нет ни одной приемлемой? Конечно нет: Мандельштам писатель опытный*»²⁹ Но в особенности — эти, в письме частном: «*А если бы он (О. Мандельштам. — П.Н.), дурак, перевел добросовестно, то мне бы моего перевода уж никак не пристроить!*»³⁰

И сколько бы Горнфельд ни «жалел» Мандельштама, называя его даже «не плохим» и «ценным» человеком³¹, больше всего ему хотелось посчитаться с обидчиком и максимально его ослабить. Но после двух своих открытых писем — опубликованной «Переводческой стряпни» и неопубликованного (написанного в последней декаде 1928 года) — он избрал для этого преядовитейшую тактику: «жалеть» Мандельштама, но бить, бить — но чужими руками³². Так, отказываясь присоединиться к Карякину в качестве истца, он тем не менее подает ему сигналы о том, как тому грамотнее всего действовать против издательства и Мандельштама³³.

26 Интересно, что Карякина на этот же предмет он не разыскивал.

27 Из письма Р.М. Шейниной от 18 октября 1928 г.

28 Из письма А.Б. Дермана от 23 октября 1928 г. В этом же письме — еще одна фундаментальная для этой истории констатация: «*Тиль Уленшпигель*» — «оброчный мужик» Аркадия Горнфельда.

29 Красная газета. Веч. выпуск. 1928, 28 ноября.

30 Из письма Р.М. Шейниной от 12 января 1929 г.

31 В письме А.Б. Дерману от 4 февраля 1928 г.

32 На это справедливо обратил внимание и В.В. Мусатов, посвятивший истории с Уленшпигелем главу «*Щучий суд*» в своей книге «*Лирика Осипа Мандельштама*» (Киев, 2000. С. 293—321).

33 В письме Правлению ВСП от 10 января 1929 г.

6

Но попробуем далее временно воздержаться от комментариев и эмоций. Пускай выговорятся сами документы — письма, статьи, телеграммы, наброски, даже финансовые расчеты — благо все это вполне выразительные голоса. Они легко распределены по четырем отчетливым частям, каждая заняла по 3—4 месяца.

Первая часть (фаза) — с октября 1928 года по январь 1929-го. Это реакция Горнфельда на выход своего «оброчного мужика» (Уленшпигеля), переделанного этим выскочкой Мандельштамом. И еще реакция Мандельштама на реакцию Горнфельда, а также Карякина, присоединившегося к дуэту с большим опозданием. Мандельштам тут в основном защищается.

Тем не менее Горнфельд опубликовал 28 ноября в той же газете свое «Письмо в редакцию» под заглавием «Переводческая стряпня», где, лишенный теперь возможности обвинить Мандельштама в плагиате, упрекает его и издательство в сокрытии имени настоящего переводчика, а главное — возражает против самого метода механического соединения двух разных переводов, а также их неквалифицированной, на его взгляд, переработки.

12 декабря 1928 года Мандельштам выступил с ответным письмом в «Вечерней Москве». Ответив на брошенные обвинения и показав существо своей работы над исходными текстами, он писал:

«А теперь, когда извинения давно уже произнесены, — отбросив всякое миндальничанье, я, русский поэт и литератор, подъявший за 20 лет гору самостоятельного труда, спрашиваю литературного критика Горнфельда, как мог он унизиться до своей фразы о «щубе»? Мой ложный шаг — следовало настоять на том, чтобы издательство своевременно договорилось с переводчиками — и вина Горнфельда, извратившего в печати весь мой писательский облик, — несоизмеримы. Избранный им путь нецелесообразен и мелочен. В нем такое равнодушие к литератору и младшему современнику, такое пренебрежение к его труду, такое омертвление социальной и товарищеской связи, на которой держится литература, что становится страшно за писателя и человека.»

Дурным порядкам и навыкам нужно свертывать шею, но это не значит, что писатели должны свертывать шею друг другу».

На что Горнфельд ответил письмом, — правда, не опубликованным, но разошедшимся в списках и представленным в суд и на слушания Комиссии ФОСП, — где говорилось: «Но Мандельштам до такой степени потерял чувство действительности, что, совершив по отношению ко мне некоторые поступки, в которых ему пришлось потом «приносить извинения», меня винит в том, что я нарушил его покой. Я не хотел и не хочу от него ничего; ни его извинений, ни его посещений, ни его волнений... Если скандал и произошел, то это очень хорошо: «явочному порядку» положен некоторый предел. Это должен приветствовать и Мандельштам: это избавит его от сходных «ложных шагов» и неизбежно связанных с ними нарушений его покоя»³⁴.

Тем не менее, как явствует из ответа Горнфельда на запрос Всероссийского Союза писателей в связи с обращением в него В.И. Карякина, сам Горнфельд в это время добивался «только гласности и суда общественного мнения и потому совершенно удовлетворен той оглаской, которую получило дело»³⁵. Ну, и еще отступного от издательства.

Мы видим на первой фазе у Горнфельда реакцию на выход своего «оброчного мужика» Уленшпигеля, переделанного этой выскочкой Мандельштамом, что особенно оскорбительно для 60-летнего литератора, сполна хлебнувшего при этом причитающихся каждому литератору «мук слова». А какова реакция Мандельштама на реакцию Горнфельда, а также Карякина?

34 РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 584. Л. 21—22.

35 РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 584. Л. 21—22.

Во второй части свои отношения выясняют Мандельштам (или, точнее, Мандельштам и Бенедикт Лившиц) и новый директор ЗИФа Ионов, разорвавший с обоими договоры.

Илья Ионович Ионов (Бернштейн) (1887—1942) — фигура примечательная. Никудышный революционный поэт, бывший шлиссельбуржец и партийный деятель, издательский работник, свояк Г.Е. Зиновьева. С 1918 года — на руководящих должностях в больших советских издательствах: в 1918—1923 гг. — в издательстве Петросовета и в Петрогосиздате, в 1924—1926 — в Ленгизе (Ленотгизе). В результате конфликта с заведующим ГИЗом Г. И. Бройдо в марте 1926 года был отстранен от должности и переведен в Москву. В 1926—1928 гг. — в США, где занимался закупками хлопка. В 1928—1930 гг. руководил издательствами «Земля и Фабрика» и, одновременно, в 1928—1932 гг., «Academia».

На «Academia»³⁶ он и споткнулся. Защитить от него это культурное издательство и вообще советскую издательскую жизнь однажды у Сталина попросил даже Горький. 25 января 1932 года он написал вождю из Сорренто: *«Прилагая копию письма моего Илье Ионову, я очень прошу Вас обратить внимание на вреднейшую склоку, затеянную этим ненормальным человеком и способную совершенно разрушить издательство “Академия”. Ионов любит книгу, это, на мой взгляд, единственное его достоинство, но он недостаточно грамотен для того, чтоб руководить таким культурным делом. Я знаю его с 18-го года, наблюдал в течение трех лет, он и тогда вызывал у меня впечатление человека психически неуравновешенного, крайне — “барски” — грубого в отношениях с людьми и не способного к большой ответственной работе. Затем мне показалось, что поездка в Америку несколько излечила его, но я ошибся, — Америка только развила в нем заносчивость, самомнение и мещанскую — “хозяйскую” — грубость. Он совершенно не выносит людей умнее и грамотнее его и по натуре своей — неизлечимый индивидуалист в самом плохом смысле этого слова»*³⁷.

Просьба Горького была уважена, и с апреля 1932 года Ионов — руководитель акционерного общества «Международная книга». В 1937 году арестован, спустя пять лет умер в Севлаге.

Когда в начале 1929 года Ионов приехал из Москвы в Ленинград принимать у Нарбута дела «ЗИФа», с ним встретился Бенедикт Лившиц (Мандельштам с женой в это время был в Киеве). Е.К. Лившиц, вдова Лившица, вспоминала: *«К Ионову Лившиц взял меня. Ионов остановился в “Европейской”. Лившиц зашел в номер один. Потом рассказал, что Ионов поздоровался с ним по-английски»*³⁸. Бенедикт Конст<антинович> ответил: *I do not speak English. — Как же вы тогда переводите с английского? Договор был разорван»*³⁹.

Отлучение от издательской кормушки до крайности затруднило материальное обеспечение их существования. И когда стало ясно, что консенсус с Ионовым недостижим, Мандельштам решился на «серьезную борьбу», но уже не за реанимацию договоров и возвращение к кормушке⁴⁰, сколько за системную реорганизацию всего переводческого дела. Он писал отцу из Киева: *«...Я — обвинитель. Я требую <...> достойного применения своих знаний и способностей. <...> Мне обеспечена поддержка лучшей части советской литературы. Я это знаю. Я первый поднимаю вопрос о*

36 В 1928 г. в этом издательстве вышел сборник статей О. Мандельштама «О поэзии».

37 См. Документы XX века. Всемирная история в интернете. В сети: <http://doc20vek.ru/node/1583>

38 Перед этим Ионов почти два года проработал в США.

39 Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем. Т. 3. М., 2011. С. 797.

40 Иск Мандельштама и Лившица к «ЗИФу» по поводу расторгнутых в одностороннем порядке договоров был подан, и 7 апреля 1929 г. состоялся третейский суд (см. в письме Р. В. Иванова-Разумника к А. Г. Горнфельду от 8 апреля 1929 г.). Суд принял решение в пользу истцов, о чем говорит то, что работа по этому договору в 1929—1930 гг. возобновилась. Всего вышло 8 томов Собрания сочинений Т. Майн Рида под редакцией и с примечаниями Мандельштама (из них три — с участием Б.К. Лившица).

безобразиях в переводном деле — вопрос громадной общественной важности — и, поверь, я хорошо вооружен»⁴¹.

В этой части Мандельштам — жертва, но он не защищающаяся, а нападающая сторона: кульминацией чего стал выход в «Известиях» его статьи «Потоки халтуры» 7 апреля 1929 года, еще через три месяца как бы продолженной статьей «О переводах», более всего напоминающей арьергардные бои, зато напечатанной не где-нибудь, а в рапповском «На литературном посту».

В. Мусатов, конечно же, прав, когда пишет о Мандельштаме: «Теперь он сам, а не Горнфельд становится жертвой издательской беспринципности»⁴², но он не прав, когда объясняет конфликт одними лишь мстительностью, мелочностью и властолюбием Ионова. Мандельштам, защищающийся от горнфельдовского обвинения в плагиате, порожденного оплошностью издательства, еще как-то понятен и приемлем⁴³, но Мандельштам, раскрывающий «рецепты» издательской «кухни» и выносящий из избы весь сор, — нет. И уж тем более неприемлем Мандельштам, требующий изменить систему, производящую этот прибыльный сор, — он вреден, он опасен, его нужно нейтрализовать! И Ионов, как многолетний представитель головки издательского сообщества, то есть той самой сориентированной на профит системы, на которую замахнулся Мандельштам, не мог не видеть в нем опасного бунтаря и антагониста. Просто, будучи адресатом мандельштамовского письма или писем, он узнал об этой угрозе первым, еще зимой 1929 года, а все остальные — весной, в апреле, со страниц «Известий».

У личного конфликта двух литераторов, и впрямь вцепившихся — на радость мещан — друг другу в волосы, вдруг обозначилась перспектива перерасти в общественный конфликт. Но не в мандельштамовском смысле («свернуть шею дурным порядком!»), а в другом: свернуть шею самому Мандельштаму!

Во всем этом коренился нешуточный для Мандельштама потенциал опасности. Было как бы заряжено и повешено на стенку ружье, которое обязательно еще выстрелит.

8

Задачу по приведению этой угрозы в исполнение взяли на себя два многоопытных человека — Семен Канатчиков (заказчик) и Давид Заславский (киллер). В том, как это у них получалось или не получалось, — главная интрига третьей части «Битвы под Уленшпигелем».

Эта фаза длилась с мая по июль 1929 года. Мандельштама вынудили вновь перейти к защите, причем оборонялся он от куда более опасного и опытного врага — фельетониста-«правдиста» Давида Заславского, попытавшегося — и не без успеха — заполучить себе в союзники и Горнфельда и превратить фельетонную критику Мандельштама в его травлю.

Направляющей рукой, а одновременно главным редактором печатного органа, где происходила травля, и председателем писательского суда (конфликтной комиссии) был Семен Иванович Канатчиков (1879—1940) — старый большевик, удостоенный Лениным разговора и приставленный Сталиным к литературе (хотя все его писания, — в 1938-м изъяты из библиотек, — это рассказы о партийной молодости: «История одного уклона», «Как рождалась Октябрьская революция», «Из истории моего бытия», «Рождение колхоза»).

В его послужном списке встретим и НКВД РСФСР (1919, член коллегии), и Малый Совнарком, и комуниверситеты в Москве и Питере. В 1924 году он планирует в журналистику и печать — на самый верх: в 1924-м — заведующий отделом печати ЦК РКП(б), в 1925—1926 годах — заведующий отделом истории партии ЦК ВКП(б), при этом в 1925 году возглавлял еще и Государственный институт журналистики. В 1926—1928 годах —

41 Из письма отцу в феврале 1929 г.

42 Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 2000. С. 303.

43 И печатное заявление А.Г. Венедиктова отчетливо показало границы солидарности издательства с одним из лучших своих работников.

корреспондент ТАСС в Чехословакии. Делегат XIV съезда ВКП(б), где выступил с содокладом к докладу И. Вардина об идеологическом фронте и задачах литературы, в котором нападал на А. Воронского, Канатчиков в 1925—1927 гг. — участник «Ленинградской» и объединенной оппозиции, но затем с оппозицией порвал.

С 1928 года он на литературной работе: в 1928—1929 гг. — редактор журналов «Красная новь» и «Пролетарская революция», в 1929—1930-м — ответственный редактор (первый в их длинном ряду!) «Литературной газеты»⁴⁴, главный редактор ГИХЛ. На посту главного в «Литературке» Канатчиков продержался до сентября 1930 года. Конец жизни — трагический: арестован в 1937-м, расстрелян в 1940 году.

Первый номер «Литературной газеты» вышел 22 апреля 1929 года. Понятно, что содержание первого и нескольких последующих номеров формировалось заранее и что статьи заказывались, очевидно, главным редактором. Уже в первых двух номерах появляются подборки различных заметок, посвященных вопросам перевода, поднятым Мандельштамом в «Известиях». Казалось бы, впереди плодотворная дискуссия по этому большому и важному вопросу. Но не тут-то было: в третьем — за 7 мая — номере появляется фельетон «О скромном плагиате и развязной халтуре» — этот, по выражению Е.Б. и Е.В. Пастернаков, «... классический образец неуязвимой инсинуации» и «ловкой шулерской передержки»⁴⁵. Это, конечно, лишь случайное совпадение, но Заславский, тщательно фиксировавший все свои доходы, получил за него сакраментальную тридцатку!

Вот логические ходы, или «шаги», фельетониста. Сначала — описание элементарного плагиата, кончившегося привлечением виновного в Киеве к уголовной ответственности. Далее: в отличие от разоблаченного «плагиатора» развязная деятельность литератора, редактирующего чужое переводное произведение, судебно не наказуема, хотя, в изложении Заславского, — это не только «развязная халтура», но и точно такой же плагиат. Кто же (следующий шаг) осуждает развязную халтуру? Это делает халтурщик Мандельштам, требующий в своей статье суда над халтурщиками. В третьей части фельетона Заславский, с помощью цитат из Горнфельда, характеризует Мандельштама как пример той самой недобросовестности, что осуждает сам Мандельштам. В концовке фельетона — вообразимый суд Мандельштама-критика над Мандельштамом-редактором. В итоге критика Мандельштамом переводного дела выворачивается наизнанку и обращается на него самого.

Этот фельетон развернул дискуссию совершенно в другую сторону — в сторону самого Мандельштама — и положил начало тому, что стороны по заслугам называли «Делом»: «делом об Уленшпигеле» — Горнфельд и «делом Дрейфуса» — Мандельштам.

В следующем, четвертом, номере «Литературной газеты» (13 мая) были помещены письма в редакцию, во-первых, самого Мандельштама, где, в частности, говорится: «Опубликование же всякого рода заведомо ложных, неполных, неточных или подтасованных сведений, а также порочащих человека немотивированных сопоставлений называется клеветой в печати. Так называется поступок со мной гр. Заславского...». Там же — письмо к защите Мандельштама, подписанное пятнадцатью известными писателями: К. Зелинским, В. Ивановым, Н. Адуевым, Б. Пильняком, М. Казаковым, И. Сельвинским, А. Фадеевым, Б. Пастернаком, В. Катаевым, К. Фединым, Ю. Олешей, М. Зощенко, Л. Леоновым, Л. Авербахом и Э. Багрицким.

Канатчиков хотел завершить дискуссию уже готовым ответом Заславского (его продажное перо и так «муками слова» не страдало, а тут он просто-напросто перепечатал «Переводческую стряпню» А.Г. Горнфельда). Но после протестов писателей этот ответ был перенесен на пятый номер, вышедший 20 мая.

44 В редколлегию вошли также: от Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) — Б. Волин, от «Круга» — А. Лежнев, от «Перевала» — И. Катаев, от «Кузницы» — В. Вешнев, от Всероссийского общества крестьянских писателей (ВОКП) — Ф. Тусов, от Всероссийского союза писателей (ВСП) — Е. Зозуля, от Литературного центра конструктивистов (ЛЦК) — Б. Агапов, от Реф — И. Ломов (В. Катанян), три представителя от Ленинграда — М. Карпов, Ю. Либединский и Б. Эйхенбаум. Вначале газета выходила раз в неделю, ее тираж составлял 45 000 экземпляров.

45 Память. Вып. 4. М., 1979. Париж, 1981. С. 308.

Далее следовала заметка «От редакции», поставившая жирную точку во всем этом «деле». Но прежде всего на начатой Мандельштамом, подхваченной другими переводчиками, но так и не развернувшейся дискуссии о переводческом ремесле. Дискуссия, правда, успела породить комиссию («бюро») из переводчиков и издательских работников (Сандомирский, Эфрос, Зенкевич, Мандельштам, Ярхо, Ромм и Мориц). Но после фельетона Заславского бюро это признаков жизни уже не подавало. Вторая комиссия (нет, «бюро») была создана ФОСП 21 мая — в составе Эфроса, Зелинского и Бели Иллеша — для проработки вопроса об урегулировании переводческого дела. О достигнутых ею результатах пишущему эти строки ничего не известно.

Так что издательское начальство снова могло расслабиться и спокойно вернуться к своим некошерным схемам.

А подыгравший им Канатчиков — к своим. Сообщая о передаче самого «дела» в Примирительно-конфликтную комиссию ФОСП, редактор «Литературки» скромно умолчал о том, что он и сам вошел в ее состав⁴⁶. Комиссия заняла сначала примирительную, а потом враждебную по отношению к Мандельштаму позицию.

Канатчиков между тем остановил уже написанное и подписанное письмо в защиту Мандельштама группы других писателей — ленинградских: для этого оказалось достаточно намекнуть подписантам, что на это очень косо посмотрят в ЦК. Так Мандельштама отрезали от его защитников, а его «дело» стало быстро перерождаться из личного конфликта в общественную травлю⁴⁷.

В своей статье, посвященной 80-летию «Литературки», Ольга Быстрова совершенно напрасно начинает историю ее дискуссий с полемики по поводу детской литературы — обвинения в адрес Детского отдела ГИЗ и конкретно против С. Маршака⁴⁸. Дискуссия была острой, но все же не переросла в травлю, особенно после того, как за Маршака заступился Горький (на страницах «Правды»).

Именно дискуссия о Мандельштаме, подменившая собой дискуссию о переводе⁴⁹, стала подлинным дебютом этого многообещающего жанра — полудискуссионно-полутравли — в «Литературной газете».

Подтверждения перспективности жанра не заставили себя долго ждать. Тот же 1929 год характеризуется раздуванием инцидентов с Б. Пильняком и Е. Замятиным, напечатанными своими произведениями («Красное дерево» и «Мы») за границей.

Следует заметить, что травли писателями писателей тогда еще были в диковинку, а вот в науке, в образовании, в музейном деле травли — своего рода чистки для беспартийных попутчиков — стали самым обычным делом. Круче всего было в экономике — отказ от НЭПа и возвращение на социалистические рельсы требовали здесь уже не проработок, а крови. Поэтому раньше всего от травли к жесточайшим репрессиям перешли в промышленности (Шахтинское дело, позднее Промпартия и т.д.) и сельском хозяйстве (раскулачивание как тотальная атака на крестьянство).

9

Чтение писем Заславского Горнфельду выявляет нечто чрезвычайно их объединяющее и умильное: это жалость к Мандельштаму. Заславскому померещился

46 Обещание ознакомить общественность с результатами трудов комиссии по их завершении он предпочел в нужный момент забыть.

47 Позднее, в конце 1932 г. (спустя год после смещения Канатчикова), у Мандельштама и у «Литературки», власть в которой перешла к рапповцам С. Динамову и А. Селивановскому, установятся вполне добродушные отношения: в редакции газеты состоялся вечер поэта (правда, закрытый), в самой газете вышли стихи Мандельштама, а критик Селивановский в своем обзоре сделал то же, что в 1961 г. Эренбург, — процитировал неизданные стихи Мандельштама.

48 Быстрова О. «Дорогой Алексей Максимович!..» // Литературная газета. 2009, 22 апреля.

49 Горький о ней превосходно знал, но не вмешался.

мандельштамовский некролог, и он, бедный, целых полчаса после этого не мог прийти в себя.

Но Заславский профессионал, и сопли ему не к лицу. Поэтому 5 июля он наносит следующий удар по цели: в «Правде» — его новая статья против Мандельштама («Жучки и негры»), где описывалась эксплуатация одних писателей («негров») другими («жучками»). Избегая называть Мандельштама по имени, он обвинил его в принадлежности к «жучкам». Разумеется, ни словом он не обмолвился о самых верхних этажах этого вертикального уродства — о монструозных «жуках», каковыми являются сами крупные издательства, заточенные под ту самую дешевку и халтуру, от обсуждения которых он, Заславский, их так ловко избавил.

Давид Иосифович Заславский (1880—1966) — в прошлом политический активист и член ЦК Бунда, одинаково пламенный публицист «Киевской мысли», меньшевистской — столь ненавистой Ленину — газеты «День» и большевистской «Правды». Сюда он пришел совсем незадолго до травли Мандельштама — в 1928 году. Пришел беспартийным — но в 1934 году обзавелся и красной корочкой. На лацкане его пиджака постепенно обживались ордена, в том числе два ордена Ленина.

Что ж, по заслугам! Он был крупным специалистом по травлям, к тому же инициатором и энтузиастом: среди его жертв — Мандельштам, Шостакович и Пастернак. «Я превосходно понимаю, как надо писать, — исповедовался он Шкапской. — <...> Любой вопрос советской современности кажется мне в миллион раз более важным, в миллион раз более заслуживающим внимания, чем огорчения крохотных людей о том, что я “погубил свою душу”...»⁵⁰.

Некоторой особенностью литературной травли конца 1920-х — начала 1930-х была их публичность и остающаяся у травмиемого возможность защищаться, что резко отличало ее от сворной и односторонней — «все на одного!» — травли образца середины 1930-х или конца 1950-х гг., когда тот же Заславский по команде «фас!» травил, соответственно, Шостаковича, Пастернака и Эйзенштейна. Так что Мандельштаму, можно сказать, «повезло».

Бросается в глаза, что все, кого Заславский завербовал к себе в сторонники, морщатся и испытывают при этом некоторое замешательство и рвотный рефлекс. Дерман — Горнфельду: «По существу очень верно, но лучше бы кто другой написал» (11 мая). Горнфельд — Дерману, 15 мая: «Хуже всего, что придется делать общее дело с Заславским». Дерман — Горнфельду, 15 мая: «Жалко, что не кто-нибудь другой написал о Мандельштаме, а то с этим не хочется входить в сношения. Будь бы кто-то другой, я бы позвонил и сказал, что могу дать кое-какие пояснения», Ничто так не говорит об устойчивости нерукопожатной репутации Заславского, как эта инстинктивная гримаса.

Да он и сам соглашался с оценкой других: да, ренегат! Но это не важно, потому что ренегатство — это всегда краски прошлого и из прошлого, а он, Заславский, флюгер и хамелеон, он живет сейчас, он востребованный боец, — отчего и принимает окрас современности, какую бы она ни была.

Принципиальная «флюгерность» Заславского проявилась позднее даже в такой теме, как Холокост. Нет, неслучайно именно он оказался адептом столь «популярного» среди антисемитов тезиса о самоответственности евреев за Катастрофу:

«А несомненно то, что погибшие составляли самую неустойчивую, наименее достойную часть советского еврейства, — часть, всего более лишенную и личного и национального достоинства. Еврей, который по тем или иным причинам остался при немцах и не покончил с собой, сам приговорил себя к смерти. И если он еще к тому же из личных выгод оставил при себе детей, обрекши и их на смерть, он предатель»⁵¹.

⁵⁰ В письме от 14 декабря 1929 г.

⁵¹ Полян П. Между Аушвицем и Бабьим Яром. Размышления и исследования о Холокосте. М., 2010. С. 537—539 (По: РГАЛИ. Ф. 2846. Оп. 1. Д. 39. Л. 1—10).

И десятки тысяч безвинно убитых евреев — в сволочных его мыслях и на кончике поганого его пера — это все получившие по заслугам трусы, гешефтмахеры и предатели!

Если бы партия затребовала фельетончик на эту тему и с таким душком — написал бы. А так — ограничился записями в дневнике...

Вот уж поистине не ренегат, а подонок — настоящий, вечный, с самой что ни на есть большой буквы!..

10

В этой битве под Уленшпигелем есть один очень поучительный момент — ее перерождение из сугубо частного конфликта в литературно-общественную травлю, а под конец и чуть ли не в политический процесс. Причем видно, как со временем политическое набирает силу и нагнетается.

Неприметные признаки этого рассыпаны в различных «документах дела». Вот 25 мая Заславский бросает Горнфельду: «После бурь внутриредакционных и вне-редакционных (даже весьма вне)...»⁵². Что это за вне-редакционные бури такие? В каких таких кабинетах побывал Заславский в поисках направления ветра?

А 4 июня он же бросает Горнфельду еще одну идеологическую кость: «...Работа Мандельштама сводилась именно к кастрации социально-революционной стороны "Тиля", как по содержанию (выброшены песни Тиля и целый ряд глав), так и со стороны стиля: грубовато-революционный язык Тиля заменен бесстыльной манной кашей Мандельштама».

Но мы уже читали у Лекманова, что на самом деле Мандельштам по ходу своей редакции, отчасти и идеологической, делал прямо противоположное — прививал национально-религиозному «дичку» восстания гезов только что не пролетарскую «розу».

Горнфельд остался к этому равнодушен, но тезис о «кастрации социально-революционной стороны» вполне мог иметь успех, например, у части старых революционеров. Не с этим ли связано появление имени В. Фигнер в рядах партии противников Мандельштама, о чем Лукницкому рассказывал Пяст?⁵³

О том, что не все так просто в этом поединке, догадывался и Пастернак, писавший Цветаевой 30 мая 1929 года: «Теперь против него поднята действительно недо-стойная травля, и как всё у нас сейчас, под ложным, разумеется, предлогом. Т.е. официальные журналисты, являющиеся спицами левейшего колеса, нападая на него, сами м.б. не знают, что в своем движеньи увлекаются приводною тягой правого. Им и в голову не приходит, что они наказывают его за статью в "Известиях", что это, иными словами, действия всяких старушек, от "Известий" находящихся за тысячи верст. Это очень путаное дело»⁵⁴.

Спустя две недели, 14 июня, Пастернак пишет в связи с Мандельштамом (на этот раз Тихонову) о том, «...как трудно временами становится читать газеты (кампания по "разоблачению бывших людей" и пр. и пр.)». Это очень важная обмолвка.

Одно и то же событие, один и тот же поступок, одно и то же слово серьезно меняют свой смысл в зависимости от времени его произнесения или совершения. И может стать, что те, кто настаивает на чем-то одном и своем, идут вовсе не вдоль моря, по щиколотку в соленых брызгах, а поперек, с каждым шагом уходя все дальше на глубину и погружаясь во все более и более рискованные слои.

Так, в феврале 1930 года Мандельштаму пришлось отвечать уже не на вопросы о разнице между переводами, а о том, что он делал в Феодосии при белых.

52 Из письма Заславского Горнфельду от 25 мая 1929 г.

53 См. запись в дневнике Лукницкого за 25 июня 1929 г.

54 В этом же письме Пастернак, кстати, выразил свою солидарность с теми вымиравшими и нуждающимися переводчиками-любителями, отобрать у которых переводческий хлеб, собственно, и предлагал Мандельштам.

11

Созданная ФОСП (руководитель — Канатчиков) еще 12—13 мая 1929 года «Комиссия для разбора обвинений, предъявленных Мандельштаму Литгазетой» работала над своим заключением более полугода — вплоть до декабря.

Инициатором ее создания была редакция «Литературной газеты» (ответственный редактор — Канатчиков). Ее первый состав: юрист Николаев, писатели Богданов, В. Львов-Рогачевский и под председательством... Канатчикова!

Первое действие комиссии: письмо Горнфельду с запросом об отношении к «Делу». Тот, по обыкновению, повторил свои обвинения и отошел в сторону: мол, ничего личного!

Комиссия же в мае приняла классическое Соломоново решение: неправы все — и издательство, и Мандельштам, но он не один такой, он был в мейнстриме; не прав и Заславский, допустивший неподобающий тон. На этом инцидент объявляется исчерпанным, все свободны.

Но 10 июня деятельность комиссии была возобновлена, и ее решения приняли достаточно ясный антимандельштамовский характер, осуждающей тот самый «мейнстрим», но исключительно в его лице. Заславский же был, конечно, резок, но справедлив.

Параллельно в Московском губсуде шел процесс Карякина против «ЗИФа», к которому ионовское издательство привлекло уже Мандельштама — в качестве ответчика. 11 июня суд рассмотрел, но не удовлетворил иск В. Н. Карякина на том основании, что мандельштамовская обработка «является совершенно самостоятельным произведением»⁵⁵. Миссию информирования общественности об этом процессе взяли на себя другие газеты — «Комсомольская правда» и «Вечерняя Москва».

А 5 августа — ввиду наличия формальных моментов, дающих повод к пересмотру, — была создана новая комиссия ФОСП в составе Селивановского, Габриловича, Павленко и Богданова (то есть уже без Канатчикова).

Результаты ее работы до нас не дошли.

Заго дошла реакция Мандельштама — «Открытое письмо советским писателям» и «Четвертая проза».

12

Четвертая часть (фаза), вобравшая в себя осень 1929 и зиму 1930 годов, — быть может, самая проигрышная для Мандельштама-«сутяжника», но явно победительная для Мандельштама-поэта. Завершающие ее наброски писем Мандельштама советским писателям — писем-пощечин — не что иное, как подступы к «Четвертой прозе». Сама же «Четвертая проза» настолько сама просилась в эту «четвертую часть», что три главки из нее, в которых упоминаются Горнфельд, в нее и попали.

Но в феврале 1930 года ему предстояло пройти через горнило куда более серьезной, нежели все фосповские, комиссии — скорее всего, райкомовской комиссии о чистках.

А в концовке письма от февраля-марта 1930 года: «Я один. *Ich bin arm. Все неправимо. Разрыв — богатство*».

Из «Открытого письма советским писателям»: «Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью, а поповскую жестокость надо иметь, чтобы после года дикой травли, пахнувшей кровью, вырезать у человека год жизни с мясом и нервами, объявить его «морально ответственным» и даже ни словом не обмолвиться по существу дела... Я уйду из Федерации советских писателей, я запрещаю себе отныне быть писателем, потому что я морально ответствен за то, что делаете вы».

На паях с армянскими впечатлениями 1930 года, эта проза послужила отличным трамплином к возвращению осенью самого главного, что только может быть у поэта, — его стихов! В этом смысле и Горнфельд, и Ионов, и Канатчиков, и Заславский оказались невольными ассистентами того непредсказуемого сценария и повитухами того волнующего процесса, что вернул Мандельштаму его поэтический голос.

Но вот что интересно: из этой квадриги в «Четвертой прозе» помянут один лишь Горнфельд, названный к тому же в сердцах убийцей, киллером! За что, почему?!

Да потому что Горнфельд — единственный из всех, в ком Мандельштам, при всем различии и даже незнакомстве, признает и товарища по цеху, и старшего современника! И единственный, кого он еще может хотя бы упрекнуть, — в отсутствии солидарности и товарищеской связи, например. Единственный, кого он может еще ненавидеть — за мелочность, за котурны морального превосходства, за то, например, что оказался заодно с теми, кого Мандельштам и ненавидеть не может, а только презирать! С Канатчиковым, с Ионовым, с Заславским!..

Благодаря ему, Дантесу с Бассейной, еще не написанная концовка «Волка» — «...И меня только равный убьет!» — приобрела дополнительный — и скорее комический — смысл.

В отрыве же от этого, сами по себе, упоминания и характеристики Горнфельда в «Четвертой прозе» вполне могут восприниматься как ничем не мотивированные личные выпады и оскорбления заслуженного и больного литератора.

Ефим Эткинд однажды даже вступился за его честь: «Если бы мне пришлось писать комментарий к этим строкам, я бы прежде всего сказал читателям: автор “Четвертой прозы” пребывал в состоянии клинически болезненного раздражения; он несправедливо оскорбляет литератора, самоотверженно трудившегося всю свою невynosимую жизнь и бывшего — в отличие от Мандельштама — прекрасным и добросовестным переводчиком; книга же “Муки слова” (1906, 1927) — труд замечательный, и последнее, что можно сказать о ее авторе, — это что он “рожден с каменной печатью литературного убийцы на лбу”. В данном случае Мандельштам написал просто нелепость — злоба ослепила его. Почему комментаторы не заступились за Горнфельда? Не потому ли, что великий Мандельштам не может быть низким, а злодей Горнфельд — всегда злодей?»⁵⁶

Раздражен ли Мандельштам в «Четвертой прозе»? — О да, несомненно, еще как!

Но ослепила ли его злоба? — Нет, но скорее сводящее скулы отчаяние от себя-любивой слепоты и пошлой мелочности того, кто толкает собрата по литературе — мнимого вора своей «шубы» — навстречу реальной травле, запрету на профессию и смертной тоске. Мандельштам и тут прибег к своему излюбленному прозаическому приему — усилительной оптике «сквозь птичий глаз»⁵⁷, но Аркадий Горнфельд («литературный убийца»), как и Дмитрий Благой («лицейская сволочь») попались ему отнюдь не просто так, не под горячую руку.

Осип Эмильевич сразу же уловил, что вся эта шубейно-буржуазная порядочность Горнфельда в этой истории — лишь маскировка его литературской (здесь переводческой) спеси и, как отчетливо видно из переписки, меркантильного интереса. Неумение встать над этим — или хотя бы выбраться из-под этого — и привело Горнфельда в объятия всей этой многоголовой гнуса и лицейской сволочи...

Кутаясь в полы своего ненаглядного «пальто», Аркадий Горнфельд дал своему самолюбию перерастаи в тот слепой конформизм и послушный сервиллизм, собственно, и ставшие орудиями инкриминируемого ему «убийства».

Ну а от Канатчикова, ИONOва и Заславского не осталось ничего, кроме пары строчек в комментариях к «Четвертой прозе»...⁵⁸

P.S. В сугубо практическом плане у этой истории все же оказалось еще одно — и довольно неожиданное — последствие. Это открытие в июле 1930 года в Москве

56 Эткинд Е. О рыцарях со страхом и упреком // Литературная газета. 1992, № 20, 13 мая. С. 6.

57 См. подробнее: Нерлер П. Отголоски шума времени // ВЛ, 1991. № 1. С. 32—67.

58 А в случае Заславского — еще и к «Доктору Живаго».

Института иностранных языков. В полном соответствии с концовкой статьи «Потоки халтуры»⁵⁹.

P.P.S. Все письма публикуются с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.

ПРОЛОГ

МАНДЕЛЬШТАМ ЗА РАБОТОЙ (1926—1927)

Вторая половина 1927 г.

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ — М.А. ЗЕНКЕВИЧУ

Дорогой Миша!

Не дождался ты нас. Очень жалко, что *не простились*. Привет Ал<ександре> Ник<олаевне>!

Я увожу с собой Уленшпиг<еля>. В *среду* высылаю его *спешной почтой* на твое имя в «Зиф» обратно.

Целую тебя.

Проездом через Москву увидимся без суеты, хворобы и Лены-конструктивистки.

До свиданья.

С Ул<еншпигелем> *не подведу*. Сам понимаю.

Твой Осип

Еще раз: *не беспокойся* об Уленшп<игеле>! Будет в четверг.

ГЛМ. Ф. 247. Оп. 1. Рф 6146/2.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГОРНФЕЛЬД ПРОТИВ МАНДЕЛЬШТАМА (ОКТАБРЬ 1928 — ЯНВАРЬ 1929)

18 октября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — Р.М. ШЕЙНИНОЙ⁶⁰

Дорогая Рая! <...>

У меня две новости. 1. Хорошая: в Москве хотят издать сборник моих статей «На Западе», т. II⁶¹. Уже получил согласие, но по нынешним временам — пока деньги не будут получены, все сомнительно. 2. Дурная, или вернее — юмористическая: вышел «Уленшпигель» в переводе якобы О. Мандельштама (поэта), но на самом деле краденный у меня и у другого переводчика. Мандельштам — талантливый, но безпутный человек, умница, свинья, мелкий жулик — бомбардирует телеграммами⁶²,

59 Д. Зубарев даже сделал об этом сообщение в Мандельштамовском обществе.

60 Шейнина (Диканская) Раиса Михайловна, родственница Горнфельда. Проживала в Симферополе.

61 Впервые вышел в 1910 г. Переиздание не состоялось.

62 В письме к старинной приятельнице стареющий литератор несколько прихвастнул и серьезно преувеличил униженность обидчика. Во всем личном фонде Горнфельда в РГАЛИ (ф. 155), включая сюда и папку «Дела об Уленшпигеле», нет ни единого письма Осипа Эмилевича. Существой они в самом деле, да еще такие «молящие» и колено-преклоненные, уж Аркадий Георгиевич бы их, без сомнения, сохранил.

моля о пощаде (я могу посадить его на скамью подсудимых), но я пока суров и хочу наказать за свинство и его издательство («Земля и фабрика»)

(РНБ. Ф. 211. Д. 266. Л. 24)

20 октября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

СПб. 20.X.28

Дорогой Абрам Борисович,

<...> В «Земле и Фабрике» вышел «Уленшпигель» в пер<еводе> О. Мандельштама. Два листа украдены у меня, 20 — у перевода Карякина. Теперь великий поэт вдруг понял, что влопался, клянчит, извиняется, пишет оправдательные письма в редакции. Придется, очевидно, судиться (не с ним — Господь с ним), но с «З. и Ф.», — которая приглашала меня в сотрудники, отложила мои предложения и заказала М<андельшта>му «переделать и проредактировать» — чужие переводы. До свидания. <...> Ваш АГ.

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 20. Л. 26)

23 октября 1928 г.

А.Б. ДЕРМАН⁶³ — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

<...> А относительно Уленшпигеля как не сказать, что это Ваш оброчный мужик! Жаль, что Мандельштам не стянул у Вае всего целиком. Хорош гусь! Какой надменно-аристократический тон, когда он трактует о разных там Михайловских и какая простенькая, вульгарная вороватость. Это не случайное совпадение, — и в том и в другом случае это преломление нищестанства сквозь призму русского поросенка.

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 296. Л. 27об. Автограф)

24 октября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

СПб. 20.X.28

Дорогой Абрам Борисович, от души благодарю Вас за желание посвятить мне Вашу книгу и за чувства, в этом отражающиеся. Принимаю охотно, — но имею одно практическое возражение; не отвергайте его без основательного раздумья. Думаю, что нам полезно обоим не афишировать нашу личную приязнь, мы лучше сможем поддерживать друг друга в доспехе — неправильно будет называть его маской — объективности и нелицеприятия.

А поддержка будет нужна. Взять хотя бы эту глупую историю с Ос<ипом> Манд<ельштамом>. Надо ведь выступить с обличением, он же, труся и извиваясь, то обещает написать все объясняющее и покаянное письмо, то отказывается, то просит принять его (на это я не пошел), то, узнав, что я назвал его жуликом, приходит в ярость и раздражается такой филиппикой: «А во всем виноват Горн<фельд>. Да, — он принадлежит к “старым”, которые меня не признали. Если бы своевременно он понял и выяснил, кто такой Мандельштам, мне не пришлось бы прибегать для пропитания к таким способам». Я не должен объяснять Вам, сколько здесь не только лжи и наглости, но и простого невежества. А ведь он и в печати это скажет, и уже просит общих друзей обратить мое внимание на то, что полемика (!) между ним и мною только «обрадует чернь».

Font de bruit⁶⁴ — по поводу украденных двух листов перевода!

63 Дерман Абрам Борисович (1880—1952) — ближайший друг Горнфельда, литературовед. Жил в Ленинграде. В 1919—1920 гг. в Симферополе издал антологию «Избранные стихи русских поэтов», куда включил и стихи Мандельштама, находившегося тогда в Коктебеле и Феодосии.

64 «Создавать шум» (франц.)

<...> Мне тяжело, когда я не знаю, что делать. Но здесь — в этом пустяке с Мандельштамом — ведь все ясно. И я ведь не связал своего бытия с переводом де Костера.

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 20. Л. 27—27 об.)

25 октября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

СПб., 25.X.28

<...> Продолжение моей истории с Мандельштамом узнаете от Сл<авы> Бор<исовны>⁶⁵ и поймете, почему я очень обрадовался Вашему правильному суждению.

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 20. Л. 29 об.)

28 октября 1928 г.

А.Б. ДЕРМАН — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

Слава Бор<исовна> прочла мне по телефону мандельштамовскую эпопею. Натянуть на Вас Горлина⁶⁶, — какой благородный выход из благородного положения! Боже мой, Боже мой, да ведь это гнуснейший из шантажей, это от Бесов Достоевского!

<...> В ЗИФе — междуцарствие. Был Нарбут, но — его убрали и из партии исключили⁶⁷. Читали?

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 296. Л. 30—30 об. Автограф)

28 октября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — Р.М. ШЕЙНИНОЙ

<...> С «Уленшпигелем» не старая история, а совсем новая: из него выкрал часть Мандельштам — не мой приятель⁶⁸, а известный поэт. Но и мой приятель меня огорчает: клонит на сторону того, хотя он ему не родственник, а только поклонник. Но

65 Возможно, сестра адресата.

66 Горлин Александр Николаевич (1878—1938), переводчик, в середине 1920-х гг. главный редактор отдела иностранной литературы Ленотгиза. В 1966 г. Н. Мандельштам, комментируя по просьбе К. Брауна мандельштамовские произведения, сообщила, что Горлин очень не советовал Мандельштаму связываться с переводом «Тили Уленшпигеля». Попытка его посредничества между Мандельштамом и Горнфельдом к примирению не привела.

67 3 октября 1928 г. в «Правде», за подписью А.И. Муралова, председателя Центральной контрольной комиссии ВКП(б), было опубликовано постановление об исключении Нарбута из партии за сокрытие порочащих партию и недостойных ее члена показаний, данных в 1919 году денкинской контрразведке в Ростове-на-Дону. Симптоматично, что само это разоблачение было лишь ходом в обоюдомерзкой и по сути, и по форме борьбе В.И. Нарбута и А.К. Воронского (см.: Мусатов, 2000. С. 294—295). В то же время не должны быть упущены из виду та забота и то внимание, которым не опальный еще Мандельштам с помощью внеопального Зенкевича старался окружить попавшего в опалу Нарбута: в 20-х числах января первый писал второму о твердом решении делиться с третьим переводной работой (см.: Мандельштам О. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. М., 1997. С. 104—105). Ему вообще было свойственно чувство активного товарищества по отношению к людям, и прежде всего к старшим по возрасту писателям, о которых или о памяти которых, как ему представлялось, незаслуженно забыли (Ф. Сологуб, В. Пяст и др.).

68 Имеется в виду переводчик Исая Бенедиктович Мандельштам (1885—1954), знакомый Горнфельду по членству в возглавлявшемся А.Р. Кугелем Драмсоюзе — одной из двух конкурирующих организаций, защищающих авторские права работников искусства. О. Мандельштам состоял во второй — в ЛОДПИКе (ленинградском филиале МОДПИКа), в штате которой служил его младший брат Евгений.

тот свинтус струсил, мечется, при этом наглит и надувает меня. А у меня нет ни времени, ни сил заниматься этим делом вплотную... <...>

(РНБ. Ф. 211. Д. 266. Л. 25—25об.)

13 ноября 1928 г.

А. ВЕНЕДИКТОВ⁶⁹ — В РЕДАКЦИЮ
«КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ» (ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В титульный лист «Легенды о Тиле Уленшпигеле» в издании «ЗИФа» вкралась ошибка: напечатано «перевод с французского О. Мандельштама» — в то время, как должно было стоять: «перевод с французского в обработке и под редакцией О.Э. Мандельштама».

Член правления «ЗИФа» А. Венедиктов
(Красная газета. Вечерний выпуск. Л., 1928, 13 ноября)

19 ноября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — Р.М. ШЕЙНИНОЙ

<...> Сегодня отправил в газету ядовитое письмо об украденном у меня переводе Уленшпигеля. Если напечатают — что мне кажется сомнительным — то пришло: оно веселое. <...>

(РНБ. Ф. 211. Д. 266. Л. 28)

22 ноября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

СПб., 22.XI.28

<...> Мое письмо о Мандельштаме и ЗИФ'е, очень веселое и убедительное, конечно, не напечатано Вечерней Красной. Хочу послать его куда-нибудь в Москву. Неужто заткнут мне рот по такому частному и личному делу?

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 33—33об.)

27 ноября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — Р.М. ШЕЙНИНОЙ

Дорогая Рая! Думал, что сегодня смогу послать тебе оттиск письма в редакцию о жулике-Мандельштаме, но письмо оттягивается, требуют сокращений, а мне жалко: очень юмористическая выходит фигурка. Но лишь бы напечатали — а то ведь все теперь полно всяких влияний и местных соображений. <...>

(РНБ. Ф. 211. Д. 266. Л. 29)

28 ноября 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — В РЕДАКЦИЮ «КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ»⁷⁰

69 Венедиктов (Абросимов) Александр Георгиевич (1884—1932) — деятель революционного движения и член правления изд-ва ЗИФ. Автор книги: История международного рабочего движения / Под ред. и с предисл. Н. И. Бухарина. 2-е изд. М.; Л., [1925]. Эпизодически и сам занимался переводами. Так, в октябре 1930 г. в его, совместном с А.И. Роммом, переводе вышел т. I Собрания сочинений Майн Рида «Вольные стрелки». Согласно приписке неустановленного лица на оригинале сатирического обзора «Коминтерна ЗИФовской периодики», написанного Мандельштамом вместе с Нарбутом, Венедиктов умер в 1931—1932 гг. на Урале (РГАЛИ. Ф. 616. Оп. 1. Д. 57а. Л. 1—10).

70 Здесь по авторской машинописи, хранящейся в «Деле об Уленшпигеле» (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 584. Л. 13—16); фрагменты, сокращенные при публикации редакции, даны в квадратных скобках.

От А. Горнфельда. Ленинград,
ул. Некрасова 58, тел 136-40

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СТЯГНЯ
(Письмо в редакцию).

В № 313 «Вечерней Красной газеты» напечатано письмо Правления «Земли и Фабрики» о том, что перевод выпущенного этим издательством романа де Костера «Тиль Уленшпигель» ошибочно приписан на обложке О. Мандельштаму, которому принадлежит только редакция и обработка перевода. Письмо это вполне своевременно: оно снимает с известного поэта возможное в таком случае обвинение в плагиате. Не все, однако, стало ясным. Издательство не сочло нужным сообщить имя настоящего переводчика изданного им романа, а О. Мандельштам не собрался объяснить, от кого собственно получено им право распоряжаться чужим переводом.

Дело в том, что перевод, изданный «Землей и Фабрикой», сделан не по французскому тексту, а составлен из двух переводов: моего, изданного «Всемирной Литературой» (1920) и В. Карякина (Москва, 1916). [Издательство поступило очень хорошо освободив поэта от ответственности за самовольную перепечатку, караемую нашим законом. Но дело не в юридической стороне дела, в которой пусть разбираются органы более подходящие, а в литературной. Ибо результаты обработки, которой подверглись эти два разные перевода, достойны внимания общественного мнения.]

Редактора не смущает то, что из механического соединения двух разных переводов с их разным стилем, разным подходом, разным словарем, могла получиться лишь мешанина, негодная для передачи большого и своеобразного писателя. Французского подлинника Мандельштам не видел. Поэтому он обрабатывал чужие переводы отчасти по вольной догадке, отчасти посредством вдохновенного комбинирования двух различных текстов. Для начала взят мой перевод. Редактирует его О. Мандельштам способом нехитрым: если у Горнфельда сказано «затрубила труба», то Мандельштам исправляет: «прозвучала фанфара», если у Горнфельда и, конечно, в подлиннике говорится «пол качается», то Мандельштам исправляет «пол трещит». Если мать протянула младенцу «свои прекрасные природой данные чаши», то Мандельштам исправляет: «груды налитые чудесным соком жизни», хотя в подлиннике груди не названы, а о «чудесном соке жизни» нет ни слова.

В таком роде эти поправки, явно продиктованные только необходимостью что-нибудь изменить. Хочу ли я сказать, что среди поправок нет ни одной приемлемой? Конечно нет: Мандельштам писатель опытный. Но когда, бродя по толчку, я нахожу там, хотя и в переделанном виде пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить: А ведь пальто-то краденое⁷¹.

После нескольких листов мой перевод сменяется переводом Карякина. Так как О. Мандельштам видит, что этот перевод кишит неправильностями и нелепостями, очевидными и человеку, французского текста не знающему, то О. Мандельштам погружается в исправление ошибок Карякина при помощи моего перевода: этот способ редактирования посредством заимствования кажется ему правильным и достойным. Он верит мне больше, чем Карякину: я очень тронут этим доверием, но хотел бы, чтобы оно проявлялось в чем-либо более подходящем. Однако дело это трудное — исправлять Карякина, зная меньше, чем Карякин. Поэтому, несмотря на сотни заимствований у меня, карякинских курьезов и безграмотностей осталось много, а к ним присоединились еще мандельштамовские. Осталась «милая Валлония», потому что Карякин принял *vallon* (долина) за несуществующую страну Валлонию, остался город Экс (*Aix*) там, где речь идет об Ахене, [остались зубры там, где говорится о козулях, осталось «забудьте мне рот гнилыми грушами» там, где говорится о *poire d'angoisse* — орудии пытки; осталось: «смолили невода» там, где сказано «чинили»,

71 Концовка этого абзаца вписана А. Горнфельдом в авторскую машинопись (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 584. Л. 14). Именно этот фрагмент впоследствии и вызвал наиболее резкую реакцию со стороны Мандельштама.

осталось «романское вино» там, где дело идет о романе — вине бургундском, осталось «велели приготовить» (лодку) там, где говорится, что ее конфисковали (буквально: «взяли именем его величества»)], остались «бархатные шоры» там, где речь идет о попоне — и так далее в большом количестве.

Но всего забавнее редактор там, где он при разногласии «обрабатываемых» текстов, все-таки не знает, кому поверить. Например, у Горнфельда переведено: «чулки», у Карякина — по ошибке — юбки. Мандельштам колеблется и сочиняет: «торчащие крахмальные чепцы». У Горнфельда говорится о раздвоенных лапах (дьявола), Карякин, не поняв текста, переводит «мохнатые». Мандельштам на всякий случай соединяет: «мохнатые с раздвоенными копытами». У Горнфельда: «Когда Север поцелуется с Западом»; Карякин ошибся и вместо севера сказал: восток. Мандельштам недоумевает и предлагает свой компромисс: «когда сочетается северо-запад (?) с востоком». Компромисс этот особенно бессмыслен потому, что в дальнейшем объяснено, что в этой аллегории север означает Голландию, а запад — Бельгию, которая расположена не на северо-запад, а на юго-запад от Голландии. [У Горнфельда говорится: «богохульные полумесяцы»; Карякин, принявший *croissant* за крейсер, перевел «крейсирующие богохульники». Мандельштам, не зная что делать с полумесяцами (бунтари-гезы их носили на шляпах), сочинил: «богохульники матросы». Карякин, не сообразив, что *cette gucude* в данном тексте значит «эта дрянь», перевел: «что нужно от меня этой гезянке (?)». Мандельштама смутила эта незнакомка, но, не зная, что соответствует ей в подлиннике, он написал: «чего тебе нужно, старуха», хотя это не старуха и говоривший к ней не обращался. И когда Мандельштам находит у Карякина, который спугал *quatre vingt* и *vingt quatre* «восемьдесят дней», а у Горнфельда двадцать четыре, то он отважно веляя, вычисляет плохонькую среднюю арифметическую и переводит: «сорок дней».]

Но довольно курьезов и довольно Мандельштама. Речь идет не о Горнфельде, которого не убудет от мелкого озорства, не о Мандельштаме, которому ради высот его поэзии надлежит разрешить и низкую прозу. Речь идет о [русском] читателе. Ведь случай с «Уленшпигелем» не единственный: он, можно сказать, типичный. [В противоположность многим, я думаю, что за последнее десятилетие качество переводов у нас в общем не понизилось, а скорее — несмотря даже на общепринятую порчу языка — скорее повысилось. Но наряду с этим вошла в обычай совершенно бесцеремонная обработка издаваемых иностранных писателей, — особенно по старым переводам. Пред лицом необходимости — а такая необходимость у нас есть — с известной обработкой можно мириться, когда пред нами писатель второстепенный или когда текст приходится сократить или изменить по соображениям, вполне защитимым с точки зрения общественной пользы, — например, для детского чтения. Но у нас делается другое.]

По мотивам, не имеющим в виду никаких кроме карманных интересов, в практику вошло пачками бросать на рынок старые переводы классиков в совершенно неподходящем виде. Их сочинения, необходимые для широкого круга читателей, издаются с обширными сокращениями, в переводах не только не исправленных и сверенных наново с подлинником, но сплошь и рядом ухудшенных. Ни «Земля и Фабрика», ни О. Мандельштам не предупредили читателя, что он, приобретая новое издание «Уленшпигеля», получает перевод не только составленный из двух разных переводов, но и сокращенный на одну пятую. А ведь Де-Костер классик и как классик трактуется в предисловии П. С. Когана — и читатель вправе знать, что классическую книгу он получает в урезанном виде. Пора положить предел этим рыночным приемам. Они отравляют вкус читателя, они становятся стеной между ним и подлинным творчеством писателя, они деморализуют злополучных переводчиков [которых издательские требования в условиях иступленной конкуренции принуждают к любой непристойной халтуре. Пора покончить с этой общераспространенной практикой. Если с ней не сможет справиться общественное мнение, то пусть бы на нее обратил внимание хотя недавно образованный в Наркомате Просвещения орган по руководству литературой, в задачи которого, по положению, входит также надзор за качеством литературной продукции. В других ее областях это дело трудное, но в области безобразий, вроде вышеописанного, пожалуй, достижимое.]

(«Красная газета». Веч. выпуск. Л., 1928. № 328, 28 ноября. С. 4)

11 декабря 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

СПб. II.XII.28

<...> Но мои новости тоже будут деловые: почти продал издание «Уленшпигеля», продешевил, но буду доволен, если все пройдет гладко. «Земля и Фабрика» как будто не собирается платить, а между тем, если мне придется судиться, то тут с несомненностью выяснится, что Мандельштам не просто редактировал, а продал чужие переводы. Так шельмовать его я не хотел бы. — Взяться редактировать собрание сочинений... Кугеля⁷².

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 20. Л. 36об.)

12 декабря 1928 г.

А.Б. ДЕРМАН — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

Письмо о Мандельштаме получил и нахожу, что он <о> выше всякой критики. Отвечал ли он что-нибудь? Очень интересно.

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 296. Л. 32. Автограф, с опiskой в дате: 12.XI.1928).

<Начало декабря 1928 г.>

Вс. ИВАНОВ и Ю. ОЛЕША — В РЕДАКЦИЮ «КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ»

В номере 328 «Вечернего выпуска «Красной Газеты» появилось письмо А. Горнфельда, в котором последний, обвиняя писателя О.Э. Мандельштама в обработке его, Горнфельда, перевода «Уленшпигеля» Шарля де Костера без предварительного разрешения переводчика — позволяет себе ряд недопустимых выпадов по адресу известного двадцатилетней работой писателя.

Легкомысленно было со стороны редакции «Красной Газеты» и А. Горнфельда печатать письмо, порочащее безупречное имя О. Мандельштама. Мы протестуем против бульварных приемов А. Горнфельда и напоминаем ему, что для разбирательства подобного рода конфликтов, стоящих в прямой связи с практикой издательств, существует такая авторитетная организация как Федерация Писателей.

Всеволод Иванов Юрий Олеша

(РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 1. Д. 1. Л. 20. Машинопись с подписями.

На л. 21 — тот же текст рукой Ю.И. Олеша, без даты и с припиской:

«Это я писал — Олеша». Письмо не было опубликовано)

12 декабря 1928 г.

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ — В РЕДАКЦИЮ «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Когда, бродя по толчке, я узнаю хотя бы в переделанном виде, мое пальто, вчера висевшее у меня в прихожей, я вправе сказать: «А ведь пальто-то краденое»».

А. Горнфельд

Мне приходится выступать в непривычной для меня роли — отчитываться по обвинению в использовании чужого литературного материала. Дело идет о письме критика Горнфельда в № 328 «Красной Вечерней Газеты» по поводу моей обработки старых переводов «Уленшпигеля», заказанной мне издательством ЗиФ.

⁷² Кугель Александр Рафаилович (1864—1928) — театральный деятель, основатель театра «Кривое зеркало» (1908) — одного из первых в России «театров миниатюр». Умер 5 октября 1928 г. Собрание его сочинений не выходило.

К столкновению с Горнфельдом меня привела дурная практика издательств, выпускающих в явочном порядке и анонимно десятки отредактированных и обработанных переводов, причём соглашение между издательством и переводчиком достигается неизменно задним числом.

Несмотря на это, считая себя морально ответственным перед товарищем по переводной работе, я, по выходе книги, первый известил ничего не подозревавшего Горнфельда и заявил [Горнфельд с садизмом, достойным Передонова, казнит исконным подстрочником мой вольный, но живой пересказ сложного и трудноусвояемого автора], что отвечаю за его гонорар всем своим литературным заработком. [Горнфельд об этом почему-то умалчивает.]

Ответом его явилось письмо в редакцию «Красной Вечерней Газеты».

Оставляя на совести Горнфельда тон и выводы его письма с попытками изобразить дело в уголовном разрезе и с упоминаниями о «толчках» и «шубах», ответу почтенному критику-рецензенту по существу.

Позволю себе поговорить с Горнфельдом на несколько неожиданном для него производственном языке — мой переводческий стаж — свыше 30 томов за 10 лет дает мне на это право. У нас нищенская смета на перевоплощение тех колоссальных культурных ценностей, которые мы должны протолкнуть в читательскую массу. Переводы иностранных классиков по плечу лишь крупным художникам слова. Мы вынуждены работать на кустарном станке и все-таки выпускаем тексты лучше прежних. Педантическая сверка с подлинником отступает здесь на задний план перед несравненно более важной культурной задачей — чтобы каждая фраза звучала по-русски и в согласии с духом подлинника. Нам важно, чтобы молодежь не путала Тиля Уленшпигеля с Вильгельмом Телем, а книжникам-фарисеям — «безгрешная» книга на полке и пустое место в умах и сердце читателей. Поэтому я не смущаюсь, если при перечислении характерного костюма вместо чулок и юбок в текст проскользнут чепцы, ничуть не обидные для Костера и как следует надетые на голову фламандки.

«А король Филипп пребывал в неизменной тоске и злобе. В бессильном честолюбии молил он Господа...» (перевод Горнфельда). Неужели так говорит Костер? Не верю: канцелярское «пребывал в неизменной тоске», славянское «Господь», двойное построение на одном предлоге с мертвящим параллелизмом прилагательных. Послушайте так: «...между тем, король Филипп тосковал и злобствовал. Честолюбивый недоумок молился Богу...» Два разнонаправленных глагола («тоскует» и «злобствует»), один ударный эпитет («честолюбивый») и брошенная вскользь характеристика Филиппа («недоумок»). Строением фразы определяется строй мысли (пример мой). Моя правка, вернее ломка, Карякина, из которой возникла подавляющая масса текста (18 листов), заключалась не в механическом лавировании между его текстом и текстом Горнфельда, а в сознательном оживлении почти каждой фразы.

Я много и долго боролся с условным переводческим языком — этим воистину паразитическим наречием, развращающим читателя и воздвигающим стену между ним и автором. [Колоссальные гимназические упражнения разгуливают у нас в форме «академических» переводов — и никто этого не замечает.] Он страшен, въедлив, уродлив и всегда заслоняет автора. Кашеобразный синтаксис, отсутствие ритма прозы, резиновый язык — все это не считается у нас отсебятиной. Лишь бы не обиделся словарь Макарова⁷³. «Мохнатые ноги с раздвоенными копытцами» — (о черте) — это можно, как поправляет меня даже Горнфельд, стоящий на целую голову выше большинства переводчиков, но давший в своем Уленшпигеле слишком грузный текст.

Но неважно, плохо или хорошо исправил я старые переводы или создал новый текст по их канве. Неужели Горнфельд ни во что не ставит покой и нравственные силы писателя, приехавшего к нему за 2000 верст для объяснений, чтобы заглазить нелепую, досадную оплошность (свою и издательства)? Неужели он хотел, чтобы мы стояли на радость мещан, как вцепившиеся друг другу в волосы торгаши? Как можно не отделять «черную» повседневную работу писателя от его жизненной задачи? Из случайной безалаберности делать черный «литературный скандал» в духе мелкотравчатых «понедельничных» газет доброго старого времени?

73 «Полный французско-русский словарь» Н.П. Макарова, впервые изданный в 1870 г., после чего он выдержал множество изданий.

Неужели я мог понадобиться Горнфельду, как пример литературного хищничества? А теперь, когда извинения уже давно произнесены, — отбросив всякое миндальничанье, я, русский поэт и литератор, подъявший за 20 лет гору самостоятельного труда, спрашиваю литературного критика Горнфельда, как мог он унизиться до своей фразы о «шубе»? Мой ложный шаг — следовало настоять на том, чтобы издательство своевременно договорилось с переводчиками — и вина Горнфельда, извратившего в печати весь мой писательский облик, — несоизмеримы. Избранный им путь нецелесообразен и мелочен. В нем такое равнодушие к литератору и младшему современнику, такое пренебрежение к его труду, такое омертвление социальной и товарищеской связи, на которой держится литература, что становится страшно за писателя и человека.

Дурным порядкам и навыкам нужно свертывать шею, но это не значит, что писатели должны свертывать шею друг другу.

О. Мандельштам

(Вечерняя Москва. 1928. № 288. 12 декабря)

17 декабря 1928 г.

А.Б. ДЕРМАН — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

Вчера был у Славы Борисовны и со стыдом узнал, что она случайно пропустила № Вечерней Москвы с письмом Мандельштама: я же был уверен, что она послала Вам и сам этого не сделал. Исправляю свой промах и посылаю зато два экземпляра этой помеси наглости с жалостью (и это не только мое мнение).

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 296. Л. 33)

18 декабря 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Р. ПАЛЕЮ⁷⁴

18.XII.28

Многоуважаемый Абрам Рувимович,

Если можете, то, пожалуйста, подействуйте напечатанию моего письма в редакцию «Вечерней Москвы», сегодня туда отправленного. Москвичи ведь не знают, в чем дело, и я остаюсь безвинно облаянным. За все, что Вы сделаете и сообщите по этому делу вообще, буду очень благодарен. Всего хорошего — АГ.

(РГАЛИ. Ф. 1897. Оп. 1. Д. 4.)

19 декабря 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — Р.М. ШЕЙНИНОЙ

Посылаю Вам письмо О. Мандельштама, — по характеристике А.Б. Дермана — «смесь наглости и жалости». Написал и возражение — убийственное — в «Вечернюю Москву», но, конечно, очень мало надеюсь на напечатанье. Как-нибудь пришлю тебе писанный экземпляр...

(РНБ. Ф. 211. Д. 266. Л. 31)

20-е числа декабря 1928 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — В РЕДАКЦИЮ «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ»

По поводу письма О. Мандельштама в № 288 «Вечерней Москвы» разрешите мне оправдаться. О. Мандельштам обвиняет меня в том, что я умолчал о его предло-

⁷⁴ Палей Абрам Рувимович (1893—1995) — московский литератор. Стихи Мандельштама Палей аттестовал как ничем не замечательные (Книга и революция. 1923. № 3. М. 78). О его взаимоотношениях с А.Г. Горнфельдом см.: Палей А.Р. Встречи на длинном пути. Воспоминания. М., 1990. С. 18—28. Письмо впервые опубликовано О. Лекмановым в: Сохрани мою речь. Вып. 3/2. М., 2000. С. 175—176.

жени «ответить за мой гонорар». Едва ли он пострадал от этого, так как теперь я должен сказать, что он по существу предлагал мне гонорар не за мой перевод, а за мое молчание. В его изображении во всем виноват «явочный порядок», при котором «соглашение достигается задним числом». Он забыл — а писатель об этом не смеет забывать, — что этот «явочный порядок» есть недопустимое насилие над волей писателя, преследуемое и нашими законами.

Обличенные в изнасиловании, боясь наказания, тоже обычно предлагают «достигнуть соглашения задним числом», но далеко не всегда им это удается. Мандельштам знает, что я ни на какое соглашение этого рода не пошел бы и не собирался никому давать за гонорар позволение исправлять чужой перевод посредством моего перевода и исправлять мою работу, после того как она напечатана в сотнях тысяч экземпляров, и даже во «Всемирной Литературе», — вопреки правилам этого издательства, — появилась без редактора. Лицо, обратившееся ко мне от имени Мандельштама⁷⁵, может засвидетельствовать также, что я на это ответил: «Я собой не торгую». Конечно, делая такое предложение, О. Мандельштам думал не о своей безопасности: он не хотел, чтобы «мы стояли на радость мещан, как вцепившиеся друг другу в волосы торгаши». Однако и после моего протеста я себя торгашом не ощущаю — ведь не я продавал работу Мандельштама, а он мою — и не вижу, почему он обзывает мещанами наших читателей, — в том числе и читателей «Вечерней Москвы», — которые вправе же знать, как поступают с ними некоторые книгоиздательства и некоторые редакторы.

Мандельштам освещает по-своему некоторые из данных мной иллюстраций его работы. Он скрывает при этом от читателя, что я приводил их совсем не как примеры его перевода, а как доказательство того, что он, составляя свой текст по двум разным переводам, при незнакомстве с подлинником, вынужден был влиять, чтобы затушевать это незнакомство. Из вереницы сходных вот еще один пример: в одном из переводов, взятых Мандельштамом, *quatre vingt jours* переведено «восемьдесят дней», в другом — по ошибке — «двадцать четыре». Мандельштам, не зная, кому из переводчиков верить, вычисляет среднюю арифметическую и предлагает «сорок дней». Это у него называется «сознательным оживлением фразы» и возвращением к духу подлинника. Он позволяет себе говорить о духе подлинника, он, который этого подлинника в глаза не видел. Он позволяет себе обсуждать качества моего перевода — он, который предварительно попользовался этим переводом. Он забыл, что всякий неизбежно должен его спросить: «Если перевод Горнфельда плох, то почему мы его избрали? Не проще ли было наново перевести роман де-Костера, — хотя бы при помощи того же Горнфельда». Но Мандельштам до такой степени потерял чувство действительности, что, совершив по отношению ко мне некие поступки, в которых ему пришлось потом «приносить извинения», меня винит в том, что я нарушил его покой. Я не хотел и не хочу от него ничего: — ни его извинений, ни его посещений, ни его волнений. Он, однако, должен узнать от писателя и «старшего современника», что в тех случаях, когда речь идет об интересах читателя и об общественной морали, мы лишены возможности считаться с чьим бы то ни было покоем. Тут не помогут ни «подъятые горы», ни двадцать лет, ни тридцать томов, ни 2000 верст, ни прочие 35 тысяч курьеров. Мандельштам находит, что произошел скандал, ибо избранный мной путь нецелесообразен. Путь этот еще не пройден и о его целесообразности судить рано. Скандала в избличении «дурной практики» не только издателей, но и некоторых писателей нет никакого. Но если скандал и произошел, то это очень хорошо: «явочному порядку» положен некий предел. Это должен приветствовать и Мандельштам: это избавит его от сходных «ложных шагов» и неизбежно связанных с ними нарушений его покоя.

А. Горнфельд

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 584. Л. 20—22)

27 декабря 1928 г.

РЕДАКЦИЯ «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ» — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

27/ХП-28 г.

Уважаемый Аркадий Георгиевич.

К большому сожалению, мы не можем дать в нашей газете места для Вашего открытого письма. Конечно, можно почесть оплошностью, что мы дали возможность высказаться Осипу Эмильевичу Мандельштаму на страницах нашей газеты в то время, как узел дискуссии был завязан в Ленингр<адской> «Кр<асной> Веч<ерней> Газ<ете>». Но эту оплошность нельзя исправлять за счет читателя, взваливая на него тяжелую обязанность выслушивать все реплики обеих спорящих сторон. Несомненно, что при Вашей чуткости к печатному слову — Вы поймете всю затруднительность положения газеты, которое вынуждает нас к подобному отказу. Место, интересы читателя и т.д. — не дают нам права удовлетворить Ваше морально вполне обоснованное требование.

С уважением Зав. лит. отд. А. Колесников.

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 584. Л. 22)

28 декабря 1928 г.

В.Н. КАРЯКИН — В ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Члена Союза Писателей и научного работника

Валентина Николаевича КАРЯКИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу высказать мнение Союза по поводу «Письма в редакцию» О. Мандельштама — («Вечерняя Москва» № 288, 12-го декабря 1928 г.), стоящего в связи с письмом в редакцию А. Горнфельда «Переводческая стряпня» — («Вечерняя Красная Газета», № 328, среда 28 н. 1928 г.)

Мне важно знать мнение Союза Писателей, т.к. я, как лицо, пострадавшее в данном случае морально и материально, буду искать защиты своих пострадавших интересов перед Советским Судом.

Считаю необходимым прибавить, что я за свой перевод «Уленшпигеля» Ш.д. Кастера, по предложению покойного Мих<аила> Осип<овича> Гершензона, был избран членом бывш<его> проф<ессионального> Союза Русских Писателей, как переводчик, «художественно работающий над словом». Последнее заявление может подтвердить А.И. Сvirский, присутствовавший при указанном мной обстоятельстве.

В.Н. Карякин. 28/ХП-28 г.

Спиридоновская ул. д. № 27, кв. 1

Оба названные письма, а также письмо в редакцию «Красной Вечерней Газеты» (№ 313, 13 ноября 28 г.) за подписью члена Правления «Зиф» Венедиктова прилагаю в качестве необходимого материала.

В.Н. Карякин.

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 586. Л. 24)

2 января 1929 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

СПб. 2.1.1929

<...> К этому волнующему не принадлежит история с Мандельштамом. Здесь я весел, kampflustig⁷⁶ и даже при неудачах бодр, и даже в ярости благодушен. «Вечерняя Москва» на мое письмо в редакцию ответила очень любезным и даже лирическим отказом — со ссылкой на недостаток места и интересы читателей. Посылаю Вам это ненапечатанное письмо — прочитайте его кому можете, между прочим и профессорам Гурвичу и Мандельштаму. А ведь в нем сказано далеко не все: я хотел быть возможно короче. И «Земля и Фабр<ика>» на мое предложение покончить дело миром (если они 1. внесут мой гонорар в Лит<ературный> Фонд, 2. обяжутся манд<ельштамов>ского «Ул<еншпигеля>» не выпускать) не ответила ничего. При-

76 «Настроен по-боевому» (нем.)

дется судиться, пожалуй, «в уголовном разрезе», причем неизбежно будет втянут и Манд<ельштам>. Я этого совсем не хочу — поверите ли, мне и теперь его все-таки жалко, главным образом вследствие его практической близорукости, которая удивительно уживается в нем с хитростью и подлостью. No le vin est fire...⁷⁷

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 21. Л. 1—1об.⁷⁸)

2 января 1929 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

Секретариат

Москва, 9

«Дом Герцена», Тверской бульвар, 25 Тел. 3-57-76

Тов. А.Г. Горнфельду

2 января 1929 г. № 121

Прилагая при сем копии заявления Карякина Василия Николаевича по вопросу о переводе «Уленшпигеля» из-во «ЗИФ», Правление Всероссийского Союза Писателей просит Вас сообщить, не найдете ли Вы нужным перенести разбор этого дела в конфликтную комиссию Союза.

Секретарь: (Подпись)

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 586. Л. 23. На бланке Секретариата ВСП, за № 121)

10 января 1929 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — ПРАВЛЕНИЮ ВСП

Ленинград, 10.1.924 ул. Некрасова, 58—25

ПРАВЛЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Получив вчера письмо Правления от 2 янв<аря> по поводу издания ЗИФ'а «Тиль Уленшпигель» под ред. О. Мандельштама, спешу ответить, что готов представить органам Союза все интересующие их материалы и объяснения по этому вопросу, но полагаю, что обращенное ко мне предложение перенести разбор этого дела в конфликтную комиссию Союза основано на некотором недоразумении. Что касается моих претензий к О. Мандельштаму, то в этом отношении я добивался только гласности и суда общественного мнения и потому совершенно удовлетворен той оглаской, которую получило дело. — Если вопрос о разборе относится только к заявлению В.Н. Карякина, то я, ни в какой мере не отказываясь от ответственности за мои слова и действия, все же просил бы Правление разъяснить В.Н. Карякину, что суждения и оценки, высказанные писателем о чужом произведении, могут быть предметом литературного спора и возражений, но не судебного разбирательства, — кроме, конечно, случаев, когда писатель обвиняется в явной недобросовестности таких суждений. Но в таком случае заявление гр. Карякина должно быть сформулировано как совершенно определенное обвинение в недобросовестности. — Что касается, наконец, изд-ва ЗИФ, выражавшего желание вступить со мною в переговоры, то я предложил ему через юристконсульта Ленинградского отделения покончить дело без судебного разбирательства, если издательство 1. обязуется не повторять выпущенного им издания «Уленшпигеля» и 2. внесет гонорар за пользование моим переводом для перепечатки и редакции в Литературный Фонд. Продолжаю ждать ответа, в случае неудовлетворительности которого я обращусь к Народному Суду, решение которого будет обязательно для издательства, в Союз не входящего.

А. Горнфельд

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 586. Л. 25—25об. Автограф)

⁷⁷ «Вино — огонь» (фр.)

⁷⁸ К письму приложена машинописная копия «Письма в редакцию» А.Г. Горнфельда.

12 января 1929 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

Продолжаю через 10 дней <...> Карякин подал в конфл<иктную> Комиссию Союза Писателей просьбу высказаться об обиде, претерпенной им от Манд<ельшта>ма и от меня. Ибо еще Гершензон — чему свидетель Свирский — обозначил его при вступлении его в Союз как человека художественно работающего над словом. Поэтому правление Союза просит меня сообщить, не найду ли я нужным перенести (?) разбор этого дела в Конфликтную Комиссию Союза. Что Вы скажете об этом бедламе?

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 21. Л. 2. Продолжение письма от 2 января 1929 г.)

12 января 1929 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — Р.М. ШЕЙНИНОЙ

<...> С Мандельштамом я очевидно судиться не буду: думаю, что сговорюсь мирно с «Землей и Фабрикой». Несчастный, — мне его озорство очень помогло: я продал «Уленшп<игеля>», который весной выйдет; деньги буду получать понемногу, но все-таки это хорошее подспорье. А если бы он, дурак, перевел добросовестно, то мне бы моего перевода уж никак не пристроить! Я ведь сижу, а он подвижен, и как!

<...>

(РНБ. Ф. 211. Д. 267. Л. 2)

17 января 1929 г.

А.Б. ДЕРМАН — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

Ваше контр-возражение Мандельштаму, откровенно говоря, довольно-таки беспощадная штука, — для первого письма. Но несокрушимо убедительно. Неужто и в Питере отказываются напечатать?

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 296. Л. 39)

20 января 1929 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

СПб., 20.1.29

<...> Ответ Мандельштаму я и не пытался напечатать здесь: дело явно безнадежное. Хуже то, что во главе «Земли и Фабрики» стоит теперь И.И. Ионов, который всегда относился ко мне хорошо и которого я не хотел бы дразнить процессом совсем не денежным, а принципиальным.

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 21. Л. 6—6 об.)

4 февраля 1929 г.

А.Г. ГОРНФЕЛЬД — А.Б. ДЕРМАНУ

СПб., 4.II.29

<...> Более свежа статья В.Б. Шкловского «Советский письмовник» в «Новом Мире» 1928 г. № 3. <...> Что если Виктор Шкловский и многое другое знает так же глубоко как Письмовник Курганова? Но он хочет иметь право на эту бесшабашность, как Мандельштам хочет иметь право на кражу. И из-за этого эти не плохие ведь и ценные люди стали мне врагами. Очень грустно.

(РГБ. Ф. 356. К. 1. Д. 21. Л. 8—8 об.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

13 декабря 1938 г.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСИЗДАТА — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

13 декабря 1938 г.

Аркадию Георгиевичу

Г-ну⁷⁹ Горнфельду.

В ответ на Ваше письмо полученное 8/ХІІ-38 г. сообщаем о гонораре по договору № 43/37 за вступит<ельную> статью к переводу кн. Де Костера «Тиль Уленшпигель» начислено:

За примечания 1,34 л. х 500 — Р. 670.0

За перевод 22,98 л. х 225 — Р. 5170.50

Всего: Р. 5840.50

За вычетом:

За переписку Р. 118.75

Подох. налога Р. 203.05

Культсбора Р. 175.20

[Всего] Р. 497 =

Полученных Вами

По сп. № 14 — 19/ІІ-38 Р. 3000-

То же № 17 — 25/ІІ “ Р. 1454.10 Р. 4951.10=

К выдаче Р. 889.40=,

Которые будут до 25/ХІІ-38 г. Перечислены на Ваш т/сч.

Бухгалтер М. [нрзб.]

Гл. бухгалтер [нрзб.]

30 декабря 1938 г.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСИЗДАТА — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

30 декабря 1938 г.

Аркадию Георгиевичу

Гр-ну Горнфельду.

В дополнение к н<ашему> письму от 13/ХІІ-38 г. сообщаем, что Вам начислен гонорар за дополнительн. тираж книги Де Костер «Тиль Уленшпигель» в вашем переводе — из сл<едующего> расчета:

[За примечания] 1,34 л. х 500 —

60 % Р. 3504.30

[За перевод] 22,98 л. х 225 —

Всего: Р. 5840.50

За удержанием:

Подоходн<ного> налога Р. 76.65

и культсбора Р. 96.35 Р.173

К получению Р. 3331.30=

Бухгалтер М. [нрзб.]

Гл. бухгалтер Смирнова

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИОНОВ ПРОТИВ МАНДЕЛЬШТАМА (КОНЕЦ ЯНВАРЯ — АПРЕЛЬ 1929 Г.)

29 ноября 1928 г.

А.И. РОММ — О.Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

Четверг, 29.11.28

Уважаемый Осип Эмильевич!

Посылаю Вам перевод вместе с оригиналом, и очень рад, что наперекор стихиям мне удалось не обмануть Вас ни на один день. О, сколько было этих стихий! И случайная работа меня прерывала, и машинистка моя хворала, и друг мой приехал из ссылки и остановился у меня.

Я очень прошу Вас, Осип Эмильевич, учесть все это, и по прилагаемой работе судить обо мне не столько как о переводчике, сколько как о человеке, верном своим обещаниям. Если случится и если Вы захотите, я надеюсь еще доказать Вам, что в условиях меньшей спешки могу работать и лучше.

Еще прошу Вас заметить, что одну главу (XXIX) я вовсе выкинул, т.к. в ней нет решительно ничего, кроме словесных курьезов дешевого, как всегда, сорта. Прочтите сами (вместе с предыдущим и последующим) и Вы убедитесь, что в ней просто ничего не сообщается. А заменил я ее двумя фразами в начале след<ующей> главы. Говорю обо всем этом главным образом для того, чтобы Вы не забыли изменить нумерацию глав во второй половине романа.

Очень рад буду, если моя работа испортит Вам не слишком много крови. Я знаю по опыту, как противно править чужой перевод.

Ваш искренне

А. Ромм

P.S. По моему расчету в работе оказалось около 5 1/2 листов (первые 13 стр. почти без ножниц)

(РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Д. 927)

Начало января 1929 г.

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ — М.А. ЗЕНКЕВИЧУ

Дорогой Михаил Александрович!

Только что Лившиц мне переслал твое письмо, где говорится о приостановке печатанья Майн-Рида со всеми его последствиями. Кроме того, тут же Лившиц мне сообщает, что из десяти оставшихся намеченных в плане названий у него имеется только пять. Он не потрудился объяснить — английские они или французские, а также каков их листаж, а вещи Майн-Рида колеблются от 6 до 18, причем грамотный перевод нередко из 14 делает 7, а в плане все это называется огульно томами и сопровождается взятыми из головы цифрами — 14—15—16 листов.

Итак <...> вместо половины всего издания, которое как-никак могло и может содержать по смете плана 160 листов, мы рискуем остаться вдвоем с Лившицем с 40—50 листами, если не будут найдены отсутствующие книги. Каждая английская книга означает для нас сокращение заработка на 2/3 или даже больше. Между тем хороший перевод с французского лучше, чем плохой — а где взять хороший? — с английского.

Для того, чтобы дотянуть до осени, нам абсолютно необходимо восстановить настоящий объем работы.

Для этого я предлагаю следующие средства: 1) раздобыть все, что только можно Майн-Рида по-французски (берусь это сделать сам — частью в Киеве, частью через Эренбурга), 2) в сущности это не во-вторых, а во-первых, и без этого ничего не выйдет: дополнить план рядом новых названий, основываясь на требованиях композиции, на утечке материала и т. д.

Для этого лично приеду в Москву. Другими словами, предлагаю немедленно составить расширенный и измененный в смысле названий план издания, но с тем же количеством листов, какой указан в договоре. От этого зависит почти год нашей обеспеченности, а положение сам знаешь какое.

Все это не имеет ни малейшего отношения к Владимиру Ивановичу⁸⁰. Мое решение делиться с ним работой стоит твердо, но именно делиться с ним, а не с посторонни-

ми переводчиками. Я предлагаю следующее: перевести для Владимира Иван <овича> любой том, а если нужно то и 2 и 3 — без редакции и без примечаний — по 35 рублей с листа, как всякий переводчик, высылая ему листы через тебя по мере продвижения работы. [В таком случае] Это избавляет меня от кропотливой возни с окончательным текстом и явится для меня настоящим отдыхом и облегчит работу Влад <имира> Иван <овича>, т.к. все ж таки я лучше других переводчиков. Кроме нормальной стилистической редакции, на Влад <имира> Иван <овича> лягут также примечания — и [нужно] можно будет устроить так, чтоб избежать вторичной переписки, если впечатывать все поправки на машинке, что всегда возможно, если основная фраза не ломается.

При этом отпадает, конечно, английский том «Мексиканские стрелки»⁸¹, которого мы с Надей перевести не можем.

Через три дня я кончаю работу над очередным томом и в две недели мы можем перевести с французского 15 листов, которые нам вышлет Лившиц.

Если «Мексиканские стрелки» уже переведены, то разумеется ничего не подедаешь. Если же нет — то задержи их. Т.к. все эти перестановки Влад <имира> Ив <ановича> не касаются и на нем отразиться не могут и не должны, то лучше ему о них и вовсе не рассказывать — ведь ему в конце концов все равно, кто делает для него черновой перевод⁸².

Дорогой Михаил Александрович!

Это письмо Нади под мою диктовку. Она приехала и сразу слегла. Похоже, что ее будут оперировать в Киеве⁸³. Лечит В. Гедройц⁸⁴ — ставшая здесь хирургом-«профессором». Аппендицит. Какой неизвестно и неизвестно есть ли что кроме аппенд <ицита>. Но резать нужно.

Прошу тебя *отчаянно слезно* предупредить (Лихницкого⁸⁵, что в январе подлежит оплате том «Охотников за растен <иями>. — Гаспар Гаучо»⁸⁶ — это *один* том, а не два 14—15 листов.

Мы сидим без гроша. У стариков нет кредита. Раздобываю на жизнь по 3 рубля. Хуже всего, что *нет на лечение*. Хорошо еще, что Гедройц здесь.

Привет Ал <ександре> Ник <олаевне>⁸⁷. Киев, Новая ул., 1

Отвечай срочно. кв. 18 Хазину

Твой Осип для меня

<Приписка Н.Я. Мандельштам:>

Привет всем. Н. М.

ГЛМ. Ф. 247. Оп. 1. Роф 6146/1

- 81 Один из первых написанных Майн Ридом романов (1850). Более распространенное название — «Вольные стрелки». Под этим именем в октябре 1930 г., в совместном переводе Мандельштама и А. И. Ромма, вышел в т. I Собрания сочинений Майн Рида.
- 82 До этого места — список рукой Н.Я. Мандельштам. Далее — автограф.
- 83 Время операции Н. М. датируется на основании записки Е. Я. Хазина (не публиковалась, см. примеч. 121), предположительно — между 12 и 18 января, исходя из этого датируется данное письмо.
- 84 Гедройц Вера Игнатьевна (1876—1932) — по профессии врач-хирург; поэт, член первого Цеха поэтов. О ее жизни в Киеве в 1920-е гг. см.: Мец А.Г. Новое о Сергее Гедройце // Лица: Биогр. альм. М.; СПб, 1992. Вып. 1. С. 291—316.
- 85 По-видимому, Лихницкий Измаил Михайлович (1879—1941, расстрелян) — зав. учетно-операционной частью Ленотгиза (см. в письме тов. Коробовой от 25.6.1928). Предположение, что Лихницкий работал и в ЗИФе по совместительству, представляется мне более вероятным, нежели то, что это другой человек.
- 86 Эти романы составили т. VIII Собрания сочинений Т. Майн Рида (вышел в феврале 1930 г.).
- 87 Зенкевич (Гусикова) Александра Николаевна (1899—1979) — актриса театров Симферополя и Москвы. Вышла замуж за М. Зенкевича в октябре 1926 г. Каждое лето уезжала из Москвы в Симферополь.

16 февраля 1929 г.

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ — И.И. ИОНОВУ

Уважаемый т. Ионов!

Только что я получил извещение, что вы, во-первых, объявили договор на Майн-Рида со мной и Лившицем расторгнутым, а во-вторых, заявили Лившицу, что работать с нами впредь вообще отказываетесь. Я не уполномочивал Лившица о чем бы то ни было вас просить и отнюдь не считаю, что вопрос о том или ином договоре может быть разрешен расторгжением его в явочном порядке издательской стороной. Независимо от того, насколько этим затрагиваются мои и Лившица личные интересы, ваше выступление в той форме, как мне о нем передавал Лившиц, является грубейшим общественно-литературным промахом. Я пишу вам именно в этом плане.

Напоминаю вам, что переводчик тот же писатель и что, заявляя переводчику о нежелании с ним работать, закрывая перед ним двери крупнейшего, едва ли не монопольного советского художественного издательства, вы берете на себя тяжелейшую ответственность, точно такую же, как если бы вы принципиально закрыли Зиф или Госиздат тому или иному оригинальному автору. Для этого должны быть серьезнейшие основания. У вас их нет и быть не может.

Постановку переводного дела в Зифе и других издательствах нельзя назвать иначе, как вопиющим хроническим безобразием. Перевод заранее и заведомо считается халтурой. Издательства делают все от них зависящее, чтобы снизить качество продукции. Вместо того, чтобы озаботиться подбором кадра квалифицированных переводчиков, использовать их по специальности и создать для их труда минимально благоприятную атмосферу, издательства — и в первую очередь Зиф — набирают переводчиков с бору по сосенке, превращая огромную отрасль производства не то в «собес», не то в хаотическое кустарничество на потребу рынка.

Специфическое отличие в профессиональном положении переводчика от оригинального автора сводится к тому, что переводчик — лицо пассивное, то есть вынужден ждать, пока ему предложат ту или иную работу. Он не торгует Бальзаком или Майн-Ридом, а предлагает свой труд вообще. Всякого рода разговоры о том, что переводчик в условиях нашего производства выбирает себе работу, являются миндальничанием и лицемерием. Даже пять-шесть (да и стольких-то не наберется) заслуженных и квалифицированных переводчиков-писателей, случайно затесавшихся <...>

...Несмотря на безобразно низкую оплату труда и полное равнодушие издательства к качеству работы, несмотря на грозившую заново после каждой сделанной книги безработицу (в связи с нежеланием маклерствовать и самому доставать «новиночки» с Запада), моя переводческая деятельность сохраняла черты литературы на протяжении ряда лет исключительно благодаря высокой культурности А. Н. Горлина, крупнейшего специалиста по переводческому делу в нашей стране, сумевшего поднять переводческий отдел Ленинград-Гиза на должную высоту.

Уже в Ленинград-Гизе начинались халтурные тенденции издательств, параллельно с настоящей работой, уже там по инициативе некоторых товарищей, своеобразно экономивших копейку, делались предложения «приспособить» за пять или десять рублей к печати абсолютно безграмотные переводы классиков, вроде Альфонса Доде, и находились люди, выполнявшие подобные заказы.

После Ленинград-Гиза с Госиздатом лучший в стране переводческий аппарат захирел и был фактически разгромлен. Для старых опытных работников наступила безработица. Центр тяжести переводного дела временно переместился в «Прибой».

Халтура «Прибоя» в иностранной литературе была беспримерна. Нельзя найти достаточно резких слов, чтобы заклеймить отношение т. Шуныевского⁸⁸ и его сотрудников к литераторам-переводчикам и к самому производству. Объявлялись конкур-

88 Шуныевский. Правильно: Шумяцкий (Борис Захарович, 1886—1938, расстрелян) — партийный и государственный деятель. Возглавлял «Прибой» с января по сентябрь 1926 г. До этого — полпред СССР в Персии, после — во второй половине 1920-х годов — ректор Коммунистического университета.

сы на скаковой рекорд по переводу пятнадцатилетних книг в десять дней, гонорар цинично задерживался вплоть до того, что ряд переводчиков вынужден был продать все свое имущество до последнего стула; с квалифицированными переводчиками велся рыночный торг, чтобы оттянуть у них копейку — с тенденцией снизить оплату за перевод, «не требующий редактуры», до двадцати пяти рублей с листа; в издательство, наконец, хлынула целая масса псевдо-переводчиков, никому не ведомых безграмотных дилетантов, готовых на все условия.

Несмотря на безобразную постановку дела в «Прибое», моя работа в нем удерживалась на той же высоте, что и в Ленотгизе. Упомяну хотя бы книгу Даудистеля «Жертва» или «Тартарена» Доде⁸⁹ — работы во многих отношениях показательные. Между закрывшимися «Прибоем», омертвевшим Ленотгизом и Зифом протянулась полоса абсолютной безработицы. Так осуществлялось право специалиста на труд.

В Зифе я впервые столкнулся с так называемой «массовой» работой, то есть с механизированным выпуском полных собраний сочинений иностранных авторов в до смешного маленькие «военные» сроки методом обработки или правки старых переводов, большей частью датированных самыми упадочными десятилетиями прошлого века. Это был модус производства. Нужно только удивляться, как это Зиф не заказал в месячный срок перевода и обработки Божественной Комедии Данта по сорок рублей с листа, с уплатой через месяц по представлению рукописи и с удержанием переписки. Впрочем, Рабле по сходной цене был кому-то заказан⁹⁰. К чести моей и Лившица нужно сказать, что мы не соблазнились Рабле и Дантом, а занялись несравненно более скромным и в условиях Зифа единственно здоровым делом — обработкой для юношества устаревших по форме авторов, но сохранивших крупное историческое значение, как Вальтер-Скотт, или научно-воспитательное, как Майн-Рид. <...>

...Самые договора Зифа являлись хитроумными юридическими ловушками, во избежание ответственности издательства перед тружениками [18]90-х и [1]900-х годов из договорных формул тщательно вытраивалось самое имя переводчика, замененное казуистическим термином — «редактор-переводчик». Само издательство выродилось в бездушную, уродливую канцелярию, на что я неоднократно указывал т. Нарбуту. Редакционного сектора, по существу, не было. Пораньше получить рукопись и попозже за нее заплатить — к этому сводилось все. Законом было полезное и удобное для издательства, а литературная продукция рассматривалась как собачье мясо, из которого все равно выйдет колбаса. Качество работы катастрофически снижалось. С одной стороны — террор квартальных планов, с другой — сопротивление никуда не годного сырья. Даже заикнуться о коренной ломке договора, то есть о заказе издательством новых переводов, и о том, чтобы растянуть годичный срок издания до трехгодичного, — было немислимо. Вообще с нами разговаривали только через прилавок: «Поскорее, молодцы, поторапливайтесь». За каждый лист обработанного Вальтер-Скотта уплачивалось наличными по 36 рублей; я утверждаю, что за эти деньги можно получить, заказав «охотникам» новые переводы, лишь дрянь и галиматью, хуже сойкинской или сытинской, не поддающуюся даже правке. Издательство это знало и не могло не знать, но сознательно закрывало глаза и, спекулируя на литературном умении и опытности Мандельштама и Лившица, все же получало, по меньшей мере, удовлетворительные тексты, переделанные из старинки.

Вы расторгли — точнее, выразили желание расторгнуть с нами договор на Майн-Рида, потому что мы якобы нарушили его, переводя с французского. Не мешало б вам еще до экспертизы, которая решит, является ли наш труд халтурным и не достойным Майн-Рида, заглянуть в самый договор, о котором идет речь, и сделать вывод, не ярчайшим ли образцом халтуры издательства является этот самый договор.

89 Речь идет об изданиях: Даудистель А. Жертва. Л., «Прибой», 1926 г., и Доде А. Тартарен из Тараскона. Л., «Прибой», 1927 г., в переводе О.Э. Мандельштама.

90 Мандельштам намекает на изданный ЗИФом в том же году «Гаргантюа и Пантагрюэль» в переводе В.А. Пяста.

Издание Майн-Рида, автора с нулевым литературным значением, лишенным намека на самостоятельный стиль или форму, утопающего на каждом шагу в слащавости и банальной красивости, было задумано исключительно ради его жанровых, приключенческих достоинств, все выявление которых падало на обработчиков. Оно оправдывалось лишь богатством естествоведческого и этнографического материала и волевым жизненным подъемом, которые нужны нашей молодежи, пока у нас нет своего Майн-Рида. За переделку Эдгара По можно казнить без суда, но относиться с пиететом к тексту Майн-Рида может только дореформенный учитель чистописания. Позволю себе заметить, что мои и вообще современные представления о прозе, даже для юношества, несколько расходятся с Майн-Ридом.

Неужели же блестящие по точности, авторизованные французские переводы в руках Мандельштама и Лившица могли дать худший результат, чем случайная стряпня с английского? Кто этому поверит? Для опыта мною были заказаны переводы с английского переводчикам, рекомендованным Зифом. То, что они мне представили, и то, что мне пришлось потом обламывать с громадной потерей времени и труда, было убогим лепетом, полуграмотной канителью, кишашей нелепостями, и в результате правки было несомненно бледнее и беднее моего перевода с французского. Но это и есть то не вызывающее сомнений «сырье», из которого у нас изготавливаются переводные книги: сначала полуголодный, пришибленный переводчик (точнее, деклассированный безработный интеллигент, ни в коем случае не литератор) полуграмотно перевирает подлинник, а потом «редактор» коршит над его стряпней и приводит ее в мало-мальски человеческий вид, уж, конечно, не заглядывая в подлинник, в лучшем случае сообразуясь с грамматикой и здравым смыслом. Я утверждаю, что так у нас выходят сотни книг, почти все; это называется «переводом с французского» или «переводом с английского» под редакцией «такого-то». Впрочем, имя редактора чаще всего опускается.

Возвращаюсь к нелепой структуре Майн-Ридовского договора. Издательство выплачивало пятьдесят пять рублей наличными с печатного листа. И этим обязательства его кончались. Тираж издания неограниченный, астрономический. А вот список наших обязанностей: «редактора-обработчики», в понимании договора низведенные до подрядчиков, обязуются, во-первых, заказать и оплатить <...>

*Дата — по экземпляру Н.И. Харджиева
(Собрание Н.И. Харджиева, Госуд. Музей Амстердама, Нидерланды)*

Февраль 1929 г.

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ — Э.В. МАНДЕЛЬШТАМУ

Дорогой папочка!

<...> Зиф, как тогда летом в Ялте, не хотел выслать денег. Но мерзавцы все же выслали. Это оказался последний гонорар. Договор, ты знаешь, расторгнут. Вернее, Ионов объявил его расторгнутым, попроси Лившица показать тебе копию письма, которое я отправил этому самодуру⁹¹. Ты поймешь, что я затеял серьезную борьбу. Дело не в М<айн>-Риде, которого мы, должно быть бросим, но я — обвинитель. Я требую реорганизации всего дела и достойного применения своих знаний и способностей. Возможно мы с Лившицем начнем судебный процесс, или же дело решится в общественном и профессиональном порядке. Скажу только, что я глубоко спокоен, уверен в себе, как никогда. Мне обеспечена поддержка лучшей части советской литературы. Я это знаю. Я первый поднимаю вопрос о безобразиях в переводном деле — вопрос громадной общественной важности — и, поверь, я хорошо вооружен. Но, милый папочка, все это уже потеряло для меня насущную остроту. Выяснилось, что можно бросить эту каторгу и перейти на живой человеческий труд. Сам не верю — но это так. <...>

(Новый мир, 1987. № 10. С. 201—202 (Публ. Е.П. Зенкевич и П.М. Нерлера)

91 См. выше черновик этого письма (И.И. Ионову).

Февраль-март 1929

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ — В ФЕДЕРАЦИЮ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Уважаемые товарищи!

То, что случилось у меня и Лившица с Ильей Ионовичем Ионовым, я не могу назвать иначе как катастрофой. Выпад Ионова переворачивает все наши представления об уважении к писательскому труду: грубый писательский окрик, град тяжелых безответственных обвинений, абсолютное презрение к личности и заслугам двух работников, которые отдали годы труда советской книге. Это была крутая домашняя расправа — в четырех стенах, без свидетелей, но с таким результатом, как ломка жизни, конец профессии, уничтожение в одну минуту писательской репутации. Ионов выдал мне и Лившицу волчий билет.

После его декларации мне и Лившицу остается стать в очередь на Биржу Труда. Впрочем, Ионов разрешил Лившицу подать на него в суд или куда угодно, не считаясь с его положением. Разрешение излишне. Напрасно Ионов думает, что мы нуждаемся в подобной санкции...

...Не думайте, товарищи, что я ограничусь вопросом о повышении гонорарных ставок для переводчиков-редакторов. Как ни важен вопрос, но он далеко не все. Но оплата задает тон всей работе. Оплата постыдно снижает качество. Оплата, самый ее способ, вызывает дикую спешку. Выходит так, что громадная культурная функция как правило выполняется калекками, недотепами, бездарными и случайными искателями заработка.

Хотя так называемые переводчики и зарегистрированы в писательских союзах, образуют даже самостоятельные секции, к этим случайным группам случайных людей, быть может ни в чем и неповинных, нельзя апеллировать в таком важном деле. Соблюдая всю мягкость и осторожность, надо провести переквалификацию действующих работников, щадя их самолюбие, считаясь с возможностями личных трагедий на почве судьбы этих работников, соблазненных издательствами, которые не постеснялись вовлечь их в невыгодную сделку, выставить на позорище перед обществом и читателями, в поисках дешевого мозга и дешевого труда.

Чтобы больше не возвращаться к вопросу о гонорарах, изображу вам выпукло и наглядно, во что выливается оплата переводческого труда. Возьмем среднюю ставку 35 рублей. Предположим, что переводчик получает наличными 20. Он работает не по конвейеру — том за томом. Сплошные перебои, безработица, поиски книжки, хлопоты, мытарства. Недоплаченные 15 рублей для него манна небесная. Из бюджета они выпадают. Но у него есть еще тяжелые производственные траты, в которых издательства, начиная с Гиза до последнего частника, с циничным упрямством отказываются участвовать. Из нищенского гонорара, похожего скорей на подачку, переводчик вынужден по букве договора оплачивать переписку на машинке (минимально 3 рубля с печатного листа). Значит у него остается, считая расход на бумагу, а также ленту, которую его заставляют оплачивать машинистки, всего 16 наличных рублей. Но это еще не все. Никакой переписки на самом деле не бывает: на самом деле бывает диктовка, а диктовка гораздо дороже — уже не три, а 5—6 рублей с печатного листа. Таким образом «подачка» наличными...

...К самому переводу относятся как к пересыпанию зерна из мешка в мешок. Чтобы переводчик не утаил, не украл зерна при пересыпке текста, по методу лабазного контроля оплачивается с русского текста, и не с подлинника, и вот годами по этой ничтожной причине книги пухнут, болеют водянкой. Белые негры нагоняют «листаж», чтобы как-нибудь свести концы с концами. Вся трудовая атмосфера в данной области насквозь больная. Деморализация отчаянная. Как позорно, как больно видеть взрослого человека, семьянина, иногда с сединой в волосах, униженно лебезящего в редакторской приемной, домогаясь «работки». Не один, так другой. Дублеров сколько угодно. Переводчик — это попросту безработный. Вдумайтесь только, что означает выражение «дама-переводчица». Ведь только на базаре у нас еще говорят «мадам». Но вокруг иностранной книги кормятся сотни никому не ведомых полуграмотных женщин, имеющих заручку, знакомство, связи в издательствах. Переводят «дамы», домашние

хозяйки, имевшие в детстве гувернантку-француженку, спекулянтки-негродержательницы, наконец, жены, родственницы, протеже влиятельных работников.

Перевод — один из самых трудных и ответственных видов литературной работы. По существу, это создание самостоятельного речевого строя на основе чужого материала. Переключение этого материала на русский строй требует громадного напряженного внимания и воли, богатой изобретательности, умственной свежести, филологического чутья, большой словарной клавиатуры, умения вчувствоваться в прозаический ритм, схватить рисунок фразы, передать ее ритм, движение, походку — всё это при строжайшем самообуздании. Иначе — отсебятина. В самом акте перевода — изнурительная нервная разрядка. Эта работа изнуряет и сушит мозг больше, чем всякая другая. Хороший переводчик, если его не беречь, быстро изнашивается. Перевод — это в точном смысле слова вредный цех. Профессионалы, вынужденные, благодаря нищенской оплате, печь, как блины, без отдыха и передышки, книгу за книгой из года в год, нервно заболевают... Им грозит афазия, размагничивание речевых центров, расстройство речи, острая неврастения. Здесь нужна трудовая профилактика. Здесь нужно изучать и предупреждать профзаболевания <...>

ВРСХД. 1977. № 120. Машинописная копия (АМ).

На копии примечание: «Отрывки, которые сохранились».

Имеются текстуальные совпадения со статьей «Потоки халтуры».

8 апреля 1929 г.

Р.В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК — А.Г. ГОРНФЕЛЬДУ

Дорогой Аркадий Георгиевич,

так как Вы теперь не получаете «Известий», то посылаю Вам «при сем» фельетон из вчерашнего №-ра — «Потоки халтуры», где Осип Мандельштам пишет про дома mea⁹², не вспоминая, однако, истории с романом де-Костера.

Когда зайду к Вам — расскажу, чем кончилось третейское судилище по делу Ко Мандельштам — Лившиц contra Ионов (или наоборот), происходившее здесь в тот самый день, когда в Москве появился этот фельетон о халтуре.

Интересные времена и нравы! Жму руку — привет!

Ваш Р. Иванов.

(РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 321. Л. 13)

16 апреля 1929 г.

ИНФОРМАЦИЯ

16 апреля ГИЗ провел совещание переводчиков, в котором участвовали Л. Гроссман, Б. Ярхо, А. Эфрос, О. Мандельштам, А. Виноградов, Б. Лившиц, М. Зенкевич, А. Ромм и др. переводчики и редакторы, а также представители издательств. Совещание подтвердило справедливость положений статьи «Потоки халтуры», признало необходимым создать контакт между изд-вами и согласовать их планы, повысить оплату труда переводчиков и выявить внутри ФОСП (Федерации объединений советских писателей) квалифицированные кадры. Совещание избрало бюро в составе тт. Сандомирского (ГИЗ), Эфроса, Зенкевича, Мандельштама, Ярхо, Ромма и Морица, которому было поручено разработать конкретные мероприятия по обсуждавшимся вопросам. С тем, чтобы провести эти мероприятия в жизнь, планировалось созвать в течение недели второе, расширенное собрание переводчиков.

(Литературная газета. 1929, № 1, 22 апреля. С. 2).

19 апреля 1929

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый товарищ редактор. Не вступая в полемику с автором статьи «Потоки халтуры» (Известия, 7 апреля), в которой по существу много верных положений,

92 В свою защиту (букв. «В защиту своего дома») (лат.).

литературно-художественный отдел ГИЗ просит вас уделить несколько строк освещению вопроса о характере и способах подготовки издания полного собрания сочинений Гете, считая, что это издание не может не интересовать широкие круги советской и писательской общественности.

Не только состав редакции этого издания, но и самый кадр переводчиков согласован был с компетентными органами с целью максимального обеспечения как идеологической так и художественной стороны издания. Во главе издания стоит редакционная коллегия из гг. А.В. Луначарского, Л.Б. Каменева и академика М.Н. Розанова. В более широкий редакционный комитет входят: академик В.М. Фриче, П.С. Коган, Ф.Ф. Раскольников, Л.И. Аксельрод, И.И. Гливенко, М.А. Петровский, Е.М. Браудо, Л.П. Гроссман, В.И. Жирмунский, А.Г. Габричевский, А.М. Деборин, В.И. Вернадский, Макс Левин, Б.И. Ярхо, Р.И. Фрумкина и др. В качестве переводчиков приглашены: Пастернак, Антокольский, Иванов, Соловьев, Нилендер, Румер, Шервинский и друг<ие>. Не останавливаясь на других сторонах организации этого издания, которые дают ГИЗ возможность надеяться на то, что юбилейное издание Гете в значительной части своей явится совершенно новым хотелось бы отметить еще, что все перечисленные работники редакторы и переводчики — принимали и принимают участие в выработке плана издания и присутствуют на всех организационных собраниях по изданию. Последнее обстоятельство и самые имена участников этого издания служат лучшим ответом на ту несправедливую оценку, которую оно встретило в статье О. Мандельштама.

С тов<арищеским> приветом Зав. литературно-художественным отделом Госиздата САНДОМИРСКИЙ.

(Известия. 1929, 19 апреля)

27 апреля 1929 г.

А.М. ГОРЬКИЙ — А.Б. ХАЛАТОВУ²³

Замечаете ли Вы, что в прессе все чаще встречаются указания на плохой подбор книг ГИЗом, ЗИФом, и Прибоем? Я имею в виду не статью Мандельштама в «Известиях», а рецензии «Печати и революции», «Книги и революции»...

(ИМЛИ, Архив А.М. Горького)

29 апреля 1929 г.

НАШИ ПЕРЕВОДЫ ПЛОХИ

«<...> Кампания против безобразной эксплуатации, поднятая в «Известиях» О. Мандельштамом должна быть доведена до конца». А. Ромм». В № 1 «Литературной газеты» напечатана заметка «Повысим качество переводной литературы». В заметке указывается, что издательства предъявляют весьма пониженные требования к переводчику, что выпускаемая халтура и макулатура происходят от этого и от низкой оплаты труда переводчиков.

Лучшие переводчики — за бортом литературы и без работы. Почему? Потому что тот, кто первым принесет книгу в издательство, тот ее и переводит. Издательство редко интересуется тем, как работает данный переводчик. Редактор есть? Ну, значит, все благополучно.

Сплошь и рядом книгу требуемого у нас автора получает из-за границы несколько переводчиков. Все они стремятся лететь в издательство. Издательства желают обогнать друг друга, книгу рвут на пять частей, отдают пяти переводчикам, и переводчики в хвост и гриву гонят текст. Редактор более или менее «присосывает» его, и книга готова. Часто происходит и то, что человек, имеющий связь с издательством и с заграницей, не может управиться со всей получаемой и требуемой литературой. Он раздает книги на-сторону, «литературным неграм», платит им гроши, и перевод выходит под именем собственного книжки. Переводчик голоден, он идет и на это.

Переводят люди, не знающие русского языка. Это те, кто имеет знакомых или родственников, присылающих книги из-за границы. И нередко приходится читать: «он держал свою голову своими руками», или «я думал, он блондин, а он совсем шатен».

Книги должны получаться в издательствах, и издательства должны создать кадр квалифицированных переводчиков. Это можно и нужно сделать. Нужно покончить с параллелизмом в издательствах, с гонкой. Нужно увеличить оплату труда переводчика и повести решительную борьбу с «китами», отдающими работу на сторону. Нужно покончить и с тем, весьма нередким типом редактора, который не читает рукописи, но фамилия которого красуется крупным шрифтом на титульном листе книги.

И если сейчас во весь голос кричат о недопустимости соавторства в театре, то разрешите и нам протестовать против такого принудительного соавторства.

Нужно объединить переводчиков и позаботиться об общественном и социальном лице переводческой масти. Ведь дело дошло до того, что ВЦСПС в своей последней инструкции забыл о переводчиках. Переводчик должен остаться в профсоюзе, если он действительно переводчик по профессии.

Переводчик ждет чуткого, внимательного отношения к своим нуждам. В халтуре и макулатуре переводчик менее виноват, чем это может показаться на первый взгляд. Переводная литература большой и важный участок на фронте культурной революции.

Переводчик.

(Литературная газета. 1929, № 2, 29 апреля⁹⁴.)

Из дневника В. Яхонтова

Июль 31 г.

Кстати, вся переводная литература — сплошной суррогат, потребляемый нами в сверхъестественных размерах, — злая история с О. Мандельштамом свидетельствует о том, что Горнфельды и прочие люди знающие языки (это и есть переводчики — словно больше ничего не требуется) своих позиций даром не уступят.

Я не мог прочесть и двух страниц горнфельдовского перевода «Тилия» — такая вата.

(РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Д. 45. Л. 51)

Окончание следует

94 В составе подборки материалов о переводах заметки Б. Ярхо «Как переводить классиков», Гана «Забывший участок. О переводах с языков национальных меньшинств», А. Ромма «Премирование безграмотности» и Переводчика (по всей видимости, О.Э. Мандельштама) «Виноват ли переводчик».

Елена Скульская

...Но к сентябрю меня уже не будет

— Валера, не могу понять, так тебе понравилась моя повесть-пьеса «Не стой под небом, отойди!» или не понравилась?!

— Понравилась, Лиля, очень понравилась. Я и режиссера на нее нашел бы, ты понимаешь, нужен особый режиссер, я к нему присматриваюсь, он у меня на Алтае ставил. У тебя фокус в том, что нельзя убирать ремарки, прозаический текст убирать нельзя, а текста этого больше, чем самой пьесы, точнее, всех этих смешных абсурдистских пьесок, которыми он перемежается. И поставили бы, Лиля, к сентябрю, да только в сентябре меня уже не будет.

— Валера, сколько же можно! И десять лет назад ты говорил, что умираешь.

— Тогда умирал, а теперь меня убьют. Ты забыла? Я ведь начальник, руковожу Театром на Таганке, меня убьют.

— Слушай, какой глупый разговор. И все только для того, чтобы мою пьесу не ставить?..

Но не засмеялись — ни он, ни я.

И умер.

А до этого приезжал в Таллин с пьесой Артура Миллера «Все мои сыновья» в постановке Кшиштофа Занусси. После смерти своего сына. Написал на книжке: «Лиля! Прими ради фотографий моих сыновей!» Потом позвонил уже из Москвы:

— Мне кажется, ты хотела уйти после первого действия. Совсем плохо?

Я-то знаю, что со сцены не могло быть меня видно в одиннадцатом ряду, тем более что удержалась и не ушла.

— Нет, не то чтобы плохо... Но ты скажи, как это вы с Екатериной Васильевой, великие артисты, могли играть с этим, ну, таким, похожим на большой спичечный коробок; стоял в углу сцены и что-то шепелявил — в костюме с ватными плечами, в черной шляпе на американской жаре, на зеленой траве, да, еще и эта бритая трава, которой облеплена вся сцена...

— Наш продюсер. Пожалуйста, говорит, повезу вас в Польшу, будете дома у Занусси репетировать, как захотите, любые деньги, все отдам. Но хочу сыграть. Дайте, говорит, мне маленькую роль, а я вам все что угодно оплачу. И выбора у меня не было, понимаю.

А перед спектаклем, как уже привык за долгие годы, продавал свои книги. («Я же... остановился. Ни хрена не пишу и продаю свое прошлое, то бишь — дневники... Кстати... это прошлое и кормит меня в прямом смысле...») К деньгам с брезгливостью не прикасался, они шевелились и копошились и перекладывались чужими руками как-то отдельно от него. Он посматривал на горку купюр, как смотрят на старые обои, под которыми, пригнув головы, пробираются к выходу тараканы, и от этого выцветшие цветы на обоях чуть подрагивают. У всех спрашивал имя и задумывался, какая надпись к этому имени подошла бы. Опустил голову.

Об авторе | Елена Скульская — поэт, прозаик, переводчик, автор пятнадцати книг стихов и прозы, выходящих как в России, так и в Эстонии. Среди них «Ева на шесте» (2005), «Любовь» и другие рассказы о любви» (2008), «До встречи в раю» (2011). Лауреат Русской премии, премии Союза писателей и Фонда «Капитал культуры Эстонии». В «Знамени» печатались рассказы и эссе Е. Скульской.

— Мария! — протянулся к нему искательный звук, и женщина перерезала свой большой кухонный живот краем стола, за которым он сидел.

Он вздрогнул и почти застонал:

— Ты, Мария, — гибнущим подмога...

Живот отодвигается, заравнивает впадинку от края стола. Он поднимает взгляд на полированные пряди цвета мореного дуба, только что снятые с бигуди, оглядывается на меня — неловко вышло.

— Надо смерть предупредить — уснуть, — продолжаю я.

— Я стою у твоего порога, — говорит он; очередь притихла; книга раскрыта.

— Уходи, уйди, еще побудь, — говорю я. Он книгу надписывает, и «мастерица виноватых взоров» уходит, переваливаясь, в зал.

— Почитать хором не с кем. Почти никого не осталось...

Не то чтобы прикидывался, но не возражал, даже нравилось, когда казался простачком, алтайским пареньком с гармошечкой-чапушечкой, в смазных сапогах, в поддевке, Клюев-Есенин, мой дорогой; «Наплявать-наплявать, надоело воевать...». Зачем Бумбарашу Мандельштам? Или зачем вот это, например, что он повторяет и повторяет и примеривает к себе:

Мой Телемак,

Троянская война

окончена. Кто победил — не помню.

Должно быть, греки: столько мертвецов

вне дома бросить могут только греки...

Как странно, Валерий Сергеевич, — откуда в вас Бродский?

Он вырос среди боли и болезней. Всегда знал это медленное усердие больного, который сопротивляется, поедаемый и разрушаемый тлением.

— Мама, — рассказывал, — привязывала меня за ногу, оставляла на крыльце и уходила работать в поле. А я пел, и мне в благодарность давали то пирожок, то еще что-то, и я тогда понял, что я всю жизнь буду петь, раз меня за это благодарят, а может быть, я это осознал лишь тогда, когда написал об этом в книге... Понимаешь, мы ведь осознаем, что с нами произошло, только написав об этом, а пока не написали, не знаем, а когда написали, то кажется, что прошлое должно подстроиться, подравняться под написанное.

Да нет, не так, я всегда был уверен в своем актерском предназначении... Мое село находится очень далеко на Алтае, туда добраться сложно, особенно зимой, и вдруг в наш клуб деревенский артисты Бийского драматического театра привезли зимой то ли Гольдони, то ли Мольера, и в страшный мороз играли, как нам казалось, совершенно голыми, — мужчины в белых чулках, в распахнутых рубашках... Я был прострелен этим зрелищем, я, может быть, не очень вникал в содержание, не очень понимал, но мне понравился сам подвиг — мы сидим в шубах, в шапках, пар изо рта, а они обнаженные нас развлекают. Мне захотелось быть среди них — преподносящих красоту, несмотря на мороз и шубы, и вместе с ними заставлять смеяться и плакать...

Ты учти, я ведь до восьмого класса ходил на костылях. Да-да, сначала лежал три года, привязанный к постели. Отец меня по блату устроил в туберкулезный санаторий, эвакуированный из Ленинграда; нога доверху была у меня в гипсе — лекарств других не было; у меня была опухоль, завелись какие-то мясные гнойные червячки, я стал чесаться, засовывал туда ручки, карандаши и расчесал все: гной вытек, поднялась страшная вонь, и врачи вынуждены были снять гипс, — так я сам себя спас, а иначе я бы лишился ноги, она бы высохла... Потом мне разрешали по несколько минут сидеть, потом поставили на костыли...

Подвиг театра и подвиг терпения были для него неразлучны. Он несколько месяцев, не отходя, выживал после тяжелой травмы мать своего младшего сына — красавицу-актрису; жалел, до слез жалел свою жену, она болела; долго болел его старший товарищ по Таганке, к которому ушла первая жена вместе с первым сыном; сострадал и помогал. Звонили из деревни, родные болели, умирали, он в подробностях выспрашивал, слал лекарства, построил храм на свои деньги...

Очень хорошо понимал, чувствовал внутренние механизмы людей, был до крайности прозорлив, а потому в людях всегда ошибался; откровенничал и с теми, кто деликатно отворачивался, увидев простодушно обнаженное исподнее, и с теми, кто только исподним и интересовался, сладострастно слглатывая слюну. Непрожеванные куски собственной жизни смотрели на него со страниц газет, с экранов телевизоров; он отрицал, соглашался, снова говорил о сокровенном. О, неслучайно среди его ролей — Грушницкий. Всякий, пускающийся на дебют, пишущий или играющий роль, думает, что все обойдется, что дуэль будет не настоящая, а оказывается, что все будет всерьез и придется погибнуть — за свою злость, за свою шутку, за каждую свою строчку и за каждую свою маску придется умереть. Он должен был бы еще сыграть Грибоедова — ему бы хватило и злости, и музыкальности, и страсти, и той готовности к слезам, которая перечеркивает злость. А в конце спектакля о Грибоедове появлялась бы по требованию продюсера-спонсора какая-нибудь такая реклама: «Александр Сергеевич Грибоедов был растерзан озверевшей толпой в Тегеране. Куски его тела так бы и остались лежать в общей яме. Но нет! Ему повезло! Он был опознан по кольцу, сиявшему на его отрубленном пальце. Палец был подобран и отвезен в Россию. Покупайте украшения ювелирно-го дома “Небо в алмазах”, и вы никогда не затеряетесь в море трупов!».

А про свое село рассказывал лучше всего, показывал, играл все роли, спектакль в гримерке для одного зрителя, да ему и не очень важно, каков зритель, главное, чтобы он был:

— Приехала к нам бригада Московского цирка; тогда поднимали целину и по указу партии и правительства обслуживали целинников. И вот ко мне пришли домой и пригласили меня в клуб; позвал меня руководитель бригады Алексей Яковлевич Полозов, которому на селе сказали, что я готовлюсь в артисты. Я и тогда, как и теперь, был болтун, тайн никаких, выносил всегда вперед и несделанное даже — это меня, кстати, всегда обязывало: скажу, что напишу роман, — приходится написать; скажу, что сыграю какую-то роль, — приходится добиваться; словом, Полозов говорит, что им для представления нужна подставка, нужно, говорит, молодой человек, сыграть этюд. Номер заключался в следующем: иллюзионист на сцене печет торт, а клоун его пародирует. Клоун — Полозов. Он мне объясняет: я возьмусь испечь торт в кепке и попрошу ее у публики, а вы будете сидеть в первом ряду на первом месте и вот эту кепку мне подадите — и протягивает мне застиранную и заношенную, миллион раз побывавшую в представлениях кепку; я, — продолжает он, — начну разбивать в нее яйца, добавлю опилки, гвоздей, а вы, молодой человек, возмутитесь, мол, что же это делают с моим головным убором?! Я вас заведу за кулисы, подменим кепки, вы выйдете с новой кепочкой, извинитесь передо мной, все хорошо, и этюд закончен. Согласны? Согласен! Я получил две контрамарки — для себя и своей девушки Клавы, помню, билеты были дорогие — по восемь рублей. Первый ряд — почетный: тут директор школы, тут председатель райисполкома, начальник милиции и я. За мной — Клава. Я готовился, надел рубашку, пиджачок бостоновый, перешитый из материнной юбки...

Начал работать иллюзионист, появился рыжий клоун, чувствую, время мое приближается. Клоун говорит: «Я сейчас тоже испеку торт. Дайте мне кто-нибудь головной убор!». Тут же весь зал, конечно, предлагает ему, у кого что есть — кто кепку, кто фуражку, кто косынку. А он: «Нет, я попрошу головной убор у этого молодого человека, он мне понравился». А я: «Не дам!». Он растерялся на какой-то момент. Я нарушал правила игры. Вообще-то за такое убивают. Это как если бы в цирке воздушный гимнаст посторонился бы, когда к нему летит партнер, и дал бы ему упасть с высоты в опилки. Но он, человек искушенный и опытный, быстро пришел в себя и продолжил диалог: «А почему не дашь?». Одна реплика, вторая, и он обратил зрительный зал против меня. Все стали кричать: ты чего, парень, что он с твоей кепкой сделает-то, это люди-то какие из Москвы приехали, а ты кепку жалеешь; Клава мне стучит в спину — отдай; он нагрел ситуацию до такой степени, что эту кепку у меня мои же вырвали и отдали ему. Он сообразил: игра идет, да, она идет не по заданному руслу, но идет здорово, успех уже есть, а номер только на середине. Он начинает бить в кепку яйца, бросает гвозди, добавляет все, что на сцене валяется. Я возмущаюсь! Я кричу: новая кепка! Обращаюсь к заведующей раймагом: Марья Григорьевна, вы же помните, я на трудодни купил у вас эту кепку! А она: отродясь у нас такого товара не было! Меня

односельчане уже за руки держат, но я из своего пиджачка бостонского выскальзываю, как змея, бросаюсь на сцену, начинаю кепку у него вырывать, выкручиваю кепку; в лица нам летит желток, я плачу натуральными слезами, а внутренний голос во мне кричит: давай, давай, это твой звездный час, другого не будет!

Артисты перепугались: это уже не игра была, это трагедия была молодого человека, у которого отняли что-то дорогое и ценное. На буксире оттаскивает он меня за кулисы, обменяли кепку, я вышел, обомлев, разглядываю целехонькую кепку и начинаю извиняться перед клоуном. Зал — простодушный сельский зал — был потрясен. Клавка моя убежала от позора. Она не поверила, что это этюд... Я досидел до конца представления, потом отдал кепку, а Алексей Яковлевич, сказав, что все прошло хорошо, пригласил зайти завтра к ним. Я ночь не спал, волновался, дождался утра и узнал, что Алексей Яковлевич был в райисполкоме, попросил, чтобы мне после школы выдали паспорт — колхозникам на руки паспорта не выдавали — и дали направление в институт. Он произнес фразу, определившую всю мою дальнейшую жизнь: «Вы сделаете преступление, молодой человек, если не станете драматическим артистом». И он дал мне свой московский адрес.

Поехать из села в Москву — непросто на это решиться... Но у меня был адрес... И я приехал. Мне приоткрыла старушка дверь на собачку. «Где Алексей Яковлевич?» — «В Африке». И дверь предо мной закрылась.

Я переночевал перед институтом и в шароварах шагнул в другую жизнь, в ГИТИС, на отделение оперетты...

* * *

...В 1965 году меня, девятиклассницу, родители отпустили одну из Таллина в Москву на весенние школьные каникулы. Мне нужно было попасть в Театр на Таганке. Ужасные у нас были споры с отцом — любимым и талантливым писателем Григорием Скульским — о том, существует ли какая-то отдельная советская литература. Я эту отдельную литературу не любила и уже тогда была убеждена, что жизнь человека трагична и несчастлива по определению, а не в силу каких-то обстоятельств. И писала стихи про догоревший белый снег, про запекающую рану неба, про то, что я убегаю, спотыкаясь о звезды. И я знала, что мне нужно попасть на Таганку (и на спектакли Эфроса, но это потом).

Таганка была одним из очень многих мечтаний, которые не обманули. Я помню, как в пять-шесть лет мы с моей подружкой Милкой, сидя под столом на кухне ее бабушки и дедушки, таскали из огромного «картофельного» мешка воблу; воблу эту привозили родители Милки с Дальнего Востока, на всю зиму должно было хватить, потом уезжали обратно. И нам разрешалось брать не больше одной воблы в день. И вот мы мечтали, что если станем принцессами, то будем есть воблу, сколько захотим, а главное, одни жирные хребты, а ребра станем выбрасывать, а еще нам прислужницы станут чистить семечки, и мы будем получать их уже без шелухи. Все оказалось потом доступно, но совершенно не нужно. И помню, что мечтала о собаке, и родители поклялись подарить мне ее на 12-летие. Я ждала терпеливо шесть лет, а они были уверены, что я забыла, и отец, потрясенно, сознался, что они обманули меня. Осталась ужасная обида на жизнь, а собака так и не завелась, хотя потом этому ничто не мешало.

До сих пор помню, как по скульптурной лепке лиц, по хищной собранности тел моментально узнавались артисты Таганки в вагонах метро. Мы ехали в театр одновременно — те, кто входил со служебного хода в гримерки за час до спектакля, и те, кто кружил у входа в театр в надежде выпросить, перехватить, вымолить, чудом добыть «лишний билетик».

И помню ту, с тревожной оглядкой, женщину, которая отвела меня за угол и продала за три рубля билет на «Доброго человека из Сезуана» в пятый ряд партера (так замечательно я потом уж никогда на Таганке не устраивалась).

Стихи были способом нашего быта, методом нашего интерьера. Мы здоровались строчками Вознесенского, мы прощались цитатами из Ахмадулиной, мы выкрикивали в спорах строфы Евтушенко. Мы слушали на бобинных магнитофонах

Галича и несли в школу его стихи, мы пели на комсомольских собраниях Окуджаву, и учителя робели, но не смели нам мешать жить по-своему.

Я и сейчас не знаю истинную цену стихам Вознесенского. Как они соединились в моем сознании со стихами Мандельштама, Цветаевой, Пастернака? Да они, наверное, и не были в строгом значении слова стихами для меня — они для меня были нормой моей речи.

Как это было и для Валерия Золотухина. Это потом он очнулся от похмельной веселой жизненной браги и задумался над Бродским. «Почему это прошло мимо?» Почему Вознесенский никогда не присоветовал его почитать? И Золотухин, готовясь к возможной встрече с Иосифом Бродским в Греции, выбирает и учит:

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

Но это все потом, потом. А пока я сижу в 1965 году на «Добром человеке...»

Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки, —
Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.

Мы тогда не знали, что душе грешно без тела. Мы думали, что все внешнее не имеет ни малейшего значения, важно — что у тебя внутри. Набоков писал о нас, что мы не моемся. Что у нас положительный герой плеснет себе утром воды в лицо, чтобы очнуться от бессонной ночи, и все. Полу-положительные моют руки. И только форменные предатели заботятся о своем теле. Лицо еще как-то могло быть милым, умным, привлекательным, даже, в самом крайнем случае, красивым, но, конечно, не тело. Мы с ужасом думали о том, сколько стоит «сия чистота». Мы, конечно, догадывались, что плащ-болонья и джинсы приобщают нас ко всему человечеству, а не только к своей унылой социальной прослойке, но молчали...

Я увидела на сцене артистов молодых и красивых, с красивыми, сильными, накачанными, пружинистыми телами. Они играли все роли — и стариков, и юношей. Они были одеты именно в то, что приобщало их ко всему человечеству: я могу ошибаться, но сейчас мне кажется, что все они были в джинсах и черных свитерах.

Диссидентов в нашей империи всегда узнавали не по антисоветским лозунгам и даже не по эзопову языку, нет, узнавали по синтаксису, по запятым, по несанкционированному ритму фразы, по внутренней рифме. Волчья поджарость Таганки, втянутые, плоские, барабанные животы били по советской власти, по ее партийному руководству — с узкими плечами, жирными женскими боками, с необъятными задницами, застарелой одышкой и старческим маразмом — больше, чем политические намеки.

Эти артисты были эротичны. Искусство эротично по своей природе, по своей сути, по своей жажде, трепету, дыханию, и Юрий Любимов вернул театру это его первичное свойство, отнятое у всех остальных советских подмостков.

Пока Анны Каренины величественно «несли» себя под поезда, пока юных сыновей Карамазова играли зрелые и даже перезрелые мужчины, Валера Золотухин взволнованно вставал на весы, делал зарядку, ограничивал себя в еде (хорошая еда бывала на праздники, но и там нужно было себе запрещать), может быть, и не зная, что это — нормальная, правильная профессиональная забота артиста, принятая с самых древнегреческих времен. И в его, золотухинском, случае всяческие мимолетные любовные истории — есть тоже поддержание себя в должной эротической форме, без которой бессмысленно выходить на сцену. Как живописцу необходимо обнаженное женское тело — натурщицы, музы, подруги, как живописец бесстрашен и бестактен в своем профессиональном интересе, так и артист, ему грешно без тела... И на этом теле нужно уметь играть, как на флейте.

* * *

«Вы не пара мне, — сказала мне вчера Тамара, — вам пара она, уфимская шлюха, вы с ней — два пошлых пошляка». Да, конечно, я вам не пара, Тамара Вл. (это он добавляет наперекор детской рифме. — Е. С.) Ваша самодостаточность и высота ваша, не шучу я абсолютно, разве сравнится с низостью этой мадам. Но этой низости-то мне в вас и не хватает, очевидно, прости меня Господь!» — пишет он в Дневнике, предвидя эту неизбежность низости, которая есть всего лишь враг усредненности, обывательской правоты. Потому что готов принять все неизбежное, что сулит профессия. Как принимают, не ропща, судьбу.

— История моя с Полозовым, с клоуном, на его отъезде в Африку все-таки не закончилась. Как-то мы зарабатывали с Юрием Владимировичем Никулиным в домах отдыха Карельского перешейка; уже я был довольно известен, работал в Театре на Таганке, снялся в «Хозяине тайги» и в один из вечеров рассказал Никулину, как прошла моя первая встреча с клоунадой. «Ты фамилию не помнишь?» — «Полозов» — «Алеша? Я с ним начинал на манеже». Достает Юрий Владимирович записную книжку и дает мне телефон. А у меня в это время вышла повесть в «Юности» — «На Исток-речушку, к детству моему». 1973 год. И у меня в ЦДЛ был вечер как у писателя. Дебют. Конечно, была концертная артистическая программа, но все-таки вечер писателя. В Москве я позвонил Полозову. «Здравствуйте, я тот мальчик с Алтая, которого вы направили в артисты». Он: «Мне Юра уже позвонил. Я вас, конечно, не помню, у меня таких подсадок было много, но я вас знаю». И я его пригласил в ЦДЛ. Это был, повторяю, первый такой мой вечер. После выхода повести в «Юности» был банкет, и Вознесенский мне сказал: «У тебя теперь другая биография начнется. Как у Володи Высоцкого после «Гамлета», когда в нем, в Гамлете-Высоцком, видели прежде всего поэта». Словом, я его пригласил; идет вечер, я заканчиваю программу песенкой Остапа Бендера и вдруг вижу, как по проходу идет высокий человек с огромным букетом гладиолусов. И я его узнаю, и я понимаю, что сейчас получаю букет из рук человека, которому я обязан своей актерской судьбой. Я принимаю букет, у меня — слезы по лицу; я постоял так несколько секунд и говорю залу, что я просто обязан рассказать всю ту историю, которую сейчас рассказал тебе... Потом я зашел в «Юность», и заводелом прозы сказала мне, что эта подсадка с клоуном — была лучшей частью вечера...

У этой истории есть вторая часть. В моем селе Быстрый Исток давным-давно администрация выкупила родительский дом под мой будущий музей. Некоторое время он пустовал, мальчишки с девушками там устраивали ночные посиделки, однажды чуть не сожгли его, и, в конце концов, — дом разрушался, жалко было, — ко мне обратилось общество охотников, и я им этот дом отдал в пользование. Они обещали подвести фундамент, сделать крышу. И вот когда стали долбить земляной потолок — там же землю затаскивают на потолок, земля прессуется и сохраняет тепло; мы в детстве зарывали на чердаке многочисленные свои секреты; за годы земля совершенно затвердела, превратилась в асфальт; итак, когда они долбили ее, то скинули некий предмет — такой дорогой медно-латунный сплав. А напротив жил мой брат по отцу. Они ему предмет принесли — миниатюрную женскую руку. Брат мне ее потом передал. А я репетировал в это время Кина в Театре Антона Чехова у Трушкина. И там такой текст от автора: «Нельзя никому играть Сару Бернар или Михаила Чехова, Эдмуна Кина или Евгения Евстигнеева. Актер, который старается их изобразить, похож на бифштекс, который пьжится на сковородке, пытаясь достичь размеров быка. Великие мастера прошлого ушли вместе с эпохой, и ничто не повторить». Мы репетировали в театре Вахтангова, а рядом антикварный магазин, я показал эту руку там, и антиквар мне сказал, что эта длань была на подставке, это видно, там отверстие в руке, и это рука — Сары Бернар. Тогда, в начале века, были сувениры — руки знаменитых людей.

И тут я вспомнил одну историю, а моя мама подтвердила, — что у нас однажды ночевала девушка: она сошла с парохода, и ей нужно было ехать дальше, в другое село; ей нужно было сидеть на попутную машину или на подводу, а пока она решила переночевать. Я это помню отчетливо, поскольку городская девушка — не сельская, она была чрезвычайно красива; я ее видел только утром; когда мы явились с

братом ночью после своих молодых шатаний, то мама сказала, чтобы мы в свою комнату не заходили — там девушка спит. А девушка маме сказала, что она артистка или учится на артистку, и запах по дому шел городской. И под подушкой потом, когда она уехала, обнаружили мы вот эту руку. Мама подумала, что это золото, и быстро руку спрятала, она думала, что девушка поедет обратно и явится за рукой. Но девушка не вернулась. Мама перепрятывала-перепрятывала и наконец закопала кисть на чердаке. И про это все забыли. И когда история подошла к музею, а я подошел к роли Кина, то рука нашлась и упала... Вот что значит судьба, понимаешь!

* * *

...Нормой речи эпохи были стихи (ритмически организованный текст наперекор бесформенной массе выхолощенных, кастрированных слов, сеем текущих с трибун). Я переписывала стихи Андрея Вознесенского в специальный блокнот, они становились исключительно моими. Когда я слышала, что их читает кто-то другой, то изумлялась, мне казалось, что меня не только обокрали, но еще и, как в страшных рассказах Роальда Даля, шеголяют передо мной в украденном.

Музыкальным инструментом была гитара. Струны рвали, терзали, перебирали. Молодые люди, у которых не было мозолей от струн на подушечках пальцев, не могли рассчитывать на успех. Все время пели хором (у костра) и брались по-братски за руки. Как-то мой отец стал расспрашивать, с кем из одноклассников у меня роман, а с кем дружба; я долго и сбивчиво ему отвечала, он вздохнул: «Что-то, смотрю, у вас любовь не сильно отличается от дружбы...» Да так оно и было, дружба — то есть стихи и песни — были важнее.

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

И голоса у мужчин-артистов на Таганке были иные, чем позволительно: они хрипели, они шептали, они обволакивали, они обнимали, они завораживали:

Дивясь на пахаря за сохой,
Вертел между губ — шиповник.
Плохой товарищ он был, — лихой
И ласковый был любовник!
.....
Что не однажды из-за угла
Он прыгал — как кошка — гибкий...
И почему-то я поняла,
Что он — не играл на скрипке!

И было все ему нипочем, —
Как снег прошлогодний — летом!
Таким мой предок был скрипачом.
Я стала — таким поэтом.

Валерий Золотухин играл в «Добром...» Водоноса. В нем уже была повадка Бумбараша — эта профильная, летящая легкость, способность промелькнуть, оставив фантомный след в воздухе, эта льняная простота, хуже воровства отнимавшая способность сопротивляться его обаянию. Он был добрым, наивным, обманутым Водоносом, певшим под дождем:

Гром гремит и дождик льется,
Ну а я — водой торгую,

А вода не продается
и не пьется ни в какую.

Он наклонялся и сгибался, как наклоняется и сгибается складной нож, и эта нерастроченная страстная сила согнутого складного ножа сохранилась в его актерской личности навсегда — он никогда не пел до дна голоса; скупой рыцарь актерского арсенала, — это дорогого стоит в большом артисте.

Я кричу: «Воды купите!»,
Но никто не покупает —
Мне в карман за эту воду
Ничего не попадает.

— Купите воды, собаки! — просил он с укором зал и вдруг добавлял с простоватой хитрецей: «Антракт».

То есть притворяется, что ли? А на самом деле он артист, не Водонос? То есть они, на сцене, люди, такие же, как я? То есть мы с ними заодно? То есть я права — есть в нашей стране смерть (спустя десять лет мне из первого сборника стихов редакторша слово «смерть» вымарывала, разрешила только «издохший фикус» оставить, видимо, фикус был лишним при социализме)? И зонги Брехта, и стихи Цветаевой — все это из нашей жизни?

Театр немислим без зрительского простодушия. В «Глобусе» партер стоял, ел, пил, тут же мочился на стены театра, — и ничего: понимал «Гамлета». Конечно, были места над сценой, где рафинированная публика не видела кривляния лицедеев, а только слушала стихи, но разве мы не знаем, чего стоит такая публика? Не она разжигала зимой ночью костры возле театра, чтобы хоть чуть-чуть согреть руки, на которых химическим карандашом записывались номера; отлучаться из очереди не разрешалось, отдавать свой номер тоже было запрещено; стояли и зябли всю ночь в безумной надежде купить в кассе Таганки, в первые десять минут после ее открытия, заветный билетик. Не эту публику разгоняла конная милиция, не эта публика заполняла собой балкон Таганки по «входным» и стояла по несколько часов в неудобной позе, скривившись и при этом встав на цыпочки, и какая-то пожилая дама мне, ерзающей в толпе, заметила: «Не беспокойтесь, впечатление то же самое...».

Я помню, это было на «Гамлете», чуть не стоившем дружбы Золотухину и Высоцкому. Любимов приказал Золотухину учить роль Гамлета. И Золотухин не осмелился ослушаться. Взялся учить роль, которая была главной ценностью в театре для его друга Высоцкого... В этом спектакле Лаэрт и Гамлет стояли по разные стороны сцены во время дуэли, между ними был густой воздух распри, беды, удушья, тут совсем не обязательно отравленное острие. Тут все решает за тебя Рок, Мастер, Гений. Тот Мастер, что после твоей смерти скажет:

— Не надо было Валере братья за руководство театром, не его это дело...

И сам тяжело болел, лежал в больнице, потом встал и пошел репетировать в Большом театре «Князя Игоря».

Артисты — не сукины дети! Они — дети в сиротском приюте, лица прижали к окнам, стирают дыхание со стекол: возьмите, пригрейте! Придут, возьмут, истерзуют и бросят; так и они зарежут благодетеля, разве на них можно за это сердиться?!

— Валера, — как-то спросила я, — зачем ты сам все время поддерживаешь легенду о вашей с Высоцким дружбе (вражде), что ты всегда, мол, был вторым, вслед за ним?

— Все понимается, — ответил он, — не так, как пишется. Никогда я не говорил, что я второй по таланту, по мастерству. Я второй по качеству характера. Любимов как-то спросил меня, может, ты, Валерий, попробуешь что-нибудь поставить? Я тогда родил формулу: я по своей природе, по характеру — ведомый, второй. Не ведущий. Это терминология военная. Летит ведущий в эскадрилье — а за ним несколько самолетов, которые начинают бой; ведущий, первый, отходит в сторону, а остальные вступают в бой. И, по статистике, ведомые погибали гораздо чаще. Потому что они были

действующие. Я люблю подчиняться воле, — говорю я Любимову. — Режиссер навязывает свою волю всем окружающим. Я единоличник, я подчиняюсь воле. Что это значит? Я пытаюсь вас понять и всю вину перекалдываю на себя. По дарованию я себя всегда считал первым. Высоцкий обо мне сказал: «Золотухин хвалит, потому что он знает, что он — лучший»; это было, когда мы смотрели материал «Интервенции».

В Володиных словах была огромная психологическая угадка. Но опять же понимают не то, что написано. А то, что хотят. Я пишу: да, я завидую Владимиру Высоцкому, но не чистой, а самой черной завистью, какая только бывает, я, может быть, так самому Александру Сергеевичу Пушкину не завидую, как Высоцкому... Все хватаются за первую часть фразы и опускают вторую... Как я мог завидовать Высоцкому, если у меня был, например, Кузькин — не сыгранный, но известный всей Москве, создававший мне легенду. Я, кстати, двадцать один год ждал часа, когда смогу в этой роли — в запрещенной инсценировке по повести Можаяева — выйти к зрителю, и дождался...

* * *

«Дневники» Валерия Золотухина — затяжной, тяжелый, мучительный приступ правды. Правды, которая уже не ищет и не хочет справедливости; и, против всех ожиданий, именно эта дикая, ненужная правда, именно эта постыдная нагота оказалась прекрасной и жизнотворной. Разграбленная жизнь стала наливатьсся дородством смысла; утраченные привязанности стали обустриваться уютот терпения и долга; заканчивается одна тетрадь, открывается другая; у Бога страниц много.

Золотухин-писатель окружает Золотухина-артиста, как волка флажками, и застривливает, и заставляет жить, жить, жить дальше. И задыхаешься, читая, и обжигается, читая, и собственную жизнь, мучась жаждой, начинаешь выжимать, как камень, в поисках влаги.

И все-таки не доверяйте до конца этой правде. Это — рафинированная проза, выполненная в жанре правды, в жанре исповеди, в жанре дневника для самого себя. Золотухин — писатель крупный и серьезный, строящий дневниковую прозу на приеме двойничества. Писатель знает, что только болотные, торфяные, табачные залежи тоски и неудачи, отчаяния и безнадежности могут породить текст, могут сложить слова в строчку, дышащую свежестью и теплом; а артист знает, что играть на разрыв аорты, да еще с кошачьей головой во рту можно только в шампанских брызгах успеха, в переполненном зале, в последнем, звенящем напряжении струны, берущейся за руки с другими струнами в аккорд; артист знает, что тоска мешает жить в согласии с ремеслом, мешает жить, то есть мешает выйти на сцену; а писатель помнит, что только помехи жизни, сильные, страшные помехи, когда изображение остается лишь выключить, — помехи одни и помогают писать.

Писатель и артист, хроникер и герой, персонаж, ищущий автора, и автор в поисках персонажа — в чем, собственно, состав трагедии, проливающей кровь из страницы в страницу тома?! А расцарапанная ногтями душа? А ужас равнодушия, когда глядишь на тех, кого когда-то обнимал, обожал, прижимал к себе на вечность? А устройство глазного хрусталика, видящего в самом дорогом, милом, родном изьяны фальши и тщеславия? А неизбежное желание простить и принять, смириться и забыть обиды, а все равно обижать и мучить, а потом вновь раскаиваться? А вы ду-мали, на плахе жить приятно и легко?!

Мой Телемак,
Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...

В 1994 году Валерий Золотухин приехал с концертом в Таллин, я опубликовала о вечере заметку, где, в частности, говорилось и о книге «Дребезги». В ответ пришло письмо: «В статье есть большая угадка, выдан вексель, постараюсь его оплатить. Вы

просто как бы навязали, заткнули мне его в карман, и некуда деваться, да и не надо — надо оплатить — делов-то на копейку, и это трудное самое, но заманчивое... Я хочу так уметь писать. У меня болезнь — у меня строка разъезжается, разваливается часто, как пьяная (но красивая) баба в широких санях...»

Спустя несколько лет. Позвонил Валерий Золотухин: «Лиля, пришли мне ту фотографию, которую сделала твоя дочка, когда вы вместе с ней приходили ко мне за кулисы на гастроях в Петербурге, ту, где мы с тобой сфотографировались обнявшись. Мне нужно для книги». Я сказала, что фотография получилась плохая. «Это ты говоришь как женщина или как полиграфист?..»

Действительно, мы с Маринкой пришли к Золотухину в гримерную во время гастролей Таганки в Питере. Я сказала дочери: хочешь сфотографироваться с гением? Золотухин закричал: «Замолчи, здесь фанерные перегородки, не дай Бог услышит Любимов, у нас в театре один гений» — и на всякий случай прокричал еще громче: «Юрий Петрович, не слушайте ее!». И тут же, с пинг-понговой быстротой: «Ой, Лиля, как я бестактен, ведь под гением ты, вероятно, подразумевала себя...».

И проверяет — держу ли реплику.

И пишет на следующей книге: «Обожаемой Елене Скульской с волнением и трепетом передаю на суд и прочтение. Люблю, читаю, восхищаюсь». Прижав эту книгу к груди, я сидела в первом ряду на спектакле по Петеру Вайсу «Марат и Маркиз де Сад». Валера Золотухин — Маркиз де Сад — в халате психиатрической больницы Шарантон подошел ко мне во время представления, взял книгу и прокомментировал: «Хорошая книжка, нам здесь такие не дают читать...». Сидевший рядом со мной знаменитый польский режиссер наклонился к соседке: «Отличный ход!».

На «Бориса Годунова», где Золотухин играет самозванца, я страшно опоздала, попав в московскую пробку; меня, в виде исключения, все-таки впустили в зал. Неловко хлопнула дверь. Зрители, привыкшие к таганковским неожиданностям, обернулись.

Что вижу я? Латинские стихи!

Стократ священ союз меча и лиры... —

произнес Золотухин, приветствуя меня со сцены и включая в спектакль мой невежливый приход.

Сколько уже написано о войне и дружбе Юрия Петровича Любимова и Анатолия Васильевича Эфроса, двух лучших режиссеров своего времени! О белоснежном, задыхающемся, облетающем «Вишневом саде», поставленном на Таганке Эфросом, раскрывшим в 1975 году в любимовских артистах неведомые им самим глубины. Страшный спектакль — я его помню, — где белоснежность была саваном, смертью, могильными крестами на погосте. И вишневый сад был лишь украшением кладбищенского одичания. И пьяненький Петя Трофимов — Валерий Золотухин ползал по этому кладбищу со своими пьяными и нелепыми обещаниями прекрасной будущей жизни. И ясно было, что никакой такой жизни никогда не будет. И Чехов звучал зловеще. Эфрос отменил все чеховские обещания, в которые мы смутно все-таки верили. Эфрос наталкивал нас на мысль — через множество лет не будет ничего, все умрет, а пьеса Трелева из «Чайки» станет хроникой событий: «...все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь... Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно...».

И это страшное, эта пустота была явлена прежде всего в образе Пети Трофимова — Валерия Золотухина, который спустя двадцать лет дописал в Дневнике закулисную белоснежность кладбища — раздающего, обирающего, замораживающего дыхание.

— Я знаю, я в тебе не ошибся, ты напишешь обо мне. Напишешь? — сказал по телефону незадолго до смерти.

— Конечно, напишу. Вот так: Валерий Золотухин — народный артист, знаменитый писатель. Когда он играет деревенскую правду Федора Кузькина — «Живого» и высшую поэтическую правду Юрия Живаго, когда поет, когда пишет, то кажется

мне раненым солдатом, рассматривающим в любопытствующем шоке вывороченные свои внутренности, расплзающиеся по запыленной траве: маленькие водопроводные шланги, — не больно... Мухи в зеленых праздничных френчах оставляют в воздухе воронки зуда... Боль отрезвляет, как нашатырный спирт, возвращая от литературного обморока к смерти.

— Хорошо, я согласен.

— Или лучше так: жизнь Валерия Золотухина мне хочется назвать святой, ибо он никогда, ни на одну секунду не отказывался от своего предназначения, — театра и слова, а то, что копошится порой в быту, в низинах страстей... так какая же святость без сомнений и преодолений...

Он сорок лет проработал в Театре на Таганке. Юрий Любимов присвоил ему звание «Домового». Конечно, ему иногда хотелось сбежать — то сыграть Павла Первого в Театре Российской армии, то поработать с Трушкиным в «Цене» и «Кине IV», то сняться в кино. А когда он уходил из алтайского села, то думал, что будет играть в Малом — с Ильинским, с Жаровым. Почему-то был уверен, что сыграет с Ильинским в «Ревизоре». И даже спустя сорок лет, став артистом совсем другой эстетики, думал, что если случится что-то с Таганкой, то придет в Малый, чтобы поговорить по-человечески, пообщаться, пожить, пожить той внутренней жизнью, которая свойственна психологическому театру.

И с Таганкой, действительно, случилось. То ли неудачно сыграл Юрий Петрович Любимов Короля Лиры, то ли вдруг показалось, что он Голый Король, но театр его был разграблен, сам он изгнан, а Валерий Золотухин, его Домовой, сел в его кресло. Так захотели артисты, так они проголосовали. И потом давали интервью по телевидению, рассказывая и рассказывая о командировочных деньгах, без которых оставалось им только помереть голодной смертью. И еще показывали какого-то молодого артиста, который демонстрировал квартиру, снимаемую в Москве (сам из какой-то деревни), а в квартире-то ветхие стены, дверь легко спрыгивает с петель, а Любимов договор прерывает в июне, чтобы возобновить (или не возобновить) в сентябре, а как лето прожить? Чем питаться?

За сорок почти лет до этого я попала чудом в кабинет Юрия Петровича Любимова и брала у него интервью. С чудовищной бестактностью молодости я заявила:

— В Москве свирепствует грипп, Юрий Петрович, все может произойти. А с театром что будет?

Он ответил:

— Если я хоть чего-нибудь стою как режиссер, то театр должен умереть вместе со мной. Театр не может жить дольше своего режиссера.

— Тогда не умирайте, — посоветовала я.

И он послушался. Не умер.

Я смею судить о книге, о спектакле, человеческой правоте я не решаю — не мое дело, и нет у меня права. Не знаю. Я пишу не о Любимове. Я пишу о большом артисте, о крупном писателе Валерии Золотухине. И вспоминаю его запись о высоте и низости в любви. Оставьте середину обывателю. Оставьте ему семейные воскресные застолья, поездки на побережье Атлантического океана, тихие переговоры с женой на фоне ночника, почтительных детей и внуков, женские романы и изыски в виде Пауло Коэльо, Бориса Акунина и Мураками — типа зловонного сыра и жирной фуа-гра. Нет, нам подавай другое: уютную лунку в теле, предназначенную для ножа, а также «яд, рельсы, свинец — на выбор!». Братство таборное — верх и низ, без середины, без убивающей пошлости, в пространстве отчаяния и света, предательства и жертвенности; не будет вывороченных кишок — искусства не будет. Не будет раны в живот — не будет и моршки. Так примерно представляю себе ход его мысли.

Золотухин думал, что если сказать правду, всю правду, то совсем плохо уже никогда не будет:

— Я, Лиля, дневники пишу с 17 лет, думал, что никто это читать не будет. Потому я у Платонова вычитал, что слово — игрушка горячая. Горячая, но и моя главная профессия, актерская, тоже горячая игрушка. И актерству я предан так же, как тогда, зимней ночью в клубе, когда понял, что наша профессия — подвиг. Мне говорят,

мне раненым солдатом, рассматривающим в любопытствующем шоке вывороченные свои внутренности, расплзающиеся по запыленной траве: маленькие водопроводные шланги, — не больно... Мухи в зеленых праздничных френчах оставляют в воздухе воронки зуда... Боль отрезвляет, как нашатырный спирт, возвращая от литературного обморока к смерти.

— Хорошо, я согласен.

— Или лучше так: жизнь Валерия Золотухина мне хочется назвать святой, ибо он никогда, ни на одну секунду не отказывался от своего предназначения, — театра и слова, а то, что копошится порой в быту, в низинах страстей... так какая же святость без сомнений и преодолений...

Он сорок лет проработал в Театре на Таганке. Юрий Любимов присвоил ему звание «Домового». Конечно, ему иногда хотелось сбежать — то сыграть Павла Первого в Театре Российской армии, то поработать с Трушкиным в «Цене» и «Кине IV», то сняться в кино. А когда он уходил из алтайского села, то думал, что будет играть в Малом — с Ильинским, с Жаровым. Почему-то был уверен, что сыграет с Ильинским в «Ревизоре». И даже спустя сорок лет, став артистом совсем другой эстетики, думал, что если случится что-то с Таганкой, то придет в Малый, чтобы поговорить по-человечески, пообщаться, пожить, пожить той внутренней жизнью, которая свойственна психологическому театру.

И с Таганкой, действительно, случилось. То ли неудачно сыграл Юрий Петрович Любимов Короля Лира, то ли вдруг показалось, что он Голый Король, но театр его был разграблен, сам он изгнан, а Валерий Золотухин, его Домовой, сел в его кресло. Так захотели артисты, так они проголосовали. И потом давали интервью по телевидению, рассказывая и рассказывая о командировочных деньгах, без которых оставалось им только помереть голодной смертью. И еще показывали какого-то молодого артиста, который демонстрировал квартиру, снимаемую в Москве (сам из какой-то деревни), а в квартире-то ветхие стены, дверь легко спрыгивает с петель, а Любимов договор прерывает в июне, чтобы возобновить (или не возобновить) в сентябре, а как лето прожить? Чем питаться?

За сорок почти лет до этого я попала чудом в кабинет Юрия Петровича Любимова и брала у него интервью. С чудовищной бестактностью молодости я заявила:

— В Москве свирепствует грипп, Юрий Петрович, все может произойти. А с театром что будет?

Он ответил:

— Если я хоть чего-нибудь стою как режиссер, то театр должен умереть вместе со мной. Театр не может жить дольше своего режиссера.

— Тогда не умирайте, — посоветовала я.

И он послушался. Не умер.

Я смею судить о книге, о спектакле, человеческой правоты я не решаю — не мое дело, и нет у меня права. Не знаю. Я пишу не о Любимове. Я пишу о большом артисте, о крупном писателе Валерии Золотухине. И вспоминаю его запись о высоте и низости в любви. Оставьте середину обывателю. Оставьте ему семейные воскресные застолья, поездки на побережье Атлантического океана, тихие переговоры с женой на фоне ночника, почтительных детей и внуков, женские романы и изыски в виде Пауло Коэльо, Бориса Акунина и Мураками — типа зловонного сыра и жирной фуа-гра. Нет, нам подавай другое: уютную лунку в теле, предназначенную для ножа, а также «яд, рельсы, свинец — на выбор!». Братство таборное — верх и низ, без середины, без убивающей пошлости, в пространстве отчаяния и света, предательства и жертвенности; не будет вывороченных кишок — искусства не будет. Не будет раны в живот — не будет и моршки. Так примерно представляю себе ход его мысли.

Золотухин думал, что если сказать правду, всю правду, то совсем плохо уже никогда не будет:

— Я, Лили, дневники пишу с 17 лет, думал, что никто это читать не будет. Потом я у Платонова вычитал, что слово — игрушка горячая. Горячая, но и моя главная профессия, актерская, тоже горячая игрушка. И актерству я предан так же, как тогда, зимней ночью в клубе, когда понял, что наша профессия — подвиг. Мне говорят,

да брось ты играть, уйдет игра, а книга останется. Нет, я не верю. В актерском ремесле миф, легенда важнее, чем документальные подтверждения. Кинопленка ничего не доказывает в актерской игре, хотя сохраняется на годы. Театр же сиюминутен; но ты поражен и — рождается легенда. Она у тебя рождается, у зрителя. И это впечатление не переспоришь. Оно первично. Борис Полевой, главный редактор «Юности», мне говорил: «Что не напечатано, старичок, то не написано», а я уже знал, что есть неизданные рукописи, которые написаны, и есть многотомные собрания сочинений, которые и не начинали писаться. И сочинения Бориса Полевого, с каким бы теплом я его ни вспоминал, имеют к этому самое прямое отношение... Боюсь обидеть живых и ушедших, но... Но у Бродского где-то сказано примерно так: оттого, что Ленин убил Гумилева, стихи Гумилева не стали лучше... Мы часто становимся на котурны и восхваляем произведение, у которого главным достоинством является трагическая судьба автора...

Когда мы познакомились, я стала рассказывать Валере о своем подростковом потрясении «Добрый человеком из Сезуана». Вышла из театра, спустилась в метро и поехала в другую сторону, повторяя, что теперь уже не смогу жить так, как раньше. Чуть раньше увидел «Доброго...» и Золотухин. И понял, что жизнь нужно резко менять. И ушел из театра Моссовета, где уже работал и где были хорошие роли. Ушел к Любимову с готовностью работать в массовке. И ни разу не пожалел. К молодой Таганке приходили Ахмадулина, Эрдман, Неизвестный, Евтушенко. Великие ученые.

— Это было общение творческих умов, душ, — загорается он, вспоминая. — Когда человек выходит из леса? Когда он перестает в него входить. Упрекают шестидесятников, Вознесенского: вот они не помогли Высоцкому напечататься, а я видел, как Володя у них учился, и, может быть, это было важнее. Я видел, когда Вознесенский прилетал из очередного Сан-Франциско и прямо с чемоданом приезжал в театр, и выходил в «Антимирах» на сцену, и читал нам про битников, это было знакомство с новыми словами, с новой жизнью, это был новый мир общения, у которого учился всякий, кто способен учиться. Доброму вору все впору. Я это ощущал кожей — мы сидели на «Антимирах» с Володей рядом, притулившись, и я видел по его глазам, что в нем происходит, это было почти заметно, как он учился.

Я как-то спросила:

— Как ты относишься к славе?

— Что за глупый вопрос! Я должен нравиться, просто обязан. Я что-то хочу сказать людям, как-то на них воздействовать, а иначе дома надо сидеть. Даже Набоков, господин высокомерный, говорил: я вернусь в Россию своими книгами. Пастернак писал: «Быть знаменитым некрасиво». Мне ближе точка зрения Гоголя: слава доставляет наслаждение тому, кто ее достоин... Каждый про себя что-то знает, что-то понимает... А впрочем, славы, как и денег, всегда не хватает. Это в природе человека, а тем более — артиста. Мне многие говорят, зачем ты ходишь на телевизор, снимаешься в кино? Да чтобы примелькаться! Вот звонит мне после «Цены» Трушкин и говорит: Валера, я хочу, чтобы ты сыграл Кина. А я ему говорю: какой я Кин, вот Валя Гафт, он уж Кин так Кин. Трушкин: Гафт замечательный, но все-таки — ты. А я продолжаю: Алексей Петренко. Трушкин: Петренко — выдающийся артист, но он не Ромео. — А я Ромео? — Ты — Ромео, я о тебе в «СпидИнфо» читал...

У многих кинозрителей до конца жизни он ассоциировался с Бумбарашем, хотя сыграны были десятки, сотни других ролей, где он побывал и рефлексировавшим интеллигентом, и царской особой. Но в жизни охотно откликался на простачка, на Есенина, дурачащего столичных недотеп. А тех, с кем можно было почитать Мандельштама, Пастернака или Бродского, вокруг становилось все меньше и меньше.

...Валера рассказывал, что на Таганку первые зрители-патриоты, создатели легенд, стали приводить уже своих внуков. Подошла к нему восторженная пара: «Мы вас, Валерий Сергеевич, помним с самых первых спектаклей». Золотухин приготовился к дальнейшим восхвалениям, а они: «Вы тогда, случалось, и пьяный на сцену выходили, а Зинаида Славина вас заслоняла...».

Валерий Золотухин хорошо относился к моим стихам, писал мне об этом. Одно посвящено ему. Он принял посвящение и сказал, что оно его обрадовало.

* * *

Валерию Золотухину

Жизнь, чур меня, чур-чур, фюить-фюить.
 Китайский привкус барабана
 в двух палочках и в рисинке ударных,
 взлетающих над бедрами любви:
 — Ах, подожди, останься, поживи!
 — Ах, не могу, погибну, так спокойней...
 Бугристая проказа винограда
 щекочет усиками нотные листы,
 и ласточкиных фрачных раздвоеней
 не осязает глаз;
 и промедленья
 цезура копит в лепрозоревых садах,
 где тычется глухонемая влага
 и объясняется на пальцах ягод
 в чуть недозревших волдырях.

(Вороньи гнезда крика
 на ветвях;
 колтун на голове деревьев,
 как черный венчик с проволокой терний;
 разбитое пенсне ледка
 в округлой лужице,
 и в центре
 остраткой для земного крена
 грачом разгрызены два маленьких зрачка).

Цитата звука. Растопыренный цветок
 поцеловать в ладошку
 на прощанье,
 белесый птенчик копошится в ране,
 расплескивая краски на бегу,
 взлетает, кыш, чур-чур, увы-увы...

— Ах, кожа гладкая, как старые перила...
 Нишкни опоры трубчатая суть;
 парк поскользнулся, падает,
 несут,
 вот обронил листву, нельзя же,
 ищи, он шарит (да на ухо тут)
 рукой, где куст почесывает залежь
 и прееет под кувшинкой пруд,
 и раздражают
 скорняжки выкрутасы мха —
 прореху смысла выстудит зима...

И сухопарый парк
 в холодном
 пальто на голые стволы
 брошенном,
 увы, фюить, увы...

Андрей Пермяков

Верховские. Белёв и Чекалин

ГОРОД МЕЖДУ

Двести семьдесят километров от столицы до Белёва одолевали больше семи часов. Сначала неспешная электричка от Курского вокзала до Тулы, затем вдоль всей Тулы — от железнодорожной станции до автовокзала — такая же задумчивая маршрутка. Последний автобус в Белёв уходит из Тулы в восемь. Это по расписанию. На самом же деле рейс сильно задержался. Вокзальная трансляция сказала, будто из-за пробок, но где те пробки могут возникнуть — ума не приложу. Автовокзал-то стоит ровнехонько у выезда в нужную сторону.

Гуляя, обнаружил дивное предложение: покупателю двух больших бутылок колы обещали дармовую пачку Ментоса. Туляки, принадлежащие к возрастной категории «школота» и знающие, сколь легко из такого набора получается ракета на гидравлической тяге или липкий фонтан выше человеческого роста, думаю, рады и не жадничают.

Белёв расположен в ста километрах от любого из трех областных центров — Калуги, Тулы и Орла. Правда, когда его строили, тех городов еще не было. И когда он стал владькой собственного княжества уже при литовцах — тоже не было. А потом вот они появились. Все три дороги из Белёва для проезда почему-то нелегки. Я таких в центральном регионе мало видел. Ремонтируют вроде. Обещали скоро закончить, сделав путь из Орла в Калугу скатертью.

Интернет рассказал нам, будто в Белёве есть две гостиницы: ведомственная и городская. Фотография второй вызвала ностальгию. Думал, такие облезлые стены и продавленные кровати возможны теперь исключительно на выставках постконцептуалистов, художественно осваивающих наследие СССР. За вход на подобные мероприятия берут, кажется, деньги, а тут обещали целую ночь за 300 рублей... Увы. Объявление на входе: «Гостиница временно не работает». Временно... Само время — тоже, говорят, временно. Наверное, рано или поздно откроют, сделав евроремонт руками азиатов. А может здание и уйти под нужды городской администрации. Так или иначе, но в городе с населением пятнадцать тысяч человек, расположенном на пересечении довольно бойких трасс, муниципальной гостиницы нет.

Отправились по вечернему Белёву собирать впечатления и подыскивать ночлег. Первым делом осмотрели тумбы с вермишелью объявлений. «Продается, продается, продается...» Изредка услуги по ремонту телевизоров или уходу за детьми. Сдать квартиру на сутки никто не желает. И на работу, кстати, не зовут.

В сумерках город виден плохо: только палатки светятся, круглосуточные магазины и кафе-шапито возле Дома культуры, зелененькое. Около входа в городской парк — довольно шумная, но мирная толпа сообразного дискотеке возраста. В чужом месте напряженное внимание к себе почувствовать очень легко, и вот тут тре-

Об авторе | Андрей Пермяков родился в 1972 году в городе Кунгур Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Живет в городе Петушки Владимирской области, работает на фармацевтическом производстве. В региональной и центральной прессе выступает со стихами, прозой и рецензиями. Постоянный автор «Знамени», прошлая публикация в очерковом разделе — «Верховские. Таруса» (2012, № 2).

возного чувства не было совсем. Дорогу объясняют подробно, но не очень понятно, как бывает, когда несколько человек одновременно хотят рассказать про одно и то же. Приходится уточнять у совсем редких в одиннадцать вечера прохожих. И никто не буркнул: «Не знаю».

Это чувство доброжелательного внимания, пожалуй, осталось главным впечатлением от белёвцев. Обитатели Тарусы, где приезжих едва ли не больше, чем коренных жителей, воспринимали нас скорее с нейтральной вежливостью, по-европейски, в общем. А тут — искреннее любопытство.

Гостиница «Старый город» расположена в глубине квартала, среди зелени. Она оказалась вещью в себе. Курьих ножек не обнаружили, а указатели «Главный вход дальше» располагались по кругу. Маленькая калитка, еле найденная по темноте, оказалась запертой. Стал шуметь замком по железяке. На балконе второго этажа возрос мужик: «Че долбишься?» — «Так вот, дверь закрыта, звонка нет». — «Толкни сильнее, че ты».

Замок оказался элементом декора.

Дежурная, увидев нас, сочувственно заохала: «Ой, у нас свадьба завтра. Видите, шарики везде лежат. И в холодильнике — тортик... Куда я вас пушу? У нас только одно место в одном номере, там вторая кровать неприбрана...» — «Да ладно, пустите, пожалуйста, на одно место, девушке вон нехорошо». — Любу солнце за долгий путь утомило, сидела грустная. Дежурная, поойкав еще, взяла обещание в семь утра «исчезнуть, будто вас тут и не было, а то камеры везде и повара тоже придут», — и пустила нас вдвоем на одно место с оплатой за полсутки. Хорошие тут люди. У нас в стране с 1996 года действует постановление о едином расчетном часе: двенадцать дня по местному времени. К счастью, суровость законов российских компенсируется известно чем. Почасовые тарифы чаще всего дороги, но вписаться на двенадцать или шесть часов вполне можно. А, к примеру, в комнату отдыха на вокзале Шадринска Курганской области пускают с оплатой за три часа и дополнительных денег или выселения требуют не раньше, нежели через пять... Россию спасет ленивая доброта. Я в этом уверен.

Номер в «Старом городе» был вполне комфортабельным, с жидкокристаллическим телевизором. Его-то и не хватало: за полночь, мы с дороги, а в семь утра выселение. Только глаза закрыли — уже хор петухов кукарекает: будильник в телефоне и натуральные за окном.

НЕМНОГО СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Пока брели по улицам чуть проснувшегося города, возникла идея эксперимента. Жаль, сугубо мысленного. Изловив пару девственных умом иностранцев и выдав каждому из них скромную сумму российских денег, одного следует отправить в Тарусу, а другого в Белёв. Уверен: расскажут они про две совершенно разные страны и на очной ставке друг другу не поверят. А меж городами-то по прямой — едва ли сотня километров.

Тем, кто пишет о сугубом и необратимом упадке России, следует ехать в Белёв. Все необходимое для долгоиграющих выводов город им предоставит: ямы на перекрестках, пробитые до материка тротуары, заколоченные или зияющие недовыбитыми стеклами окошки. Красота.

Городская администрация — два этажа в обшарпанном здании. Тут же, в пристрое, — компьютерный магазин. И порадоваться бы скромности местных чиновников, кабы не находился предыдущий состав руководства частью под подпиской о невыезде, частью в предварительном заключении. И с нынешних обитателей бесцветного дома кое-что уже спрашивает прокуратура.

Помпезные строения в небогатых регионах раздражают: пирамида областной администрации в Вологде, заставляющая отчего-то вспомнить имя Монтесумы, или бесчеловечных размеров постройка, вмещающая областной пенсионный фонд, возле вокзала в городе Кирове... Однако демонстративная бедность свидетельствует чаще об изворотливости, нежели о скромности. В одном из верхнеокских городков мне показали мост. Простой-простой. Две широкие полосы железа, сваренные между собой,

и перила. Снизу балки приделаны. Спросили: «Знаете, сколько наша администрация с области на этот мост денег получила?». И сами ответили: «Десять миллионов».

Разглядывая малоблагодатные окрестности, прошли улицей Рабочей — четвертый раз уже, включая поиски гостиницы накануне, — и двинулись по Карла Маркса к Оке. Хотелось есть. Гастрономические надежды относительно утреннего Белёва были исчезающе слабы. Тем удивительнее оказалась настехь распахнутая дверь под вывеской «Лакомка». А того удивительнее — аромат свежайшей выпечки. Кофе был обыкновенным, растворимым, но мы не придирались. Слишком уж вкусные тут пирожные. Дешевые совсем. Разговорились с хозяйкой.

Оказалось, кондитерская вместе с магазином принадлежит ее дочке. Сами они — из деревни в окрестностях Белёва, но дочь, окончив в Москве педагогический университет и поработав даже некоторое время по специальности, вдруг открыла в себе кулинарный талант. Трудятся всей семьей, пекарню и торговую точку пока арендуют, а квартиру снимают. Оказывается, арендовать в Белёве жилье действительно сложно: «Нам так-то четырехкомнатная не нужна. И район там, на Рабочей, дороговатый. Ну, других нет, чего делать? Второй год вот работаем. Заказов много. Из Тулы иногда приезжают, один постоянный клиент в Орле есть. А так местные говорят: вы только не закрывайтесь! Вот на свадьбы все время заказывают...» Тортик, ждавший свадьбу в гостинице «Старый город», видимо, был приготовлен этими руками.

Еще в Белёве очень вкусная пастила. Может быть, это главный бренд города уже лет сто пятьдесят, а то и больше. Начал бизнес Амвросий Прохоров, потом завод переходил из рук в руки, при большевиках производство то закрывали, то начинали заново. В девяностые промышленный выпуск кулинарного чуда прекратился, и местную пастилу можно было купить только у бабушек на небогатом местном рынке. Теперь наоборот: завод немного ожил, а бабушек с рынка выгнали. Вроде контрафактный у них продукт. А что тут ненастоящее может быть? Антоновка, выращенная на этой земле, яйца местных же кур. Локальные продукты так и получаются. Их невоспроизводимость гарантирована не столько технологией, сколько природой. Мы этой пастилы купили — фабричной, в местном магазине. Хотели бы сравнить с кустарной, но не получилось. Бабушек, пастилой торгующих, действительно гоняют сильнее, чем самогонщиц при Михал-Сергеиче. Но и промышленная была хороша.

ПИОНЫ НА РУИНАХ

После неожиданного завтрака город сделался лучше. Соседство в одном здании ГИБДД и конторы по оказанию ритуальных услуг казалось вполне забавным. Домик, впрочем, не отличался в добрую сторону от соседних. И дом, где теперь квартирует местная полиция, а когда-то умерла, возвращаясь из Херсона, императрица Елизавета Алексеевна, тоже малопростоен. Информация с одного из интернет-порталов: «Более 100 зданий г. Белёв, представляющих историческую ценность, находятся под охраной государства» — показала специфическим цинизмом.

Вопреки антуражу, чувства уныния и безнадежной потерянности от пыльных улиц не исходило. Но к главным достопримечательностям Белёва, компактно собранным на горке рядом с автостанцией, мы подходили с опасениями: вдруг да совсем плохо все. Нет, не совсем. Например, церковь Рождества Богородицы с трогательным предупреждением у входа: «Усердная просьба соблюдать благоговейную тишину» радовала чистотой и уютом. Впрочем, это храм обжитой. Вернули его церкви после двадцатилетней конфискации еще в 1943 году. Такое случалось. И храм Алексея человека Божьего в Спасо-Преображенском монастыре уже принимает верующих.

Тут, в Белёве, рядом располагались два монастыря: этот самый мужской и женский Крестовоздвиженский. Такое вообще не редкость. В Гороховце картина похожая, и в Муроме тоже. Шутки по поводу близкого расположения обителей для монахов и монахинь, думаю, перестали казаться остроумными еще при царе Алексее Михайловиче, ну и мы изощряться не будем. Но вот различить гендерную, так сказать, принадлежность монастырей можно легко, хотя бы они и оказались пусты. В том же Муроме мужской монастырь отделан для спокойного житья, не более. Двор

покрыт травой, разные хозяйственные приспособы свалены в кучу. А в женском, например, фонтан с фигурками жаболят и детская площадка. Цветы, конечно.

Белёвскую женскую обитель восстанавливать не стали, передав останки двух монастырей одному, Спасо-Преображенскому. Может, от этого, может, по другой причине, здесь аскетизм, характерный для мужских обителей, пока смягчен. К примеру, суровое предупреждение от наместника отца Никодима о запрете курения, развешанное в нескольких местах, выглядит не столь императивным между громадных розовых пионов. И кот при монастыре обитает. Вроде бы видели мы больших кошек, но этот дымчатый совершенно роскошен и размерами, и вальяжностью, и ухоженностью тоже. Тульским пряником зверь принято называть «Дос Потатос»), впрочем, съел. (вроде бы в модных кафе их теперь принято называть «Дос Потатос»), впрочем, съел.

Большая часть монастырских строений пока остается в руинах. Над некоторыми храмами укреплены контуры куполов, с крестами, но без покрытия. Похоже на последствия войны. Так оно и есть, честно-то говоря.

Самый старый из хоть немного сохранившихся тут храмов — собор Преображения Господня — был возведен явно еще до Петра. Он и в обломках могуч. Главное же сооружение бывшей женской обители — Крестовоздвиженская церковь — строилось явно в подражание собору. И, будучи моложе на два века, выглядело когда-то не хуже его, наверное. А теперь разница очень заметна. Словами это трудно объяснить, но отчего-то руины одного храма похожи на старого богатыря, а другого — на немолодого дедушку с полосатой скамеечки перед подъездом. Белёв для сравнительного наблюдения развалин благодатен. Например, бывший кинотеатр, хоть и имеет, в отличие от храмов, сохранную крышу и целые окна, напоминает коматозного старика, подключенного к поддерживающим несложные потребности организма аппаратам. Хотя, конечно, возведен на века позже любой из церквей. И наверняка в соответствии с проектом людей, получивших несоизмеримо лучшее образование. Так тоже бывает.

Обилие церквей в здешних местах легко объяснить долгой и церковной, и светской историей. Хоть Белёв и прекратил быть вторым по населению городом тульской губернии, тамошний владыка до сих пор носит титул «епископа Тульского и Белёвского». Только многие из нынешних святых мест куда древнее, чем история здешнего Православия. Например, подземные источники. Ими Белёвская земля фантастически обильна.

Пожалуй, больше всего легенд собрало вокруг себя урочище Жаровка. Там родники Двенадцати апостолов. Говорят, будто ручейков тоже дюжина. Иногда это верно. Одни появляются, другие уходят на время или надолго. Истекают-то все из единого подземного озера. Забавно, но во времена языческие их тоже насчитывали двенадцать. Так, вероятно, удобнее.

Творили в урочище Жаровка, честно говоря, разнородные непотребства. В научной литературе это называется оргиастическими культами, и, наверное, хроническим читателям Очень Страшных Газет описание сих безобразий покажется интересным. Но при менее восторженном отношении все там происходившее сводится к банальной групповухе и бесчинным убийствам. Говорю ж: на любителя.

Еще из самых знаменитых в окрестностях Белёва есть Гремячий источник и сероводородный, возле села Каменки. К ним мы не пошли — Гремячий далековато для безлошадных, а сероводородный, говорят, пахнет. Зато умылись из ключика Василия Прозренного. Он спрятан за частным сектором возле улицы Димитрова.

Вид на Оку от этого родника (от родников — их здесь тоже несколько) удивительно хорош, но вот смотреть по сторонам не хочется. И вниз спускаться тоже. Когда, прожив в одном и том же месте восемьсот с лишним лет, люди не оборудуют спуска к реке, наверное, им это не нужно. Но мертвые деревья с повисшими на их ветвях банками из-под йогурта и пива около родников зачем? И указателей нет. А еще говорят, будто тут церквушка была. Теперь даже фундамент срыли.

Нам музейные сотрудники и прочие люди жаловались про туристов. Дескать, те раньше были, а потом вот их не стало. По мне так понятно. Когда в окрестностях есть места, где природа не хуже, а цивилизации больше, выбор большинства очевиден. И аргумент о сбережении окружающей среды тут не работает. Убеждайте меня какими хотите аргументами, но ровные тротуары самобытности не вредят.

А так — здорово, конечно. Особенно источник с белым песком на дне. Отчего-то хотелось увидеть на его краю пестрого лягушонка. Не увидели, но ледяной водой умылись.

ЛЕДЯНАЯ КРЕПОСТЬ

Вид с горы от храмов чуден. Тонкая совсем, гибкая, на тарусского ужика похожая, Ока. За ней — поля, в отличие от многих окрестных — вполне ухоженные. Дальше — лес. Естественные, между прочим, линии обороны. Монастыри-то не просто так возводили, а в качестве опорных пунктов. Нередко помогало. Но именно под Белёвом русская армия потерпела на заре своей славной вообще-то истории одно из самых тяжелых и загадочных поражений.

К середине пятнадцатого века Старый свет оказался тесен для своего населения, а Новый еще не был открыт. Энергия критической массы людей бушевала от Уральских гор до Северного моря. Первыми разваливались самые крупные и, казалось, непобедимые империи. Колосс Золотой Орды падал медленно, погребая под собою народы.

В начале 1437 года хан Улуг Мухаммед, изгнанный из отпавшего от Большой Орды Крыма, с трехтысячным войском пришел под стены Белёва. Не для сбора дани и тем более не в карательный поход, но ради краткой передышки между боями. Собственно, и цели борьбы казались вполне туманными. Государство распадалось на глазах. Помимо Крыма, отделились земли, заселенные черемисами, мордвой, чувашами. Потеряна вся территория к востоку от Волги. Да и русские княжества уже несколько лет не платили дани. Больше того: новгородские ушкуйники дочиста сожгли Казань. И размер армии — три тысячи человек даже по тем временам маловато — говорит о скромности притязаний Улуг Мухаммеда.

Случившееся дальше известно нам по нескольким версиям, но каждой из них верить можно с опаской. Русские летописи, современные белёвской катастрофе, рассказывают о ней очень скупо (и понять их составителей можно вполне). Татарских источников не сохранилось: знающий историю Казани поймет отчего. Относительно связно хронология изложена в Казанском летописце — документе, составленном через полтора века от произошедших событий и к татарам сильно пристрастном. Писал-то его пленник, освобожденный после Казанского похода Ивана Грозного. Однако и по версии такого источника московская сторона выглядит совсем не героически.

Нет, сначала все было хорошо. Хан испросил у Великого князя Василия Васильевича, получившего, к слову, ярлык на княжение именно из рук могущественного когда-то Улуг Мухаммеда, права остаться в его владениях: *«не рабом, но господином и любимым своим братом называя его, чтобы позволил тот ему беспрепятственно отдохнуть недолгое время от похода у границ своей земли и постепенно собрать разогнанных многочисленных его воинов, и возвратиться вскоре, на врага своего... И дали друг другу царь и великий князь клятву, что не будут ничем обижать друг друга до тех пор, пока царь не уйдет из Русской земли. И дал князь великий царю для кочевья Белёвские места»*. Заметим: не князь держал стремя, а хан целовал икону. Времена понемногу менялись.

Все б ничего, кабы не два обстоятельства. Во-первых, Белёв-то Москве, напомним, тогда не принадлежал! За тридцать лет до прихода Улуг Мухаммеда князь Витовт присоединил эти земли, отошедшие от Новосильского княжества, к Литве. При нем, собственно, Белёв и стал столицей отдельного образования. Принцип «разделяй и властвуй», очевидно, универсален.

Более того, и Московское княжество с 1427 года числилось в литовских вассалах. Впрочем, смерть Витовта тремя годами позже окончательно запутала отношения в юридически едином, но в реальности очень недружном польско-литовском союзе. Распад опять-таки начался с окраин. Ставшее независимым Белёвское «государство» свои силы оценивало трезво: территории размером едва ли тридцать верст в поперечнике среди хищников не выжить. Тут и повод случился перейти к Москве.

Хан слишком загостился в окрестностях города: целое лето прошло, осень тоже, зима подступила. А кормятся войска неизбежно за счет мирного населения.

Московскому княжеству ситуация была на руку. Появлялся отменный шанс увеличить свою территорию, а заодно извести главного претендента на власть в Орде, ту еще более ослабив. Князь Василий Васильевич, правда, сам вести рать не решился: все-таки договор между ним и гостем был заключен на святой иконе Николая Угодника из села Гостунь. Отправил Дмитрия Шемяку, дав тому серьезное войско. Летописи говорят, будто до сорока тысяч. Оценки современных исследователей попроще — тысяч тридцать. Но, так или иначе, на каждого татарина приходилось по десять воинов Московского княжества.

Никаких шансов устоять, никакой разумной тактики сопротивления, никаких вариантов переговоров Улуг Мухаммед не имел. Татары едва успели соорудить подобие крепости из бревен, облитых водой. Надолго ли могло хватить ледяного убежища? Штурмом не возьмут, так голодом уморят. И еще кое-что сделал хан.

Здесь вновь придется поверить — а куда денешься? — казанскому летописцу: *«Расстался царь с надеждой просить у смертного человека милости, и молясь, обратил глаза свои звериные к небу. И когда случилось ему остановиться на пути в некоем селе, пришел он к русской церкви. И упал он на землю перед дверями храма, у порога, не смея войти внутрь, стеная, и обливаясь слезами, и говоря так: “О, русский Бог! Слышал я о тебе, что милостив ты и праведен и не на лица человеческие смотришь, но отыскиваешь правду в сердцах. Увидь ныне скорбь и беду мою, и помоги, и будь нам справедливым судьей, свершив правосудие между мною и великим князем, и укажи вину каждого из нас. Ведь намерен он безвинно убить меня, выбрав удобное время, и хочет несправедливо погубить меня, видя, что сильно притесняем я ныне многими напастями и бедами, и погибаю. Нарушил он обещание наше и преступил клятву, которую дали мы друг другу, и забыл он большую заботу мою о нем и прежнюю любовь к нему, как к любезному сыну. И не знаю я ничего, в чем бы помешал ему или обманул”».*

Мусульманин, возносящий молитвы в православном храме? С другой стороны, икона была еще и порукой клятвы между ним и Василием. Надеялся хан на чудо и справедливость. И чудо свершилось. Впрочем, в этой истории вдрут появляется еще один персонаж, возможно, самый загадочный. «Григорий Протасиев, воевода мченский». Это он стал главным обвиняемым в многовековом деле о разгроме русского войска. Говорят, предал своих и великого князя. Но каковы ж должны быть масштабы измены, чтобы заставить бежать войско, превосходящее неприятеля десятикратно? И кто Григория прислал в лагерь, неизвестно. Сам он ссылался на Василия Васильевича: *«Князь великий прислал ко мне, битися со царем не велел, а велел миритися, полки распустити».* А другие говорят, будто его литовцы отправили. Напомним: юридически они были хозяевами и Мценска, и Белёва, а также сюзеренами Москвы.

Так или иначе, но когда 5 декабря делегация русских князей отправилась в ставку Улуг Мухаммеда с последним ультиматумом, тот просто сказал им:

— Оглянитесь.

За своей спиной без нескольких минут победители увидели страшное. Войско их бежало, точно гонимое неведомой силой, а татарская конница, вырвавшись на простор, уже начинала разгром: *«И многое множество побито было русских воинов, так что один агарянин десять или более русских одолел. Тогда убили князей множество и бояр, а князья бежали с малой дружиной, а тотарове все целы остались».*

Таких потерь не случалось 57 лет, со дня Куликовской битвы. Но там бились против громадного войска и победили, а тут... Дальше многое еще произошло: Улуг Мухаммед, разграбив окрестности Белёва, а затем и Москвы, вернулся на Волгу. Победителей любят, и вскоре под его руку вернулись многие из отпавших народов. Татары отстроили Казань, взяли Нижний Новгород, принудили московских князей к возобновлению выплаты дани. Даже Василий Васильевич был захвачен Улуг Мухаммедом в плен после одной из битв. Больше ни с одним Великим князем такого не случалось. Впрочем, нравы уже отличались от Батыевых времен и князя татары отпустили невредимым — за громадный, правда, выкуп. А сын Улуг Мухаммеда Касим, посланный следить за порядком на вновь подчиненных территориях, основал город в Мещере, названный его именем. Касимов то есть. Там до сих пор много му-

сультманских памятников и завод по выплавке золота. Впрочем, это уже совсем далеко от Белёва и Верховских княжеств.

У истории, выше рассказанной, собственно, никакой морали нет. Про «предать нехорошо» и «пути Господни неисповедимы» нам и без нее известно.

ЖАБЫНЕЦ

Место с волшебным и земноводным именем Жабынская пустынь расположено от Белёва в пяти километрах. Это по прямой, автомобильными трассами дальше. Нужно выехать в сторону Калуги и вскоре после железнодорожного переезда с проржавевшими рельсами, но мигающим еще светофором выйти. Можно, конечно, и на прямом автобусе доехать до Жабыни, однако ждать придется долго. Рейсовый транспорт туда ходит по вторникам, пятницам и воскресеньям. И обратно по тем же дням.

Нет, проще вот так: на любом автобусе за 10 рублей до отворота, а дальше автостопом километра четыре. На поднятую руку останавливается каждая первая машина — проверено. Нам попался ЗИЛок-молоковоз. Еще лет семь назад их по стране бегало много, даже и на серьезные расстояния. Тогда застопить, к примеру, Фретлайнер казалось сугубой радостью. Теперь вот наоборот: такие бело-синие динозаврики производства завода имени Лихачева сделались редкостью. Жаль, в кабине разговаривать почти нельзя, шумит.

Жабынская пустынь стоит прямо на дороге. Точнее, это дорога проходит сквозь монастырские строения. В отличие от монастырей, расположенных собственно в Белёве, этот боевой ценности не имел. Впрочем, богатая и не слишком мирная история края его тоже коснулась. В Смутное время старую обитель поляки сожгли дотла. Восстанавливать ее Макарий Жабыньский, ставший позже святым, начал в одиночку. В житии написано о разных чудесах, сотворенных им. Например, будто, спасая жизнь раненому польскому солдату, ударил посохом в землю, открыв чудотворный источник. Да, есть там, прямо рядышком с церковью, родник с ледяной и сладкой водой, спрятанный ныне в освященный колодец, но главное чудо Макария, конечно, — сама обитель.

С ней за века происходило разное. Закрывали несколько раз: и при царях, и при новой власти. Теперь бурно возрождается. Локализован монастырь, напомним, прямо на дороге и то ли от этого, то ли по другой причине впечатления тихой заводи не производит. Стройка идет, батюшка тут же автомобиль освящает — с орловскими, кстати, номерами, издалека прибывший. А за белым храмом и хозяйственными постройками, рядом с яблоневым садом, опять тишина. И пруд в виде ровного-ровного прямоугольника. Сквозь толщу воды хорошо заметны равномерные спины карпов, их тут очень много. На берегу пруда устроена нырялка, а чуть в лесу мы обнаружили подобие боксерской груши из матрацев, натуго перетянутых ремнями. Вряд ли монахи постарались, скорее трудники — наемные или во славу Божию работающие. А то забавно было бы сочинить историю о православном Шаолине.

Единственная на сей момент действующая в монастыре церковь, построенная, собственно, в память Макария, вдруг удивляет тишиной после человеческого улья вокруг. Многие посетители монастыря (экскурсантами их следует называть или паломниками?), минуя храм, следуют к источнику, в купальни и далее на смотровую площадку. Оттуда вид и правда замечательный. Ока, поля. Лесов в меру. А церковь уютная, хотя все ее убранство создано заново. Тут долго был обычный жилой дом. Поразила икона Одигитрии. Божья Матерь изображена вполне канонически, а Младенца такого мы еще не видели: высоколобый, почти безволосый и с остренькими ушками, он бы неплохо выглядел, наверное, в буддийском храме. Впрочем, рисуют же эфиопы Святое Семейство с темной кожей. Вот и тут художник, скорее всего, был не из средней полосы. Ладно, не доскам, в конце концов, поклоняемся...

Да: Жабынец хоть и расположен сильно за чертой города, отправившись туда, вы не минуете выездного знака. Конечно, белую табличку с перечеркнутым названием города проедете, но большое такое сооружение из металла и бетона стоит много дальше. Километров, наверное, за пятнадцать от города. Это и в Одоеве так же. Буд-

то город отметил свои возможные границы на случай, окажись он не районным центром, но столицей. Я такое иногда представляю. Вот, например, получишь Кремль в Тарусе, усадьба Поленова была бы чем-то вроде нынешнего парка Сокольники. А тут Жабынец сделался б Новодевичьим монастырем, кажется. Забавно. Альтернативная история альтернативна.

Обратно до города нас вез полковник милиции на легковушке. Наверное, неместный. Зачем небольшому Белёву собственный полк МВД? Вообще, милиционеры и работники МЧС хорошо подбирают на дорогах, хотя и любят рассказать об ужасных опасностях автостопа. А этот совсем хороший попался, лекций не читал. Удивлялся только, зачем мы сюда приехали:

— У нашего города два ведь названия: зимой Белёв, летом Пылёв.

Девушка-официант в кафе, где мы обедали, своею малой родиною гордилась в меру:

— Ну, чего у нас тут смотреть? Ехали б лучше в Козельск, там красиво. Я еще когда в школе училась, нас возили в Оптину пустынь. Вот опять собираюсь.

— А у вас пляж есть?

— В городе нет, за городом только.

Мы такое и подозревали. Искренне похвалив девушке Жабынец, музей, соборную горку и родники, поинтересовались насчет других примечательностей:

— Ну, чего у нас еще смотреть... Парк вот только, может.

Да. Парк тут интересный. Обычно в небольших городах места такого рода служат главным украшением, а в Белёве городской сад интимен. От улицы он спрятан глухим кирпичным забором и зданием Дома культуры, по бокам тоже заборы — от соседских домов, а позади огороды. Зато получается уютно. И в углу парка — танцплощадка, огороженная металлическим забором. Сцена там деревянная, в остатках краски, а пол бетонный. Подобное сооружение долго и по многу раз Василий Пичул демонстрировал в кино «Маленькая Вера», тогда это смотрелось совком и издевательством, а теперь вот — ностальгия.

Кроме тишины, в парке есть дуб и остатки ротонды.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД

К выходу из Белёва мы шли все по той же Рабочей улице, провожаемые взглядом одинокого каменного спортсмена с ворот городского стадиона. Ворота были заперты. Отсюда ходит много автобусов — и в Тулу, и прямых до Москвы. Но мы решили возвращаться автостопом. Мне-то такой метод в радость, а Люба за двадцать лет совместной жизни, кажется, согласилась ехать на попутках во второй раз. Очень уж ее Белёв напугал.

Странно. Вполне небезнадежный город. Да, население убывает даже быстрее, чем в окрестных городах, и производство сокращается: «У нас даже мебельную фабрику в Одоев перевезли, а там ведь деревня деревней была!» — жаловалась похожая на восьмиклассницу продавщица из магазина «Вина Кубани»... Неравнодушны они тут к Одоеву. Но время сейчас такое — мобильное. Бизнес передвигается легко, народ тоже.

Чем же Белёв внушает надежду? Сложно сказать. Хотя бы шедеврами вынужденного дизайнера: совершенно замечательными украшениями клумб возле хрущевок. Из пластиковых бутылок, майонезных ведерок и ботинок, оттоптавших срок, выстроены чудные цветники. От безнадеги в хроническом запое такого не наделаешь.

А еще в Белёве есть промзона. Сейчас она выглядит жутковато: асфальт и по всему-то городу еле живой, а тут будто сгрызли специальные асфальтовые грызуны. (Особенно занятно такая дорога выглядит напротив местного отделения Автодора.) Полтора километра сохранных зданий с подведенным электричеством и другими коммуникациями. Бывший кирпичный завод, бывший завод строительных конструкций, бывшая вот мебельная фабрика... Хочешь — приспособлявай к новому производству, хочешь — сноси, устраивая на этом месте модульные конструкции расцветок конструктора «Лего». Рабочая сила в городе пока остается. А так все эти разговоры: «Мы отстали от соседей на 10 (20, 30) лет» — яйца выеденного не стоят. Честней надо быть сити-менеджерам: «Мы отстали на столько-то миллионов долла-

ров». И привлекать эти самые миллионы. У многих, кстати, получается. Кадры по крайней мере тут свои. Белёвский кооперативный техникум до сих пор имеет отменную репутацию. Только вот готовит экономистов, менеджеров и товароведов в основном на ближний экспорт в Тулу и Орел.

Пока же за Белёв идут битвы в Интернете. Три больших портала, много аккуратных сайтов. И у всех — идеи. Это к слову о приоритете информационных технологий. Технологии есть, а городу пока нехорошо. Надеюсь, только пока. Я вообще оптимист. Из полутора сотен российских городов, где случилось побывать в последние два года, совсем уж неизбывною тоской меня наполнили три. Называть не стану — даже на их счет хочу ошибиться.

Автостоп в этих краях еще придется похвалить. Останавливается буквально каждый. Хотя первый из подвизивших, узнав конечный пункт нашего движения, отреагировал бурно:

— Ку-уда??? В Москву?? Это ж вы за сколько времени добраться хотите?

Мы, честно говоря, рассчитывали одолеть триста километров разных по качеству дорог часов за шесть. Получилось, впрочем, куда быстрее. А удивление местных водителей — дело привычное. Недавно под Рыбинском мы с девочкой по имени Кошка Плюшка застопили молодого парня на корейской иномарке, ни разу не бывавшего в столице. От места нашей с ним встречи до ВДНХ, когда без пробок, — часа три. Машина у него собственная, зарплата есть. Кажется, вопрос в расстановке приоритетов. Иначе говоря — дело вкуса.

На отвороте, где нас высадил удивленный шофер, мы просидели минут двадцать: трасса была совершенно пустой. Зато открывался вид на Жабыньскую пустынь с противоположной стороны. А следующий водитель, сельский батюшка, отвез нас в Чекалин. Тоже удивительное место. Мы его насквозь прошли, не задерживаясь. Пешком.

У Дмитрия Данилова есть рассказ «Тэйлор» про американский город Тэйлор. Рассказ чрезвычайно рекомендую и оттого содержания его раскрывать не стану, сообщив лишь численность населения городка. Двести человек. «Не двести тысяч, а просто двести» — это уже цитата из Данилова, не удержался. Город Тэйлор расположен, понятное дело, в Америке. У нас таких нет. По российскому законодательству городом может считаться населенный пункт с населением от 12 000. Но это, конечно, для впервые пожелавших сделать городом. При снижении числа жителей пункт обычно не дисквалифицируют. И другие исключения бывают. Например, Магас назначили городом, когда там обитало человек сто. Неудобно ж, когда столицей субъекта, пуск-кай и маленькой Ингушетии, окажется село. Но, честно говоря, все это условности.

Город — это не количество населения и тем более не *состояние души*. Город — это поселение, живущее торговлей и промышленностью, в отличие от сельских местностей. А потом случается разное. Кто-то растет, кто-то не очень. В конце концов, один из городов делается самым маленьким хотя бы в масштабах страны. У нас такая участь выпала Чекалину. Когда-то он именовался Лихвин. Великого прошлого Лихвин не имел, хотя входил в засечную черту, содержал крепость. Остатки ее валов по сей день заметны. А дальше вроде бы ничего страшного. Точнее, ничего более страшного, нежели выпало на долю соседям, однако значение город потерял. Он и впрямь траченный, серый. Слишком много брошенных домов и нетрезвых людей, точно пройден пункт возврата. И населения осталось — девятьсот человек.

На весь город нашлось два ярких пятна: одно маленькое, ровно-мандаринового цвета — вывеска мастерской по ремонту пухо-перьевых изделий «Подуся», другое много больше — вполне разноцветная и настоящая детская площадка. Современная, из дерева и крепкого пластика. На качельках сидели бабушки приличествующей возрасту тихой расцветки. Может быть, пройдет неделя-другая, приедут на каникулы их внуки, и в городе все станет по-другому. А пока вот так.

От Чекалина до Калуги, а потом к Москве идет отличный асфальт. И оба последних за тот день водителя оказались вполне интересными. Один многое рассказал про Мосальск и Мезецк — тоже бывшие центры Верховских княжеств.

Игорь Сорокин

Саратов / Аркадак

Дорога в Аркадак — что лоскутное одеяло: заплаты всех оттенков асфальта — от черного до зеленого. Иногда спасительная бетонка. По берегам мокрые поля, обочины в огромных лужах с отраженными небесами, остатки снега. На верхушках берез рыжие канюки. Несколько раз проезжали становья перелетных грачей — грачи на дороге, грачи на полях и деревьях. Ехать по заплатам тряско — зато водитель не уснет.

На перекрестке (Аркадак налево, Балашов прямо, Ртищево направо) чеченская «деревня» Шатой — гостиница, бар, ресторан, пруд, домики для маленьких пиров, скульптуры. Три женщины, восемь орлов, один мишка. Двух золотистых «античных» дев с обнаженной грудью целомудренно одели — при входе — в золотистые занавески. Мишка сидит на верхушке бетонной арки. Под ним маленький палимпсест: из-под «единой россии» проглядывает «свободная россия». На других бетонных полу-кружьях: саратовская губерния, г. ртищево, шатой, гостиница, бар, ресторан.

Незадолго до Шатоя — поворот на Чиганак.

Вспомнился рассказ про матроса, который пришел арестовывать канцеляриуса Обезвельволпала Алексея Ремизова — в телефонную трубку Максиму Горькому он с недоверием говорил «да тут колдун, а не писатель, у него по стенам сушеные чиганашки развешаны». Матрос был явно с Дона, где чиган — болотная кочка. Казачьи поселения в камышовых зарослях на сваях — чиганаки. Так же насмешливо называли и обитателей этих жилищ — беглых казаков.

Хопер и впрямь казачья уже сторона. Слово древнее, пружинистое ХьПъР.

Слышится и подбадривающее «Хоп! Хоп!» (не говори «гоп», пока не перепрыгнешь), и напряженное «прр» (так останавливают коней) — пруга, преграда, противник, пруд, порог...

Слышал (очень давно, когда ходил по Хопру на байдарках — в конце 80-х) версию про два сарматских племени по берегам Хопра — арыков и адаков. Отсюда якобы и Аркадак. Спорно, конечно. Но не менее спорен и тюркский «хребет из холмов». Арк — что-то индо-арийское. Аркаим, Аркалук. Из прародины огненных (яростных) арьев.

По обочинам все больше болотин и камышовых метелок — рядом большая река — выпирают подземные воды.

Новый мост — настоящая гордость. В воздухе чувствуется что-то праздничное и ледоломное. Канун Благовещенья, день освобождения Хопра.

И то, что в эту весну перестал действовать спиртзавод, ощущается как праздник — праздник победы аркадакского народа над миром чистогана.

Спиртзавод еще разносит — и, наверное, много лет будет еще нет-нет, а напоминать — свой выворачивающий запах столетней барды, но весенний Хопер, в который уже не сливают отраву, несет льдины обновления.

Об авторе | Игорь Сорокин родился в 1965 году, поэт, прозаик, эссеист. С 1989 по 2007 год заведовал Домом-музеем П.В. Кузнецова в Саратове. Публиковался в региональных, центральных и зарубежных литературных изданиях. Живет в Саратове. Прошлая публикация в «Знамени» — «Левый берег» (2013, № 3).

Центральная площадь: администрация, памятник, парк, Доска почета, библиотека.

На трибуне, там, где прежде были неперменные ленин-маркс-энгельс, плакат: чаша рук, в которых дубовые листья и надпись «2013 — год защиты окружающей среды».

Дубовые листья неспроста — дубы здесь имеют особый статус. Они сопровождали нас в этот день повсеместно: сперва стройная череда на горизонте — подзор небес, япония-модерн, потом летяжевский парк, в котором деревьям от 150 до 300 лет.

Трудно представить, что дуб под землей своей корневой системой точно повторяет крону. Медленный взрыв «земля — воздух». И подземные существа так же выют свои гнезда среди подземных ветвей, как птицы небесные.

Обедали в Семеновской школе. В ней 113 учеников. Боты выстроились у входа — грязюка! Учитель Владимир Юрьевич Быков последние несколько лет поглощен археологией. Обнаружил пять памятников — от палеолита до энеолита. Раскапывает их вместе с учеными и детьми. Через него, как в песочных часах, перетекают знания — из одного объема в другой. Много раз повторил, что краеведение ему теперь не так интересно — «подсел на древности». Три раза в год выходит «археологический листок» — школьная стенгазета.

В летяжевском лесу глухие голоса, по Хопру — звон. Хопер серый, мутный, сильный и водоворотный. В лесу пролески, на островках верба.

Летяжевка — Нарышкиных. Так же, как и Пады. Екатерина Великая не скупилась на неведомые земли — раздавала фаворитам юг целыми странами. Иные за жизнь не могли даже объехать свои владения — увидеть-обозреть. Переселяли крепостных деревнями, наделяли наделами, заводили заводы, устраивали экономии, ставили управляющих, правили и управляли. Разумовские, Нарышкины, Вяземские, Голицыны, Раевские. Абаза.

Сейчас в Летяжевке «туберкулезный санаторий». Видимо, слово «противотуберкулезный» не уместилось на металлической арке при въезде. Больных не видно. Главный врач с портфелем. Два кочегара возле огромной кучи угля. Новый корпус из силикатного кирпича — страшное сооружение — брошено в недострое. Барский дом сгорел 14 октября 1991 года. Как будто почувствовал, что в стране снова революция и пора — фантомные боли, — пора раздувать пожар. Вспомнил старческой памятью, что наверху танцевали, когда в подвале на дыбе висел человек, вдохнул искру от сварки и загудел через сто лет напоследок — как пароход и человек — амосовской системой. Летяжевка тяжелого полета. Теперь на развалинах вырос уже молодой лесок, а ледяные подземелья стали «пацанским раем». Графскими развалинами их не назвать, княжескими тоже (известно, что разными государями Нарышкиным предлагались всякие титулы, но они решительно отказывались, считая их — ввиду своего близкого родства с императорской фамилией — ниже своего достоинства). Нетитулованные развалины. Рядом с ними поросший мхом бюст ученого-естествоиспытателя — обобщенный образ. Не то Мичурин, не то Павлов, не то Тимирязев. Судя по живинке в остановившихся глазах — Павлов. Лет через сто он будет один в один бесстрастный идол на верхушке посоха в местном музее.

Чуть поодаль: Ильич, скульптурная группа «Ласточка», белый вазон.

Ильич сидит в кресле с картины художника Сёрова (не путать с великим Серёвым) «Ходоки у В.И. Ленина». У него нет левой руки и ноги — только обрубки. С одной стороны — Ильич. С другой — инвалид.

Возле скульптурной группы, где юноша-гимнаст держит за талию и воздевает небу парящую девушку-гимнастку, местный житель с добрым красным от рыбалки лицом рассказал, как в детстве они время от времени наряжали «ласточку». Собирали с веревки женское белье и наряжали — вплоть до носков и тапочек. Утром физрук звуками баяна созывал всех больных на зарядку и — все валялись со смеху.

Нарышкины в Летяжевке держали конезавод и над Хопром устроили дорогу для конных прогулок, обсадив ее осокорями. По местному произношению эти огромные береговые тополя называются «бскорь».

Летяжевка наверху — тяжело лететь. У Хопра просторно — звук по реке разносится легко. Мы слышали за поворотом моторку с голосами — будто она тарахтела из небесных динамиков.

Особенность Хопра — оставлять на лето после разлива лесные озера — с рыбами. Весной — обмениваться и встречаться.

Мост через Хопер в Аркадаке — новый. Есть чем гордиться. Построил саратовский Мостотряд № 8. Со второго раза. Старый оставили как пешеходный. Еще в памяти, что автобус из Турков высаживал людей возле него — ехать было опасно. Теперь: «собрано и надвинуто 1021 тонн металлоконструкций, изготовлено и смонтировано 2521 куб. м сборных железобетонных конструкций, уложено 4000 куб. м монолитного бетона и более 14 650 кв. м дорожной одежды». Протяженность перехода — 1400 п. м.

Краеведческий музей на одной площади с кинотеатром «Мир». Тут еще от руки пишущие афиши. Сегодня «Мой муж — инопланетянин».

Короткий дубовый (?) посох, найденный в начале XX века в излучине Хопра, похож на бесстрастного естествоиспытателя в летяжевском парке. Несколько раз за поездку вспомнилась Инна Борисовна Миловидова — при словах «Летяжевка» и «Летяжевский парк».

Доктор Лукаш в очках-велосипедах и ермолке. Из его дома половина дореволюционных экспонатов.

Людмила Бурлюк, сестра великих футуристов, и ее муж скульптор-керамист Николай Кузнецов приехали к Лукашу, пытаясь спастись от голода и вьюги Петрограда, вырыли печь для обжига на берегу Хопра, обложили кирпичом из старой усадьбы, стали делать формы для ИФЗ, но так и не воспользовались... Разруха!

Три старинные этикетки аркадакского спиртзавода. Странно, что народная этимология не приписала происхождение имени города — спиртзаводу. Ведь «арак» и «аракы» — тюркская водка.

Витрина молкомбината: сухое молоко, сыр адыгейский, масло, кумыс из коровьего молока, ряженка в стеклянной бутылке — под яркой крышечкой из фольги!

Спортивный городок на площади перед музеем и кинотеатром срублен из березовых стволов.

На соседней — главной — площади монумент, Доска почета, трибуна, администрация и парк.

На Доске почета с одной стороны 14 героев Советского Союза — черно-белые фотографии. С другой стороны современные труженики — цветные фотографии. По черно-белым можно понять: кто погиб на фронте, кто остался жить до старости. Одни герои молодые, другие в возрасте — уже генералы и ветераны — вся грудь в орденах. Первым — паренек в матросской форме Илья Каплунов. Герой Сталинградской битвы. Награжден посмертно — подбил в бою девять танков. Последний, уже из последних сил, израненный — один на один с машиной.

Его подвиг кто-то запомнил и передал. Там, в дикой стихии сражения, тысячи подвигов наверняка остались безвестны — тот, кто видел гибель других, тут же сам мог погибнуть. Кто-то погибал, оставшись последним. Подвиг матроса Тихоокеанского флота аркадакца Каплунова в памяти — на Мамаевом кургане плита, в разных городах — от Владивостока до Аркадака — улицы.

В наградном листке протокольное описание боя: «12.12.1942 года в бою под населенным пунктом Нижне-Кумский Сталинградской обл. красноармеец коммунист тов. Каплунов, являясь бойцом роты противотанковых ружей, проявил исключительную самоотверженность, стойкость и отвагу. При отражении танковой атаки врага Каплунов из противотанкового ружья и противотанковыми гранатами подбил 5 немецких танков. <...> Осколком снаряда тов. Каплунову оторвало левую ногу, но стойкий боец не пал духом. <...> Меткими выстрелами из ПТР тов. Каплунов подбил еще 3 танка. В это время ему оторвало левую руку. <...> ... истекая кровью, тов. Каплунов противотанковой гранатой подбил 9-й танк и погиб смертью героя. За героизм, отвагу и стойкость Каплунов Илья Макарович достоин присвоения ему звания «Герой Советского Союза». Командир 260 гв. стрелкового полка гвардии майор Липатов. 31.05.1943 года».

Это был его первый и единственный бой!

В библиотеке женский коллектив, рукодельные детские книжки, кабинет Салова и космическая комната. В «кабинете Ильи Александровича Салова» над столом литографированный портрет Лермонтова — единственное, что осталось от усадьбы Ивановки — портрет висел над рабочим столом писателя в его имени. В космической комнате поделки из подручных материалов: ракеты, луноходы, межпланетные станции. «Летит-летит ракета, серебряного цвета, а в ней сидит Гагарин — простой советский парень».

Доска почета, на которой одни герои, и библиотека — напротив. Впечатление, что все мужчины пошли воевать, а все женщины остались ждать их.

Илья Александрович Салов жил в Пензе, Москве, за границей, служил чиновником. Последние двадцать лет зиму проводил в Саратове, лето под Аркадаком. Много публиковался в саратовских газетах, несмотря на то, что его публикаций ждали столичные журналы.

Хозяйствовал и размышлял в Ивановке и Петушках. Ценился и читался всей Россией. Знал русскую деревню, любил природу. Склонялся то к Тургеневу, то к Салтыкову-Щедрину. Те времена были схожи с нашими. Патриархальный крестьянский уклад после реформы стал катастрофически разрушаться — капитализм не знал и знать не хотел ничего старого и святого, деревня «отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску» (Салов).

«Ходатай мужицких интересов» умер в саратовской богадельне, согласно завещанию, был похоронен в сосновом гробу и простой рубахе между матерью и женой — в Ивановке. На могиле просил поставить камень из палисадника в Петушках, к нему прикрутить табличку со своей двери. Дом сожгли, церковь сломали, на кладбище построили овчарню. В Грачевке до сих пор живет крокодил.

Аркадак. Жирные помещичьи земли и вольные казахи.

P.S.

Вот емкие слова чиганакских жителей из донесения 3 августа 1862 года мирового посредника «Об отказе крестьян села Чиганак принять душевой надел по Уставной грамоте и о сопротивлении землемеру»: «...исполнять требования не согласились, причем староста того села Гоголев и крестьяне Иван Андреев Щербаков и Иван Денисов Бухтин говорили, что общество их никакого надела помещичьей земли с платою по два рубля за десятину принять не желает, а потому и уполномоченных к обмериванию земли не дадут, кроме того, обратясь к старшине с ожесточением сказали, *«что вы нас замучили, нам жить нельзя»*. <...> ...и при всем моем желании согласить их миролюбиво выполнить требования правительства <...> не успел в своем предприятии, а напротив, получил совершенный в этом отказ... <...> одним словом, со слов их я заметил неуважение к их волостному старшине и недоверие к себе, так что опасаюсь на будущее время всякого от общества села Чиганака законного выполнения требования начальника. В это же время я получил отношение от главного управляющего имениями г. Нарышкина, что крестьяне села Чиганака распахали под озимый посев хлеба землю за чертою их надела, почему и просил объявить им, что если они землю ту намереваются засеять, то заплатили бы за десятину по 5 рублей и составили о том в их конторе контракт, отношение это я на сходе прочитал, но крестьяне на это не обратили никакого внимания, а крестьянин Иван Краснощеков сказал при этом: *«За что мы будем платить, земля и так вся наша»*.

Борис Кутенков

«Больно — поэтому без метафор»

(о лирическом психологизме Татьяны Бек)

Стихи Татьяны Бек современная критика вниманием не жалует: вроде бы нет к тому актуального повода, каким могло бы быть переиздание ее поэзии и эссеистики. Чаще вспоминают о редкостном трудолюбии поэтессы: «вкальывала как вол на трех, по-моему, работах...»; «видел... она и здесь пашет на износ...» (И. Фаликов)¹. О том, что «...она была увлекающимся человеком. И, зачастую, на мой взгляд, переоценивала своих друзей... То есть она проявляла симпатию к человеку — и эта любовь переходила на его творчество. Она начинала этого человека всячески пропагандировать — публиковать, писать о нем рецензии, рассказывать по радио. И любовь не знала границ» (Е. Степанов)²... На кафедре, где я предлагал творчество Бек в качестве темы для своей кандидатской диссертации, ее кандидатуру осторожно отвергли (другие варианты были — Борис Ръжкий, Денис Новиков, Юнна Мориц; остальные либо не годились для научного исследования, либо мне не близки, либо — ввиду достаточности критической рецепции — не вижу острого смысла писать о них, даже несмотря на собственный интерес). Но и Бек оказалась в статусе, как выразился заведующий кафедрой, «не устоявшегося явления». Один преподаватель, учившийся, а сейчас работающий в Литинституте, вспомнил: «Татьяна Бек на меня написала рецензию»; другой, вторя ему, — «и на меня Татьяна Бек написала рецензию...».

Отзывов о стихах Бек и вправду написала много — будучи блестяще одаренным эссеистом, одной из первых поддержав в печати мало кому тогда известных Амелина, Пурина, Лесина, Арутюнова... Евгений Лесин упоминает про нее и Римму Казакову: «...Обе занимались "птенцами", до самозабвения»³... Стихи же ее собственные, вполне востребованные при жизни, не то чтобы не выдержали проверки временем (в конце концов, и времени-то с ее смерти прошло в масштабах памяти всего ничего — восемь лет). Издательством «АСТ» при участии редакции журнала «Арион» было издано посмертное избранное с предисловием Игоря Шайтанова, на книжных полках магазинов еще можно найти два тома — «Она и о ней» (ее стихи, бесе-

1 Сапожник без сапог. Илья Фаликов: «У России есть поэт национального масштаба!» — *НГ-Ex libris*, 04.07.2013 (http://www.ng.ru/ng_exlibris/2013-07-04/2_falikov.html).

2 Е. Степанов. *Записки соседа, или Бек с препятствиями* // *Крещатик*, № 1, 2007 (http://www.stepanov-plus.ru/literator/publ/20071011_kreschatik.html).

3 Е. Лесин. *Держитесь!* // *НГ-Ex Libris*, 04.02.2010 (http://www.ng.ru/ng_exlibris/2010-02-04/6_lesin.html).

Об авторе | Борис Кутенков родился и живет в Москве. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 2011 г., аспирант кафедры новейшей русской литературы. Автор двух стихотворных сборников. Критические статьи и рецензии публиковались в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Октябрь», «Вопросы литературы» и многих др. Стихи вошли в лонг-лист «Илья-премии» (2009), лонг-лист премии «Дебют» (2012), критика — в шорт-лист Волошинского конкурса (2011).

ды, эссе, а также воспоминания о Бек, вышедшие уже после смерти поэта) и «До свиданья, алфавит» (книга бесед Татьяны Бек с литераторами, эссе, записных книжек; Бек была мастером интервью, — поэт Ирина Ермакова вспоминает о восприятии ею этого жанра как высокого искусства). Сейчас, вдумываясь в название книги «До свиданья, алфавит» (прижизненной, между прочим, и озаглавленной по строке одного из ее последних стихотворений), невольно вздрагиваешь от ощущения прочтения. Как чувствовала приближение прощания...

Между тем уже выросло целое поколение учеников «постфактум», любящих поэзию Бек как бы вне преемственности, однако невольно возводящих ту самую преемственность на особый пьедестал. На одном из вечеров ее ученик, поэт Сергей Арутюнов, обращаясь к студентам своего семинара, назвал Татьяну Бек «вашей литературной бабкой». Одному из этих учеников — мне — долгое время было сложно выбрать подходящий ракурс для разговора о ней: филологический — не покажет значимость для меня ее поэзии, всяческие иерархии тут лучше оставить в стороне, а личное эссе с неизбежностью уведет от разговора о достоинствах самих стихов. Отношения с любимыми стихами вообще складываются сложно: ты вырастаешь, а они остаются вроде бы неизменными, но и передают в будущее какие-то свои черты, меняя парадоксальным образом и тебя, и твое сегодняшнее восприятие себя (это ведь своеобразное испытание, даже суд для обоих — а выдержат ли они твою личную проверку временем? А как за это время изменился ты — и каким путем пришел к себе сегодняшнему?). Зачитываешь их до дыр, потом усилием воли откладываешь, чтобы не впадать в эпитонство, но снова и снова прокручиваешь в памяти, затем опять возвращаешься... Раньше предпочитавший анализировать чуждую стилистику, теперь, с движением к внутренней свободе, ты опять на пути к себе прежнему — словно бы зигзагообразная дорога вне зависимости от твоих желаний, потребностей и воли выводит тебя, уже изрядно изменившегося, к неким неиссякаемым источникам. И все отчетливее зреет ощущение долга перед стихами, с которых, в сущности, и началась для тебя современная поэзия. «Полагаю: с нами рядом / Те, которым мы должны...» (Т. Бек). Если в 2007-м что-то во мне переменяла купленная случайно «Сага с помарками» (по сути — первая поэтическая книга, прочитанная мной с настоящим волнением и ощущением, что называется, «избирательного сродства»), то сейчас ее перечитывание — строгий и пристрастный взгляд на себя прежнего и, однако же, память о первой любви.

Но получается, что о «психологической стороне вопроса» в случае с Бек куда интереснее говорить, чем о строении стиха. Екатерина Орлова верно, на мой взгляд, пишет в послесловии к «Саге с помарками» о типе метонимического (обобщающего) мышления в противовес метафорическому. Сама Бек признавалась: «Не моя это сила — метафора» и — в другом стихотворении — «Больно — поэтому без метафор...». И действительно — талант метафоры (которая все же, как ни крути, — выдача одного за другое) в ее поэзии оказывается заслонен талантом психологической летописи и отражения живой души во всей мучительной сложности. А с ним и интерес исследователя оказывается обращен в сторону этой летописи. Вся Бек — от ранних до поздних стихов — по сути, об одном: об одержимости собственной души — спесью ли, страстью — и укрощении этой одержимости. И о многих аспектах этого чувства: об очищающем душу раскаянии и умении разглядеть «в мусоре мелос»; о любви к этому «мусору-мелосу», неразделимой со страданием. Сказав с вызовом в начале пути «Я красотой наделю пристрастно / Всякие несовершенства эти», — от ощущения «пристрастной любви» к этим отличиям и несовершенствам она не отступалась до конца. Стихи ее густо населяют «жадные до самого убогого, / Любящие всеми нелюбимое...» и — в итоге — воплощающие собой «Высшего Замысла сдвиг» (в одном из стихотворений даже использован неологизм «сдвигососед», что можно перевести как «сосед по сдвигу»).

Мою судьбу из несуровых ниток,
Где серых и коричневых избыток
И лишь один узор до боли ал, —
Наполовину ткач уже соткал.

Разглаживать ее рукою стану
И засмеюсь: ну, наработал спьяну!
Пускай, пускай он дурень и кустарь —
Изделие единственно, как встарь.

Я — слышите? — не сетую нимало
На то, что мне такое перепало.
Не половик, не скатерть, не платок,
А этот — мой, и только — доскуток...

Ощущение индивидуальной судьбы как Божьей ошибки («Бог, выпимши, лепит ошибки...») и одновременно знака отличия, а следом — и ощущение своей отдельности в любой толпе и, что важно, борьба с этой отдельностью внутри себя, — важнейшие черты лирического психологизма Бек. В одном из поздних стихотворений есть выразительная деталь: «...строем ходила на "Синюю птицу" (как значим этот анаколуп — «строем ходила» — в сочетании с двойственностью понимания аллегорического образа синей птицы: и на спектакль ходила, чувствуя одиночество в толпе, и охотилась за несуществующим!..). Галерея «свидетельских показаний» в деталях и биографических подробностях об этих «лишних», «юродивых», «сдвиго-соседах», — главным образом, знакомцах поэта, — проходит через все стихи Бек, а приметы отличий повторяются обильно: от дерева, описываемого с восхищением: «...Где-то дерево растет / С ягодами, желудями, / Шишками, листвою и пухом — / Черт те что, лесной урод...», до «...большелицых, странных, / не в чести и не у дел...», тех, кому «будничная жизнь давалась только с бою».

Эти знаки отличия, юродства и неуживчивости («привязанность к пассионарной неуместности», как выразилась она об Арсени Тарковском, обратив внимание на его любовь к «приемышам чужбины» и «отходам творенья»), неотделимо связанные с личностными самоидентификациями, Татьяна Бек воспела как никто другой. Творческая и личностная эволюция поэта — трудная и горькая. А если посмотреть на весь корпус текстов, — от блудного подростка, ищущего тыла и мучительно «переплавляющего себя», чтобы влиться в мир «сквозь робости тошную почву» (сборник «Скворешники», 1974), колеблющегося между осознанием своей отдельности и борьбой с синонимом этого осознания — спесью — в представлении лирического героя, — до позднего отчаяния, то в вышесказанном не остается ни малейших сомнений. Неизменным оставалось одно: боль от соприкосновения с миром — отторгающим любую отдельность, усредняющим, неудобным и колючим — и необходимость войти в этот мир. «А мир, он никакого позитива нам не предложит никогда. Он несовершенен, асимметричен, противоречив и обиден до слез. Его нужно полюбить таким как есть и взять на свои великодушные поруки»⁴, — из рецензии на книгу своего ученика, написанной за год до смерти... А вот — стихотворение из сборника 1980 года:

Глупая! В отрочестве отшельник
Мудрым казался.
Кожу кичливой колкий, как ельник,
Мир не касался.

...Ныне мечтаю смешаться с вами —
Мне меня мало! —
Но ни объятьями, ни словами
Льда не сломала.

Ныне я вглядываюсь тревожно
В звезды и лица...

4 Т. Бек. Главное — это помарки. Рец. на кн.: С. Арутюнов. «Андейт» // Знамя, 2004, № 4. (<http://magazines.russ.ru/znamia/2004/4/bek16.html>)

Необходимо и невозможно
В мир перелиться!

Усилие перебарывания чувствуется в буквально физическом жесте обрывания себя, придавливания ладонью («Замечаем: огни не потухли — / Просто мы не вполне высоки»; «И только мамин коврик, / Тоскующий в тиши, / Твердит, что мир не горек, / Да мы нехороши»), часто переливаясь у Бек в спор между голосом и подголоском. Голос в скобках, слово противоречащий уже сказанному (порой — в форме прямой речи) заставляет вспомнить слова Бахтина о диалоге, уходящем в дурную бесконечность. Поневоле задаешься вопросом: а существует ли поэт без «спасительного яда противоречий» (выражение Блока), без тяжелой внутренней борьбы с собой?.. Но у Бек, пожалуй, эти противоречия были доведены до предела, переходящего в конфликт. В худшем случае — конфликт, губительный для поэта (и сгубивший — что в итоге и случилось), но, как часто бывает, благотворный для стихов.

И падали, и знали наперед,
Переполняя ужасом и светом,
Что если кто устанет и умрет,
То шествие не кончится на этом.

И видятся здесь две экзистенциальные категории, ключевые для ее поэтики: ужас и свет. Ужас осознания «знака отличия» — и одновременно изгойства; свет — и одновременно ужас — избранности, с которой не можешь, да и опасно смириться. Свет, наконец, настольный, спасительный... Как точно сказано у поэта другого склада и поколения, Марии Ватутиной: «как прежде, жив литературным / трудом, и только им одним». У Бек — «...Это не мое жилище. / Мой зато настольный свет». И — еще жестче и самоуничижительнее: «Под раскаленной добела, / Под лампою без абажура / Земная жизнь твоя прошла, — / Кладоискательница, дура». Ужас, наконец, — сам выход из настольного света и затворничества: «...Выходи из немоты / В ужас и веселье!». И, наконец, — тот самый «простой ужас простой жизни...», который, по справедливому замечанию критика Аллы Марченко, «Татьяне Бек единственной из всех нас удалось... от себя за всех спеть... и при этом — сохранить и речь, и голос, и слово, и походку стиха»⁵.

В критике существует тенденция называть Бек «поэтом поколения». Тенденция в то же время и опасная, как любая надеваемая на явление литературоведческая «шапочка», да и как вообще всякое одностороннее определение; к тому же, если вдуматься, — тема поколения у Бек не главная. В центре лирического сюжета — всегда сама она, Татьяна Бек («а не образ из ребуса», хочется продолжить ее же собственными словами; биографизм доходит до упоминаний имени: «...— Ты Таня? — / Я Таня. А прочее — шприц...»). Хотя о поколении — с социологической точки зрения — у нее много, но с оглядкой прежде всего на собственную совесть, необходимость воспеть «нищий быт». Что-то похожее писал Эйхенбаум об Ахматовой: «...Перед нами — конкретные человеческие чувства, конкретная жизнь души, которая томится, радуется, печалится, негодует, ужасается, молится, просит и т. д. От стихотворения к стихотворению — точно от дня к дню. Стихи эти связываются в нашем воображении воедино, порождают образ живого человека, который каждое свое новое чувство, каждое новое событие своей жизни отмечает записью. Никаких особых тем, никаких особых отделов и циклов нет — перед нами как будто сплошная автобиография, сплошной дневник». Подобное можно было бы сказать о многих, но, мне кажется, эгоцентризм (я без оценок) и одновременно «всеобщность» касательно родословной имеет для Бек особое значение — именно в контексте постоянных попыток выяснить, откуда берет корни фаталистическое мироощущение и «помрачение». «Мы, у кого помрачение в роду, / Даже архив соберем»; «Двоюродная бабка из протеста / Взяла и яду в полдень

5 Литературная газета, 12 августа 1998, № 32—33.

приняла»... От «завещанных» деталей психологического автопортрета («Осанке моей не завещан балет. / Чужая нарядной истоме. / Отец — беспризорник в четырнадцать лет, / А маму растили в детдоме») — один шаг до самоуничижительных деталей, бросающихся в глаза каждому читателю и ошеломляющих степенью уязвимости:

...До поры не читавшая Кафку,
Ты летала по травам, по водам,
И носила, светясь, безрукавку,
И не знала, что станешь уродом:

Пустозвоном с чертами изгоя —
Только в женском, как жизнь, варианте...
Мир, выходит, лепился из горя
На пронизанной солнцем веранде, —

Чтобы страшно, и криво, и дыбом
Над руинами встать напоследок!
...Этот сад я узнаю по скрипам
Ни о чем не жалеющих веток.

«Ощущение усталости, как о том свидетельствуют стихи, однажды возникнув, не отпустило Татьяну Бек. Оно и в сборнике “Узор из трещин” (2002), и в разделе избранного “Отсебятина”, куда вошли стихи самого последнего времени. Можно цитировать бесконечно: “Дух бодрился и выдохся...”, радость, страсть и ярость появляются в сопровождении эпитета “бывшие” (“Ты — моя бывшая радость...”). Душевная усталость подтверждена не только признаниями, но элегической вязкостью стиха, когда взятая интонация, как колея, из которой невозможно вырваться...» — пишет Игорь Шайтанов в предисловии к посмертному «Избранному» (2009). Ранние стихотворения часто заканчиваются своеобразной констатацией личного краха — монологом героя, уходящим в пустоту: «— Вы слышите, мне очень одиноко, / Зброшенному чудом в эту щелку! — / Лишь ветер треплет рыженькую челку». Среди поздних выделяются те, где попытка диалога превращается в унижающий авторитарный монолог собеседника (не столь важно — внутреннего или же реального, когда описывается имевшая место дружеская или любовная размолвка), не оставляющий права на защитный жест. Если в одном из ранних стихотворений она признавалась: «Я думала про музыку свою, / Которой шарлатанства — не привью», то время 1990-х и 2000-х, само по себе шарлатанское, склоняло к все большему появлению иррационального. Упоминание размышления крепкой земли, то и дело соседствующее с метафорой кладбища, дикие сны, приметы питания, — всего этого с избытком в стихах Бек последних лет. Все чаще повторялись два глагола — «размыть» и «выжить». Тут и борьба с душевным нездоровьем, и юродство, откровенное «как чара, / как последняя воля бойца»...

Все мои близкие сходят с ума —
Я-то сама уже год как сошла
И потому говорю не со зла, —
Сходят, как снег, когда полужима —

Полувесна... Полоумная речь —
Талой водою... Последняя дочь,
Я не могу своим близким помочь.
Я не хочу себя больше беречь.

Она и не сберегла себя — поскольку была поэтом до конца. «Что ж, поэтом долго ли родиться... / Вот сумей поэтом умереть!» — писал Георгий Иванов. И умерла она как поэт — за правду: трагически, страшно, загадочно, невыясненно. По-пушкински, по-блоковски — от отсутствия воздуха. Ее голосом заговорили не только «опреде-

ленная среда и эпоха» (Е. Орлова), но и само изгойство, помноженное на патологическую честность, — сочетание, почти не оставляющее права на выживание тому, кому не повезло родиться с ним. Многим она стала близкой вне зависимости от личного знакомства, но с полным ощущением родства — и личного знания человека при чтении стихов. Тем, кто чувствует в себе тот же «вирус одиночества и расправы»⁶, то принижая себя, то ощущая этот вирус и «росток тоски» как неотъемлемые признаки таланта. Многим она дала надежду, что когда отнято что-то — например, надежда на человеческое понимание — своеобразной компенсацией от мироздания становится «таинственный песенный дар», бесцельный сам по себе, но, однако же, нуждающийся в оправдании судьбой (в чем-то близкий Татьяне Бек Денис Новиков — поэт жестко-нигилистической ноты, — прямо сказал в интервью Сергею Гандлевскому, что «относится к своим поэтическим способностям как к компенсации свыше за абсолютную жизненную непригодность»). Мне кажется, эти слова как-то особенно перекликаются со строками Бек: «Так сильны и упорны калеки, / Так провидит дорогу слепой!»; и — из другого стихотворения — «Не так ли чует запахи слепой?».

...У меня хранится открытка, подаренная в 2007 году Сергеем Арутюновым. На ней — выложенная на фоне мозаики древнегреческая Богиня — Фортуна (чем-то неуловимо внешне напоминающая Татьяну Александровну) и карандашная подпись ее рукой: «От судьбы не спрячешься». Сама Бек сказала в радиоинтервью после смерти Василя Быкова: «Мы вас перечитаем». И действительно, лучшее, что мы можем сделать для ушедшего из жизни (но не из памяти) поэта, — это перечитать его. Ну а мне хочется перечитывать (и постоянно цитировать наизусть) такое стихотворение — одно из самых дорогих не только у Бек, но и во всей русской поэзии:

По холодному озеру
жми на веселой моторке.
Вислоухую псину
из ласковой миски корми.
...Но какие круги,
но какие крутые «восьмерки»
Возникали всегда
меж тобой и другими людьми!

Ты сперва тосковал
по большому и дружному дому,
Но опять и опять
одинокие петли вязал.
Ты влюблялся, —
но так ревновал к неродному излому,
Что, не в силах ужиться,
бежал на далекий вокзал.

— О, скорее туда,
где послушен жасмин белокурый,
Где крапива дичится,

6 Дети Ра, 2009, № 4, 54. Блицинтервью о Татьяне Бек. Евгения Доброва, выпускница семинара Т. Бек и С. Чуприна: «Уже после института я пыталась разгадать, по какому принципу она отбирает учеников. Она что, видела, что мы такие же, как она, — с вирусом одиночества и расправы? Но этого тогда понять еще было нельзя (дети почти, вчерашние школьники). По текстам экзаменационных этюдов? Не может быть. Думаю, видела в человеке росток тоски — и брала...» (<http://magazines.russ.ru/ra/2009/4/bek21.html>).

где густо стоит немота!.. —
Ничего не поделатъ
с отпущенной небом натурой:
Ты совсем затворишься,
когда разменяешь полста.

Я гляжу на тебя
— на певца, удальца и красавца —
И на этот сиротский,
спиртующий душу простор.
Не касаясь людей,
вообще невозможно сказать.
Но любое касанье
тебя истребляет как мор!

Здесь — и детская рана,
и смутное время, и предки,
И какая-то злая,
наверно, ведьмачья напасть.

.....
Окунишек наварим —
и выбросим чайкам объедки.
Остается от жизни
пронзительно малая часть.

Загнивает вода:
виновата твоя же запруда.
Загородка, заслонка,
решение выжить во сне.
(Искажение Замысла.
В землю зарытое чудо.
Репетиция гибели.)
...Все это — и обо мне.

Олег Лекманов

Последний император

Интересующее нас стихотворение было впервые напечатано в четвертом, апрельском номере журнала «Красная новь» за 1928 год. Поскольку оно не входит в «канон» Маяковского, приведем здесь полностью текст стихотворения:

ИМПЕРАТОР

Помню —
 то ли пасха,
то ли —
 рождество:
вымыто
 и насухо
расчищено торжество.
По Тверской
 шпалерами
 стоят рядовые,
перед рядовыми —
 пристава.
Приставов
 глазами
 едят городовые:
— Ваше благородие,
 арестовать? —
Крутит
 полицмейстер
 за уши ус.
Пристав козыряет:
 — Слушаюсь! —
И вижу —
 катится ландо,
и в этой вот ланде

Об авторе | Олег Андершанович Лекманов (родился в 1967 году), филолог, профессор НИУ ВШЭ, автор более четырехсот опубликованных работ, в том числе, шести монографий об акмеизме, Мандельштаме, Есенине, Валентине Катаеве.

От автора | Благодарю О. Сокоренко за стимулирующие мысль споры, а Е. Лямину, А. Немзера и К. Осповата за важные дополнения и исправления.

сидит
военный молодой
в холёной бороде.
Перед ним,
как чурки,
четыре дочурки.
И на спинах булыжных,
как на наших горбах,
свита
за ним
в орлах и в гербах.
И раззвонившие колокола
расплылись
в дамском писке:
Уррра!
Царь-государь Николай,
император
и самодержец всероссийский!

Снег заносит
косые кровельки,
серебрит
телеграфную сеть,
он схватился
за холод проволоки
и остался
на ней
висеть.

На всю Сибирь,
на весь Урал
метельная мура.
За Исетью,
где шахты и кручи,
за Исетью,
где ветер свистел,
приумолк
исполкомовский кучер
и встал
на девятой версте.
Вселенную
снегом заволокло.
Ни зги не видать —
как на злѳ.

И только
следы
от брюха волков
по следу
диких козлов.

Шесть пудов
(для веса ровного!),
будто правит
кедров полком он,
снег хрустит
под Парамоновым,
председателем
исполкома.

Распахнулся весь,
 роют
 снег
 пимы.
 — Будто было здесь?!
 Нет, не здесь.
 Мимо! —
 Здесь кедр
 топором перетроган,
 зарубки
 под корень коры,
 у корня,
 под кедром,
 дорога,
 а в ней —
 император зарыт.
 Лишь тучи
 флагами плавают,
 да в тучах
 птичье враньё,
 крикливое и одноглавое,
 ругается вороньё.
 Прельщают
 многих
 короны лучи.
 Пожалте,
 дворяне и шляхта,
 корону
 можно
 у нас получить,
 но только
 вместе с шахтой.

Свердловск
 <1928>¹

Стихотворение состоит из трех частей, которые не пронумерованы, а отделены друг от друга пробелами (в журнальной публикации — отчеркиваниями). Эти три части отличаются временем действия (дореволюционное прошлое — советское настоящее — предупреждение для реставраторов прошлого о возможном будущем) и тяготением к трем жанровым формам (I часть — сатирическая сценка; II часть — документальный очерк; III часть — плакат в духе Окна РОСТА).

Разбор стихотворения начнем с попытки комментария к третьей его части.

1.

Учтывая, что «Император» был написан спустя многие годы после окончания Гражданской войны, правомерным кажется вопрос: к кому конкретно адресуется поэт в третьей части? Кого в 1928 году прельщали «короны лучи»? Кто они — эти «дворяне и шляхта»?

Как кажется, вместо туманного и расплывчатого ответа (некие абстрактные представители белоэмиграции) на этот вопрос можно дать ответ ясный и четкий,

1 Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13-ти тт. Т. 9. М., 1958. С. 27—30.

вписывающий стихотворение в актуальный газетный контекст эпохи. Заглянем в номер «Правды» (или «Известий», или почти любой другой советской газеты) от 10 марта 1928 года и обнаружим там редакционную передовицу «Об экономической контрреволюции в угольной промышленности», а рядом с ней заявление «От прокурора Верховного суда Союза. Сообщение о раскрытии контрреволюционного экономического заговора». Эти два текста, а также речь А.И. Рыкова на пленуме московского совета 9 марта 1928 года (напечатанная в газетах 11 марта) стали первыми информационными ласточками о так называемом «шахтинском деле», по которому большая группа руководителей и специалистов, работавших в Шахтинском районе Донбасса, была облыжно обвинена во вредительстве и саботаже.

В перечисленных газетных материалах легко отыскиваются и конкретные детали, которые, по нашему мнению, были взяты на вооружение Маяковским при написании концовки стихотворения. В «правдинской» передовице сообщалось, что «ряд крупнейших спецов», фигурантов дела, «был связан не только с бывшими шахтовладельцами, но и с военной агентурой капиталистических государств, Польши, прежде всего»² — отсюда, вероятно, возникло обращение Маяковского к «шляхте». А в речи Рыкова руководители «заговора» были названы «мерзавцами-монархистами»³, то есть как раз теми, кого прельщают «короны лучи».

Получается, что в финале стихотворения Маяковский, как он любил и умел это делать, зло поиграл словами: он напомнил якобы мечтавшим о реставрации монархии шахтинцам и их иностранным покровителям о той заброшенной шахте, в которую, как считалось, было спущено тело расстрелянного Николая II.

Если мы правы в своих предположениях, то выявленные газетные источники финала стихотворения «Император» позволяют по-новому взглянуть на соотношение чистовика и черновика этого стихотворения.

Как известно, в черновике, набрасывавшемся зимой 1928 года, Маяковский проявил по отношению к несчастному самодержцу почти небывалое для правого советского поэта великодушие. Он пробовал такие варианты:

Я вскину две моих пятерни
Я сразу вскину две пятерни
Что я голосую против
Я голосую против
Спросите руку твою протяни
казнить или нет человечьи дни
не встать мне на повороте
Живые так можно в зверинец их
Промежду гиеной и волком
И как не крошечен толк от живых
от мертвого меньше толку
Мы повернули истории бег
Старье навсегда провожайте
Коммунист и человек
Не может быть кровожаден⁴

2 Об экономической контрреволюции в угольной промышленности // Правда. 1928. 10 марта. С. 1. Польский след, как известно, образовался в шахтинском деле потому, что один из ключевых фигурантов этого дела, горный инженер, сотрудник администрации «Донбассуголь» Николай Бояринов поддерживал дружеские связи с эмигрировавшим в Польшу бывшим директором-распорядителем Донецко-Грушевского акционерного общества Дворжанчиком.

3 Речь тов. А.И. Рыкова на пленуме московского совета 9 марта 1928 года // Правда. 1928. 11 марта. С. 3.

4 Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13-ти тт. Т. 9. С. 444.

Однако в итоговой редакции ото всех этих милосердных строк поэт отказался, предпочтя им кровожадную концовку⁵.

Можно предположить, что, прочтя речь Рыкова и другие материалы, связанные с шахтинским делом, он ради «высокой» цели служения родной Партии с привычной ловкостью превратил свое человеколюбивое стихотворение в людоедское.

Так или иначе, но когда летом того же года в стихотворении с характерным заглавием «Вредитель» Маяковский впрямую писал о шахтинцах, то вопрос, «казнить или нет человеечьи дни», для него, кажется, не возникал:

Пускай
статьи
определяет суд.
Виновного
хотя б
возьмут мишенью тира...⁶

2.

Теперь перейдем к комментированию первой части «Императора».

Впрочем, она понятна почти без комментариев. Начинается стихотворение с упоминания об одном из «отмененных» самой историей новейшей России церковных праздников («то ли пасха, // то ли — // рождество»), чтобы дальше перейти к рассказу о визите в Москву «отмененного» самой историей августейшего семейства.

Грубое сравнение, использованное при портретировании царских дочерей («Перед ним, // как чурки, // четыре дочурки»), используется, чтобы читатель вспомнил загодя оправдывающую большевиков-цареубийц поговорку: «Лес рубят — щепки летят» (чурки неизбежно должны быть расколоты). Сравним чуть выше в первой части «Императора»: «По Тверской // шпалерами // стоят рядовые»⁷, а также во второй части, но уже с уподоблением не людей деревьям, а деревьев — людям: «будто правит // кедров полком он».

В строках Маяковского:

И раззвонившие колокола
расплылись
в дамском писке:
Уррра!

слышится отзвук грибоедовского саркастического:

Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!⁸

5 Очевидно, впрочем, что и в черновике намечались не слишком милосердные варианты гипотетической судьбы семьи Романовых: «Живые <, > так можно в зверинец их // Промежду гиеной и волком».

6 Там же. С. 157. Отметим, что в этом стихотворении Маяковский тоже связал шахтинцев с императором: «мы отдавали // им // последнее тепло, // жилища // отдавали, выложив, // чтоб на стене // орлом сиял диплом // им-пе-раторского училища» (Там же).

7 В садово-парковом искусстве шпалерами называют ряды подстриженных кустарников и деревьев, высаженные вдоль прямой линии, а также образуемые ими «зеленые галереи» и деревянные конструкции, поддерживающие стволы и ветви. Здесь и далее в статье курсив в цитатах везде мой. — О.Л.

8 Грибоедов А.С. Горе от ума: Комедия в 4-х действиях, в стихах // Грибоедов А.С. Сочинения. М.—Л., Гослитиздат, 1959. С. 39. Это наблюдение сделано О.А. Сокоренко.

Общий же тон первой части стихотворения напоминает сегодняшнему читателю о сатирической сценке из знаменитых «Стихов о советском паспорте», написанных через год после «Императора». Отыскивается и конкретная текстовая переключка: «Приставов // глазами // едят городовые» в нашем стихотворении; «Глазами / / доброго дядю выев» в «Стихах о советском паспорте»⁹.

Как и в гимне советскому паспорту, в финале первой части «Императора» юмористическая интонация подкрашивается гневной: свита Николая II вольготно располагается «на спинах бульжных, // как на наших горбах». Вскорости бульжники (оружие пролетариата) пойдут в дело, «горбы» распрямятся, династия Романовых заодно со свитой будет сброшена с трудовых спин.

Октябрь
из шахт
на улицы ринул,
и...
разслала октябрьская ломка
к чертям
орлов Екатерины
и к богу —
Екатерины
потомка.

Так Маяковский обыгрывал присказку «послать к чертям» в стихотворении 1928 года «Екатеринбург — Свердловск»¹⁰, используя при этом образы «шахт», гибели императора и романовских, государственных орлов (разговор о которых еще впереди).

3.

Документальная основа эпизода, описанного во второй части стихотворения «Император», такова: будучи в Свердловске в январе 1928 года, Маяковский попросил тогдашнего председателя местного областного Совета Анатолия Ивановича Парамонова о поездке на место захоронения Николая II. Просьба поэта была уважена — 28 января он вместе с Парамоновым на подводе, управляемой «исполкомовским кучером», отправился разыскивать тайную могилу. По одним сведениям — она была отыскана, по другим — «место захоронения императора в тот день так и не удалось показать Маяковскому»¹¹.

То есть несколько двусмысленной, по-видимому, оказалась уже сама ситуация, в которую попали Маяковский и его сопровождающие: нашли они место захоронения императора или нет, было, по-видимому, до конца непонятно и им самим.

Все же поэт решился и написал репортажное стихотворение, используя для этого довольно-таки сомнительный информационный повод¹².

Однако из «репортажа» Маяковского очень трудно понять — как он сам относился к тому факту, что последний русский самодержец был казнен. Отказ от прямой оценки этого события во второй части особенно выразительно смотрится на фоне первой и третьей частей стихотворения (и черновика к третьей части), которые едва ли не для выставления «правильных» оценок и были написаны.

9 См.: Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13-ти тт. Т. 10. М., 1958. С. 68.

10 Там же. Т. 9. С. 19—20. Сопоставление «Императора» с этим фрагментом стихотворения «Екатеринбург — Свердловск» впервые проделано в толковой статье: Лукьянин Валентин. Маяковский «сам» и пять его свердловских дней // Урал. 2003. № 1. С. 202.

11 Оба свидетельства принадлежат А.И. Парамонову. Цитируем по: Лукьянин Валентин. Маяковский «сам» и пять его свердловских дней. С. 204.

12 Понятно, что именно поездка с Парамоновым послужила главным импульсом к началу работы над «Императором».

Можно, конечно, усмотреть почти прямую оценку всего произошедшего в заключительных строках второй части:

Лишь тучи
флагами плавают,
да в тучах
птичьё враньё,
крикливое и одноглавое,
ругается вороньё.

Эти строки отчетливо спроецированы на один из финальных микрофрагментов первой части:

Свита
за ним
в орлах и в гербах...

Подразумевается же у Маяковского во второй части, как представляется, не романовский *двуглавый* орел, а очень похожий на него, но только *одноглавый* — с герба все той же Польши. В соответствии с давней традицией агитационной поэзии и политических карикатур, имперский орел в стихотворении превращается в *ворона* или в *ворону* на черном, пиратском (вместо красного, польского) флаге: «Лишь тучи // флагами плавают»¹³.

С другой стороны, *вороны*, *кружащие над могилой*, — это давний поэтический топос, причем в строках из русской и мировой поэзии, в совокупности образующих этот топос, почти обязательно содержатся мотивы сочувствия к тому, кто покоится в могиле.

Еще меньше проясняют авторскую позицию многочисленные подтексты, которые отыскиваются во второй части «Императора».

Начнем с наиболее очевидной реминисценции, отмеченной еще В.А. Арутчевой. В своем давнем комментарии к стихотворению «Император» она указала, что строки:

у корня,
под кедром,
дорога,
а в ней —
император зарыт.

«являются перефразировкой строк М.Ю. Лермонтова из стихотворения “Воздушный корабль” (1840):

На острове том есть могила,
А в ней император зарыт»¹⁴.

Напомним, что следующие после процитированной Маяковским строки стихотворения «Воздушный корабль» (как и все это стихотворение) полны неприкрытого сочувствия к Наполеону и презрения к его врагам:

¹³ Ср. в черновиках к стихотворению: «Лишь тучи штандартами плавают» (Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13-ти тт. Т. 9. С. 444). Возможно, Маяковский намекает в разбираемых строках и на любимое времяпрепровождение Николая II, многократно обыгранное в агитационной литературе, — стрельбу по воронам.

¹⁴ Арутчева В.А. Примечания // Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13-ти тт. Т. 9. С. 544.

Вспомним, что в седьмой главке «Хорошо!» весь смысл «Двенадцати» едва ли не сведен к символической фигуре Христа, появляющейся у Блока в финале:

Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа²⁰.

Вспомним для того, чтобы высказать самое рискованное и, возможно, даже сомнительное предположение во всей нашей комментаторской заметке: не служит ли в «Императоре» реминисценция из «Двенадцати» сигналом соотнесенности в сознании Маяковского мученической кончины Николая II с распятием Христа? Если это так, то и безрезультатные поиски могилы императора можно было бы осторожно сопоставить с соответствующим евангельским эпизодом: «Его нет здесь» (Матф. 28, 6).

В том, что мы не вовсе не правы, как представляется, убеждает образ «короны лучей» из третьей части «Императора», легко соотносимый с терновым венцом, особенно если вспомнить один из черновых вариантов строки Маяковского о короне:

Корону можно на лоб получить...²¹

Корона вместе с шахтой оказывается почти изоморфной надписи «Царь Иудейский» на кресте: царским знакам на месте казни.

Глумливое же снижение высокой параллели «Николай II — Христос» можно обнаружить в первой, сатирической части «Императора», если посмотреть на нее под интересующим нас сейчас углом. Посещение царем Москвы под этим углом воспринимается как пародийный въезд в Иерусалим, а сигналом введения «христианской» темы служит, разумеется, прямое упоминание о Рождестве и Пасхе в зачине стихотворения²².

Остается отметить, что параллель русский царь — Христос, как показали в своей классической работе Б.А. Успенский и В.М. Живов, была очень прочно вживлена даже не в сознание, а в подсознание россиян. Приводят исследователи и пример, связанный с визитом Николая II в Москву (для коронации 6 мая 1896 года). В этот день в официальном органе Синода «Церковном вестнике» говорилось: «Если не устами, то сердцем вся Москва, а за ней и вся Россия восклицала: Благословен Грядый во Имя Господне!». Еще позднее протоиерей Петр Миртов в своей проповеди на день коронации Николая II провозгласил: «Благословен грядый во имя Господне Царь и Самодержец Всероссийский»²³.

То есть мы вновь встречаемся с механизмом автоцензуры, уже описанным нами при разговоре о черновике и беловике третьей части стихотворения «Император».

20 Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13-ти тт. Т. 8. С. 266.

21 Там же. Т. 9. С. 444.

22 Эта же тема заостренно-пародийно звучит в сатирическом стихотворении А.К. Толстого «Бунт в Ватикане», скрытую цитату из которого В. Лукьянин обнаружил в первой части «Императора». См.: Лукьянин Валентин. Маяковский «сам» и пять его свердловских дней. С. 204.

23 Обе цитаты приводятся по: Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 109.

Первоначально — в своем сознании — Маяковский вольно или невольно уподобил мученика-царя мученику-Христу, но в процессе работы над стихотворением включился механизм автоцензуры, и поэт беспощадно высмеял у него же самого возникшие сакральные ассоциации.

Спустя два года этот принцип будет отрефлектирован самим поэтом в быстро ставших хрестоматийными строках предсмертной поэмы «Во весь голос»:

Но я
себя
смирлял,
становясь
на горло
собственной песне²⁴.

24 Из поэмы «Во весь голос». Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13-ти тт. Т. 10. С. 280—281.

Дарья Маркова

Детская литература во «взрослых» литературно-художественных журналах в 2013 году

ОКТАБРЬ, № 9

В 2013 году «Октябрь» полностью отдал один из номеров под детскую литературу. В отличие от коллег, регулярно публикующих детских писателей («Урал») и представляющих «журналами для семейного чтения» («День и ночь»), «Октябрь» обозначает свою затею как «детское чтение для взрослых». Цель — «показать нашему искушенному взрослому читателю срез направлений, тем, жанров этого сектора современной словесности». На примере самих текстов это вполне удалось, а вот некоторые критические статьи продемонстрировали, что происходит, когда «взрослые» литераторы со своей колокольни начинают судить о детской литературе, игнорируя тот факт, что приходят они на вполне цивилизованные земли. Для «толстых» журналов детская литература — terra incognita. Потому для тех, кто «в теме», публикации «детского» в «толстяках» во многом вторичны и тавтологичны. С другой стороны, участники детского литературного процесса оказываются замкнуты в своем сообществе, варятся в собственном соку. Тем важнее попытки взаимопроникновения и объединения разных «секторов современной словесности». Посмотрим, как они предпринимаются, на материале некоторых публикаций «Октября»:

Проза и поэзия

Ая ЭН. Елка, которая пароход. Повесть

Первая часть повести (вторая пока не опубликована) о мальчике, который жил себе на необитаемом острове посреди квартиры, пересекая по сто раз на дню ковер-океан. Перед нами хронометраж бытования, возникновения, крушения мифов («Так в двенадцать сорок девять Петя узнал, что Деда Мороза не существует») и возрождения героя на новом уровне — постарше.

В этом же номере рецензируется роман Аи ЭН «Библия в SMSках» (Наталья Мелехина. «Внуки веры»). Мелехина убедительно показывает, что такой формат разговора о религии — не заигрывание с целевой аудиторией, а осмысленный художественный прием, позволяющий современным подросткам обсудить (а автору — актуализировать) библейский текст.

Светлана Лаврова. Несколько несчастных бутербродов

На целую повесть растянута — размазана тонким слоем — одна шутка о живых бутербродах. В анонсе номера Валерия Пустовая обозначила эту сказку как «постмодернистский миф». Действительно, история, народные сказки, колыбель-

ные и проч. переписываются «в культуре бутербродов», которые ищут клады, ссорятся, заводят сосиски и живенько цитируют Горького и латинские пословицы. В конце проводится прозрачная аналогия: коротка жизнь бутерброда — коротка жизнь человеческая. Ну да, коротка, не поспоришь.

Хотя, возможно, бутербродные приключения заставят детей посмеяться.

Андрей Усачев. Мальчик в зеркало смотрел. Стихи

Три стихотворения теперь уже маститого детского поэта. Первое, шуточное, «По шучьему велению. Сказка для очень современных детей» («Однажды, в студеную зимнюю пору / Емеля пошел за водою на прорубь... / — Ну, это мне, папочка, кажется странно — / Он мог бы водичку налить из-под крана!..») — перекликается со статьей Ирины Лукьяновой «Данный рассказ заставляет задуматься», где как раз и постулируется проблема: современные дети — инопланетяне с другим мышлением, другими представлениями о жизни. Учитель (Ирина Лукьянова в том числе преподает литературу в школе) «все меньше занимается моральной проповедью... у него не доходят руки до литературоведения — он все больше становится проводником по экзотическому миру русской классической прозы». Но разве цель преподавания литературы в школе — моральная проповедь? Или вдалбливание азов литературоведения? Именно чтение вслух, комментированное и увлеченное, а не псевдолитературоведение, привычное нам по школьным урокам литературы, может привить интерес к книгам. Тем более что в финале статьи делается вывод об актуальности классики. Так за дело: давайте учить читать, пусть учитель и будет таким проводником.

Александр Дорофеев. Вещий барабан. Записки Ивашки Хитрого

Сказ о том, как маленький человек, «барабанный староста», ненароком повлиял на исход переговоров русского посла с турецким султаном. Историческая повесть Дорофеева легко могла бы быть опубликована и в обычном номере журнала, что только подтверждает мысль о размытости границ между «взрослой» и «детской» литературой.

Константин Арбенин. Секундант. Рассказ из школьной жизни

Рассказ так же легко проецируется на современную политическую и общественную ситуацию, как и на школьную жизнь. Речь о взрослении и личном выборе — тема актуальная для подростков, но не менее важная и в инфантильном обществе, где решение перекалывается на кого угодно, только бы не пришлось брать его на себя, где ответственное высказывание или решительный поступок сначала вызывают восхищение, а потом раздражение.

Андрей Иванов. Это все она. Пьеса для чтения

Снова отцы и дети, вечные, пока мир стоит. Снова инфантильность — это не я, «это все она», — и мучительный поиск способа поговорить: сначала притвориться другим, а потом выучить другой язык. Здесь монолог и диалог не просто «техническая характеристика», прием, на котором строятся разные акты, пьесы, это основа взаимоотношений персонажей. Замечу, что такой текст — выражено «подростковый», как и рассказ Арбенина, как и «Библия в SMSках», — провоцирует подростков на то, чтобы испытывать его на прочность, ловить авторов на несоответствиях и промахах.

Ксения Драгунская. Акапулько. Рассказы

Вечное столкновение «сна золотого» вместо правды и неприглядной реальности, а вместо привычных по другим рассказам Драгунской абсурда и иронии —

всего одно невероятное допущение: священника из российской глухомани переводят в Акапулько. Да и оно оказывается выдумкой, сказкой для тех, кто его любит, для тех, кто уверен, что хороших людей больше, чем плохих. «Реалисты» ведь знают, что батюшку услали в Весьегонский район за «шалость» с девкой.

Вместо второго рассказа — вопросы к читателю. Обычно «данный рассказ заставляет задуматься» далеко не всех, и Драгунская прямо предлагает поразмышлять над вопросами от «зачем ты родился?» до «отчего умер Пушкин?».

Литературная критика

Владимир Забалуев, Алексей Зензинов. *Есть и нет*

С одной стороны, авторы бесосновательно утверждают, что современной детской литературы нет как системы, как «самостоятельного игрока на рынке культурных ценностей». Есть, о чем и пишет, например, Ольга Виноградова в статье о премии «Baby-НОС» (см. ниже). С другой — трудно не согласиться, что детской литературе не хватает «целостной картины окружающего мира, выстроенного не только горизонтально (мир-каталог), но и вертикально (мир-идея)». То есть общее высказывание верно, но, когда речь заходит о конкретных текстах, авторы промахиваются: «Нет современной детской книги, которую родители читали бы с детьми, получая удовольствие от второго плана художественного текста. Нет книги, которая создает модель мира, дает оценку прошлого, определяет смысл настоящего и заглядывает в будущее». Такие книги есть, пример тому — произведения А. Жвалевского и Е. Пастернак, Е. Мурашовой, Д. Сабитовой... Удивительна для меня и уверенность авторов статьи в том, что школа, а не семья формирует круг чтения.

К статье прилагается весьма наглядный список литературы, отчасти объясняющий промахи авторов: в нем фигурируют критические статьи, а не художественные произведения.

Борис Минаев. *Синдром Винни-Пуха*

Автор «Детства Лёвы», один из писателей, предвосхитивших философию «нового родительства», рассуждает о том, на что способна в том числе малохудожественная литература с ее «животным идеализмом», которого так не хватает в детских книгах сейчас. Художественное, с точки зрения Бориса Минаева, не самое ценное в детской книге, безусловно ценны этический ключ и «философский камень за пазухой». А ребенок в первую очередь ждет от книги игры. Минаев говорит об игре как лекарстве от давления коллективной морали, как о способе бежать внутрь себя. Кроме того, он обозначает перепутье, на котором оказались современные российские детские писатели, стоящие между двумя разными «коллективными моральями» — советской и европейской.

Дарья Бобылева. *Неизвестные территории*

Территории действительно для автора неизвестные, потому, верно, тут и заявляется, что задача детского писателя — «обмануть, замаскироваться, чтобы дети приняли за своего». Потому и ведутся — всерьез — рассуждения о книгах для девочек и для мальчиков. Или утверждается, что сочетание детской литературы с фольклором — дело новое.

Ольга Виноградова. *«Baby-НОС» в интерьере*

Одна из самых важных статей в контексте «детской» темы. В центре — проблема взаимодействия полей детской и взрослой литературы, проблема их автономного существования и роль детского НОСа: «Открытые дебаты премии “Baby-НОС” должны были обеспечить “детлиту” подход с непривычной для него меркой,

в идеале — выявить неочевидные для узкоспециализированного взгляда процессы, свершения, ориентиры». Но, увы, план и его реализация разошлись.

Близко к тексту

Ольга Лебедушкина. Вспомнить героя

В рецензии на книгу Эдуарда Веркина «Облачный полк» критик показывает, как автору удается «вспомнить героя» (Лёню Голикова) и написать о Великой Отечественной войне и без казенного патриотизма, и без постмодернистского мифотворчества, тем самым вернув детской литературе героя, переживающего приключения.

Лев Оборин. Непослушные дети и хорошие книги

В целом положительно оценивая книгу Юлии Щербининой «Пособие по укрощению маленьких вредин: агрессия, упрямство, озорство», где детская литература и фольклор используются как иллюстративный материал, Лев Оборин показывает, что используются они не всегда вполне корректно.

* * *

Синяя тетрадь (День и ночь, №№ 3, 5, ДиН детям)

Под рубрикой «ДиН детям» «Синяя тетрадь» публикуются фрагменты творческих работ и сочинений учеников Красноярского литературного лицея и Ачинской интенсивной школы (мастерские И.Н. Челноковой и Н.И. Грязютиной, Марины Саввиных, Елены Тимченко).

Только если девятикласснику можно писать: «Художник без гражданственности мрачный, / Не укажу стране я истин свет. / Без страха же теперь сильней и паче, / О, Русь, используй силу глупой клячи! — / Я напишу пейзажем твой портрет...», — то литературно-художественному журналу нельзя это публиковать. Десятиклассница может написать: «Таким образом, я хотела сказать, что чем больше люди узнают, создают, тем ярче и крепче становится луч истины. И, на мой взгляд, этот луч не погаснет никогда, потому что в человеческих душах искусство будет жить вечно...» — но «толстый» литературный журнал не может (не должен) позволять себе это публиковать. Эпиграф из Ахматовой, объясняющий заголовок рубрики, неуместен: одно дело обернуться назад, на свои детские стихи, и совсем другое — хранить и тем более публиковать их загодя.

Елена Тимченко. Червячок и другие (День и ночь, № 4, ДиН детям)

Если это сказки одного из руководителей мастерской литературного лицея, то содержанию «Синей тетради» удивляться не приходится. Свое посвящение «детским поэтессам» Саша Черный написал больше ста лет назад, но искусство, как пишут ученики Тимченко, вечно: дамы продолжают щебетать. Кто адресат щебета, в данном случае не совсем понятно, потому что в истории о червячке, улитке и сороконожке (разумеется, пересчитывающей ножки) вдруг встречаются такие пассажи: «Вот он и выпендривался перед подружками, которые благоразумно посиживали под листочком». Или: «Уютно разлѣгшись на большом белом грибе, она важно толковала сакральный смысл числа 40». На шутку все это не тянет, на детскую сказку тем более. Даже если закрыть глаза на стиль, что за сказка, где герой спасается «каким-то образом»: «Червячок был такой грязный — мокрый и скользкий и так извивался, что каким-то образом выскользнул из клюва птички, а она даже не заметила и полетела себе дальше»?

«Ребенок, который жил во мне, дожидался своего часа». вольная беседа с автором «Вируса ворчания» при добром участии автора «Чудетства». Беседовал Павел Крючков (Новый мир, № 10, Семинариум)

Беседу с Сергеем Махотиным и Михаилом Ясновым стоило бы взять на заметку в первую очередь редакторам «Синей тетради» и руководителям ребят, чьи работы там публикуются: собеседники вспоминают книгу Вячеслава Лейкина «Каждый четверг в четыреста сорок восьмой», книгу о работе подобной мастерской, где есть место не только обсуждению, и правке, и обучению «словесной технике», но и умению посмотреть на себя, самоиронии. Кроме того, Махотин и Яснов сами очень активно создают поле взаимодействия детских писателей, чтобы те «не варились в собственном соку» в своих разных, далеких друг от друга городах. Для взрослых «толстых» журналов беседа ценна и описанием этого поля, и воссозданием живой атмосферы, для него характерной.

Детское чтение с Павлом Крючковым (Новый мир, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11)

В первом номере журнала за 2013 год завершается обзор поэтических азбук, начатый в 2012-м. Занятие отнюдь не праздное, потому что жанр этот эксплуатируют все кому не лень и выбрать среди тонн рифмованных азбук стоящие читателям-родителям непросто. Крючков сужает их круг до обозримых полутора десятков талантливых, поучительных и погружающих в пространство игры со звуками и словами, в стихию языка, «праздник звука и слова, которым, если внимательно вслушаться и всмотреться, и может стать любовь к родному языку».

В 3-м и 5-м номерах опубликован диптих «Фрида и Фридл» о двух не детских книгах, центр которых — дети: «Девочки. Дневник матери» Фриды Вигдоровой и документальный роман искусствотерапевта Елены Макаровой «Фридл».

В 7-м номере Павел Крючков отмечает юбилей «всехнего» писателя Юрия Ковалю и приобщает читателей к «ковалиным людям», если они еще такими не стали. Приобщает самым верным способом: щедро цитируя, в первую очередь тот фрагмент, с которого началось его собственное знакомство с творчеством Ковалю.

В 9-м и 11-м номерах вниманию читателя предлагается обзор книжной серии «Настя и Никита». Выбрать, какую серию представить читателям, сейчас не легче, чем остановиться на одной поэтической азбуке, однако, по мнению Крюčkова, проекту православного журнала «Фома» «суждено войти в историю отечественной детской литературы. Уж больно хорошо придумано: и традиция присутствует... и возможность привлечения к проекту “взрослых” писателей... и стремление “выращивать” новых литераторов». Несмотря на некоторую трансформацию серии в последних выпусках, в целом уровень публикуемых там книг подтверждает «заявку».

В своих обзорах — произвольных и, казалось бы, прихотливых по темам — Павел Крючков не столько систематически описывает поле детской литературы, сколько включает значимые его фрагменты в общий литпроцесс.

Анна Игнатова. Лесное зеркало (Урал, № 3, Детская)

Небольшая подборка стихов оказалась удивительно разнообразной: тут и шуточные жалобы «домашнего отражения», и лирическая зарисовка о маленьком лесном озере, и «трудноговорки» с «разногоговорками», и антистрашилка «Колдуньи», и даже публицистическое стихотворение на экологическую тему «Недалекое будущее».

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. 52-е февраля (Урал, № 10)

Повесть двух постоянных соавторов опубликована на равных правах со всеми остальными текстами — вне выгородки рубрики «Детская», и в данном случае

это, пожалуй, наиболее адекватный способ представить произведение и, повторюсь, включить его в общий литпроцесс.

По сравнению с другими произведениями Жвалевского и Пастернак, повесть достаточно жесткая, адресована она как подросткам, так в не меньшей мере и их родителям. Темы тут не только «возрастные»: любовь, секс, общение через Интернет и в реальности, умение (неумение) родителей и детей говорить друг с другом, — но и самые что ни на есть общечеловеческие и при этом актуальные для нашего общества: ответственность, готовность помочь знакомым и незнакомым, самостоятельно организовать, не ожидая команды. Есть здесь и пронзительное ощущение уходящего времени — взросление детей диктует и острое экзистенциальное переживание (со-переживание) чужих бед, проблем или радостей, и осознание того, насколько тонка пленка порядка и привычного уклада.

Выстроен текст очень просто: два диалога — отца и сына, матери и дочери, — сходящиеся к финалу, но диалоги эти обрастают историями и деталями, делающими образы и события психологически достоверными.

**Светлана Лаврова. Про Фросю. Рассказы. Марго Синие Уши.
Повесть (Урал, №№ 6, 11, 12. Детская)**

В 2013 году постоянный автор рубрики «Детская» опубликовала здесь милые, но довольно вторичные рассказы про собаку Фросю, где то человеческий мир описывается с точки зрения собаки — «вершины эволюции», то живая сосиска убегает в лес, чтобы стать там зайцем (не из «Несчастливых бутербродов» ли она сбежала?). Повесть «Марго Синие Уши» интереснее сама по себе, но слишком похожа, например, на истории о «Порри Гаттере», а закрытая школа для особо одаренных (сверхидея повести: все дети — необыкновенные) стала уже общим местом в книгах для детей и подростков.

Евгений Ермолин

**Работа впрок: «Знамя», 2013, № 11. Тема номера
«Другой СССР»**

«Возвращение в СССР» — модный тренд, однако прошлое — не возвращается. Даже если кому-то очень этого хочется. Хотя его модные имитации, его более-менее искусные симуляции могут на какое-то время заслонить горизонт. Парадокс нынешнего псевдоразворота, давно уже отмеченного внимательными наблюдателями, в том, что он представляет собой иллюзию в квадрате. Фикцию фикций. С самого начала советское изготавливалось в основном из картона и гипса. Но к 60—70-м годам даже неосязаемая, лишь субъективно ощущаемая связь жизненной витрины с чем бы то ни было сущностно подлинным истончилась и иссякла. Случилось какое-то диковинное энергичное брожение чистой мнимости, уже и не принимаемой за настоящее.

Мне было неотразимо ясным уже тогда: только в неофициозной, андеграундной среде происходила в затухающем СССР реальная, невыморочная жизнь. Туда откочевало все героическое, все прекрасное. Соприкоснувшись впервые с этим миром лет в восемнадцать, я не изменял потом этому убеждению.

Этот опыт жизни помимо мнимости во второй половине XX века очень слабо, к сожалению, актуализирован, хотя пора бы. Тем важнее инициатива редакции «Знамени». На фоне энтузиазма Евгения Евтушенко, из своей американской глубинки хлопчущего о возрождении союзписательских структур, здесь сложилось пространное размышление о настоящих людях советской эпохи и их опыте. Тоже «возвращение в СССР», но с совсем другой целью. Так сказать, материалы к теме, о которой размышляли не так давно авторы второго тома «Истории России XX века», под редакцией Андрея Зубова, — о том, что осталось (и осталось ли чего) русского в СССР после Второй мировой войны, о соотношении России и свободы...

Настоящее не может не быть драматически конфликтным. Оно всегда навывает ранено несопадением идеала и реальности. И свидетельство об этой среде, о лучших людях позднесоветской эпохи, чуждо агиографии. Нужно уйти от эпохи в условно-средние века, как Евгений Водолазкин, чтобы (в «Лавре») написать о современнике, преисполненном внутренних борений, нечто, похожее на житие. Человек XX века не столько искупает грех, сколько ищет и иногда находит способ жить достойно, место подлинности, то, что философы и поэты называли «лицом». Сохранить его требовало мужества, а потерять было довольно легко.

СССР как безысходная реальность внушал нечто такое вроде перманентной смеси отвращения, омерзения и ужаса. Вспоминая, что именно такой душевный замес вызывали у меня тогдашние встречи с незаметными сотрудниками в штатском, въяве, живьем воплощавшими эту безнадежность, я не могу не отдать должного авторам и героям 11-го номера. Стойкость и страх дежурили поочередно. А надежда была отмерена очень скудной дозой; о ее страшном дефиците в XX веке однажды замечательно вспоминала Ольга Седакова. Но гонг ударил — и морок рухнул.

Есть еще один урок. Урок того, как сам по себе замечательный экзистенциальный комплекс жизни вопреки (в духе замечательно пересказанного тогда для нас Самарием Великовским и Эриком Соловьевым Камю или почти неведомого Тиллиха: мужество быть без надежды на победу или успех) обернулся огромной проблемой, когда наступило историческое завтра (его ж никто не ждал). Нужно стало внедряться в живую историю, принимать решения и бороться за будущее сейчас. А не оказалось

ни составленных заранее планов, ни (что даже важнее) воли к сильному историческому действию...

Это, возможно, стоит учесть. Работа 11-го номера — это работа впрок, и прок этот будет. Сегодня я не вижу никакой необходимости смотреть вперед без надежды, хотя бы и необъективированной, не облаченной в конкретные одежды. Современный шутовской балаган с его виртуальными, телемедиными декорациями заслуживает, скорей всего, веселой иронии. Парадная современность так мелка, что встать с ней вровень можно, лишь комически изогнувшись. А зачем?

Андрей Турков

С Пушкиным на дружеской ноге

Бедная Марина Ивановна! Если бы она знала, в какой соблазн введет потомков-пиитов, озаглавив свой очерк — «Мой Пушкин!» Раз Цветаевой можно, почему же и мне бы...

И является на свет «Мой Твардовский» Ивана Савельева (ИПО «У Никитских ворот»), где уже в первом, точно так же названном стихотворении заявлено:

И потому мы с ним теперь близки,
Что с ним иду,
Хотя идти нет мочи...

Последняя строка озадачивает, но быстро сменяется настойчивыми уверениями пишущего в своей совершенной близости с великим поэтом: «боль его — нет горшей боли! — в мои глаза перетекла... песнь его в мою переливалась... Я, как ты, просчетов не боюсь — я дышу, как воздухом, почетом быть с тобой...»

«Беседую с Твардовским не спеша», — сообщается с первых страниц книги, и при этом автор слышит о себе много лестного, несмотря на не всегда благоприятную обстановку. Например, «в Загорье (на родине Александра Трифоновича. — А.Т-в) у его просторных глаз, что выливались в душу с монумента (курсив мой — А.Т-в) ...кругом народ толпился, суета, которая была ему ужасной... И лишь когда остались мы вдвоем...»

Слышу
через годы
Всем нутром своим:
«Ты — Поэт Свободы,
Оставайся им...»

Не этот ли воображаемый, мифический, «его» Твардовский утвердил Ивана Савельева в мысли:

Я — наследник его. Я смогу удержать
Знамя Слова его...?

В стихах, где говорится о знакомстве с дочерьми поэта, читаешь:

И стала явью взоров весть —
Я кланяюсь пришедшей льготе:

(Что бы все это значило, думаешь...)

Твардовский здесь.
Гордеич — здесь.
И Митрофановна — напротив.

(То есть поэт и его родители).

Сидим, сродненные судьбой.

Следует добавить, что сродненным автор чувствует себя со всеми великими:

Духовную связь времен
Каждой строкой отстаиваю.
Как Пушкин. Как Блок. Как он (Твардовский. — А. Т-в).
Одни — мы. Но одиночек
Свет никогда не гас.

«Не с кем нынче, не с кем встать мне в ряд один», — печалится Иван Савельев в наши дни, когда, как сказано в его стихах, кто-то «расставив сети, Русь завел в гарем(?)!».

В одной из вышеупомянутых «неспешных» бесед Твардовский говорит с автором книги, по выражению последнего, «глазами дней(?) обдав глаза мои, готовые к отваге». Действительно, в отваге своего рода, как видно, И. Савельеву не откажешь!

Из стихотворения в стихотворение повторяя, что великий поэт «среди всех! — один стоял, один спасал Литературу... был одиноч... каждый день — одинокий, один... один — перст», автор поначалу бегло и довольно туманно упоминает, что «вокруг суетился(!) народ — писатели “Нового мира”», а в «Послесловии. Прозаическом» (есть и «Поэтическое») высказывается уже вполне откровенно:

«...Когда я стал погружаться не только в творчество Александра Трифоновича, но и в его обычную человеческую жизнь, в ту самую повседневность, которая кажется уже совсем ясной, как казалась она коллегам Твардовского по “Новому миру”, я вдруг понял, что не знали они Твардовского (курсив мой. — А. Т-в), — он был с ними, но в то же время в своем далеке, имя которому — одиночество.

Он сидел рядом, беседовал подолгу с писателями, читал рукописи, журнальные верстки, — одним словом, жил редакционной текучкой, но, живя этой самой повседневностью, он внутренне считал, что все это еще не было полнотой жизни, а было ее усеченным подобием, чему всю жизнь противилась его душа.

Жизнь настоящая, полная была там, где жил человек, связанный с землей, как дерево своей корневой системой связано с почвой...

А какая почва у них (новомирцев, «коллег» и авторов? — А. Т-в)?

Внешне — почва.
Внутренне — верхний слой».

Винюсь за пространность цитаты, но она необходима, чтобы читатель убедился, что «наследник» великого поэта и редактора не знает или не хочет знать действительной «повседневности» его журнала, той пресловутой «текучки» и «суеты», в которой — во многом стараниями самого Александра Трифоновича — «доспевали», дорабатывались замечательные произведения тех лет.

Одним махом отказано в сколько-нибудь глубокой «корневой системе» — если не буквально всем «писателям «Нового мира» (названы же в стихах «Айтматов, Быков да Абрамов. Еще — десятка два имен!»), то уж внутриредакционным «коллегам» — наверняка. Какая давняя, изрядно поднаоевшая песня и какая подобная же размашистость в некоторых соседствующих оценках, на сей раз «поэтических»:

Ведь кукурузник, мать его... ушел.
И нет заславских, кажется, в науке.

Уже Хрущев в контексте судьбы великого поэта выглядит совсем не однозначно: без этого «кукурузника» не проглянул бы ни «Один день Ивана Денисовича», ни пробилась бы к читателю и «Теркин на том свете»! А употреблять во множественном числе да с маленькой буквы, как некогда в сталинские времена каких-нибудь «Черчиллей», имя прекрасного ученого — академика Татьяны Ивановны Заславской просто стыдно!

Иван Савельев широковещателен: он, оказывается, «слава Богу, нашел ключ к его (Твардовского) тайне». Уж не этот ли? —

Он путем, известным
Мне —
Обоим нам! —
Входит
 в душу
 жестом
Слова. После — сам.

Читаешь: «словно вмиг вобрав в себя зарю родного слова, что глядит с надеждой (на автора? — А.Т-в), по русскому иду я словарю». А рядом:

Я кладу на плаху стих,
Пусть узнает — в испугленье:

Две недели — между них (июньских дат рожденья Пушкина и Твардовского. — А. Т-в), —

Вечность — рядом,
Как мгновенья.
.....
Когда Смоленск сияньем куполов
Глядит в глаза...
Я...
Душой ему раскланяться готов (курсив мой. — А. Т-в).
.....
Слезу горячую утру
И том его, слезясь (!), открою.

И это называется — «смогу удержать Знамя Слова его — светоносное знамя»? Не ближе ли к истине невзначай оказался автор книги, сказав, что кладет стих на плаху?

рецензии

Память жива

Эдуард Кочергин. *Записки Планшетной крысы*. — СПб.: Вита Нова, 2013.

Спросите мальчишку-дошкольника о самых значимых людях в жизни — он, конечно же, назовет маму с папой и бабушку с дедушкой. Еще — любимую воспитательницу в детском саду, красивую девочку Настю из его группы, друга Сашку из второго подъезда и какую-нибудь тетю Свету — мамину подругу, которая всегда заваливает сладостями. Задайте этому пареньку аналогичный вопрос лет через двадцать — список точно изменится. И станет куда обширнее. Родители, скорее всего, останутся, а вот на место тети Светы и красивой девочки Насти придут совсем другие люди. Еще через пятьдесят лет вчерашний мальчишка перечислит вам десятки замечательных людей, встретившихся на его пути и оставивших неизгладимые следы в его памяти.

Запоминаются всегда наиболее яркие личности. Вы вряд ли сможете назвать абсолютно всех своих одноклассников, однокашников и товарищей с прежних мест работы. Впрочем, среди них непременно отыщутся те, о ком стоило бы поведать публике.

Читать мемуары людей известных интересно вдвойне. На страницах воспоминаний знаменитых музыкантов обязательно найдутся имена их коллег и личные истории, связанные с увенчанными лаврами приятелями. Прославленные писатели неизбежно поделятся байками с участием своих друзей — таких же прославленных писателей и поэтов. Ну а опытные политики раскроют факты, о которых никогда не расскажут в учебниках истории.

Новая книга Эдуарда Кочергина «Записки Планшетной крысы», автобиографические рассказы из которой публиковались в «Знамени» в 2010—2012 годах, — мемуар своеобразный: большинство героев — знаменитых личностей — уходит на второй план, уступая место людям, привыкшим всегда находиться за кулисами.

На протяжении сорока с лишним лет Кочергин занимает пост главного художника петербургского Большого драматического театра. Судьба свела его с выдающимися режиссерами и легендарными артистами, однако «Записки Планшетной крысы» в значительной мере посвящены вовсе не им, а маленьким, зачастую даже малоизвестным людям, благодаря которым живет театр.

«Планшетная крыса — шуточное внутритеатральное звание. Присваивалось оно опытным, талантливым или, как говорили в стародавние времена, хитрым работникам театрально-постановочных частей и декорационных мастерских». Таким образом, одна Планшетная крыса решила нам поведать о своих коллегах, заслуживающих право носить этот необычный титул.

В первой главе с характерным названием «Осколки памяти», которым, по идее, можно было бы вовсе назвать всю книгу, автор сравнивает театр с большим кораблем. Чтобы корабль уверенно шел по морским просторам, нужен не только опытный капитан и знное число матросов — должна быть слаженно работающая команда. В системе важен каждый, даже самый маленький винтик. Имена этих «винтиков» Кочергин и начинает перечислять. Вот «боцманы» — машинисты сцены Быстров, Велимеев и Азриэли, вот великолепный плотник Сильвестров, вот «театральные немцы» Гофман и Нейгебауэр, вот гениальные художники-исполнители Мешков и Зандин, вот художник-макетчик Николаев, вот аппликаторша и бутафорша Каренина, вот «капитаны театрально-постановочного дела» Герасименко и Куварин, вот «классики театрального света» Климовский и

Кутиков... Для каждого, с кем в разные годы довелось поработать автору, он находит добрые слова. Даже несмотря на то что с некоторыми Кочергину приходилось ругаться и спорить, он безоговорочно признает их мастерство и профессионализм.

Уже в первой главе начинают проскальзывать достаточно горькие мысли, которые повторяются в книге несколько раз. Суть их можно свести к строчкам Лермонтова: «Да, были люди в наше время, // Не то, что нынешнее племя...». Автор отмечает, что многие сегодняшние работники театра — не чета большим мастерам эпохи его молодости. Они трудились сами, не переваливая работу на младших коллег. Они не требовали дополнительной оплаты за изобретенные и прекрасно реализованные творческие идеи. Они не гнались за званиями и наградами. Они служили настоящему искусству, а не отработывали оговоренные по договору часы. В повести «Медный Гога», входящей в книгу, автор замечает, что сейчас «от нас, художников, нужна элементарная оформилка, не более того», хотя раньше режиссеры выстраивали целую постановочную философию и ставили работникам сцены сложнее и в то же время невероятно интересные задачи.

Что же это — распространенное среди людей с опытом мнение: «В наше время даже солнце светило ярче...» или все-таки справедливая обида на новую формацию театральных деятелей, заменивших серьезное искусство скандальными перфомансами?

Кочергин намеренно уходит от подобных мелких споров, предпочитая уделить побольше места на страницах книги незаметным и незаменимым театральным волшебникам минувших десятилетий. Столяры, макетчики, рабочие сцены, художники находили настоящее счастье в работе, создавая своими руками маленькие шедевры.

Профессиональные литераторы и издатели начинают читать любую попавшую им в руки книгу не с обложки и титульного листа, а с выходных данных. Кто выпустил издание, кто редактор, кто верстальщик, в какой типографии печаталось. Это важно, хотя рядовой читатель может до таких сведений, набранных мелким шрифтом на последней странице, и не дойти.

Кочергин с огромным уважением и даже любовью открывает нам не только имена, но и истории жизни почти невидимых театральных работников советских лет. У каждого из них была своя насыщенная событиями оригинальная судьба. Профессиональный химик Булатов, создававший уникальные краски для театральных костюмов и декораций, обожал оперу, великолепно готовил и владел искусством вырезания из бумаги. Неразговорчивый столяр-вепс Щербаков, потрясающе орудовавший маленьким топориком, героически прошел Великую Отечественную. Художник Клавдий Ипполитович по прозвищу Бегемотушка оказался настоящим знатоком и ценителем старинных вещей. Макетчик Николаев, чье детство пришлось на суровые блокадные годы, стал Кочергину надежным и верным попутчиком в странствиях по русскому Северу. Многие истории, увы, заканчиваются печально. Щербаков, так и не дождавшись внука-наследника, которому можно было бы передать свой чудо-топорик, отправился в последний путь в сделанном собственными руками гробу. Жизнь Бегемотушки оборвалась до суда за спекуляцию антиквариатом. Артист Шамбраев, придумавший удивительный театр кур, умер от инфаркта, когда его выжили из квартиры и съели его дрессированных несущек. Не успел довести до ума свой медвежий театр цирковая легенда Филатов. А король клоунов Хасан Мусин начал спиваться после нелепой и страшной уличной истории с бутафорским наганом, «убившим» грабителя.

Существенная ценность книги заключается именно в том, что автор «Записок...» возвращает к жизни забытые многими, а то и вообще неизвестные имена. Однако неизвестные имена в произведении тесно соседствуют с известными. Образно говоря, автор открывает перед нами двери в мир знаменитостей советской эпохи, с которыми ему было суждено вместе работать какое-то время. Читатель может узнать такие вещи, о которых в официальных биографиях обычно умалчивается. К примеру, режиссер Борис Равенских, хоть и обладал жутко сложным характером, всегда твердо знал, чего хотел, и умел ставить точные задачи. Настоящий «мудрец древнего цеха актеров» Олег Борисов также предстает в книге в новых, глубоко личных образах. Несколько закулисных тайн откроет нам автор в повести «Медный Гога» — и тайны эти будут связаны с именами Ефима Копеляна, Сергея Юрского, Владислава Стржелчика. Сама же повесть занимает в книге особое место. Посвящена она Георгию Товстоногову и построена в форме диалогов авто-

ра с памятником Мастеру, установленным несколько лет назад в центре Петербурга. Каждая «повиданка» с «Медным Гогой» вызывает воспоминания об этапах совместной работы. Общие замыслы, репетиции, спектакли, зарубежные поездки... Было много сложностей и преград, однако достижения и победы все компенсировали. А сейчас БДТ уже не тот, да и великие мастера уходят.

Люди посещают кладбища, чтобы постоять возле могил ушедших близких, вспомнить славные моменты из прошлого, когда все были живы, рассказать о нынешних делах. Примерно так и происходит общение Кочергина с умершим почти двадцать пять лет назад Товстоноговым.

Памятник Георгию Товстоногову стоит в сквере, носящем его имя. Его же имя в 1992 году присвоено Большому драматическому театру. Хочется верить, что благодаря «Запискам Планшетной крысы» оживет и память о малоизвестных театральных мастерах, чьи имена и фотографии приводит в своей книге Эдуард Кочергин.

Станислав Секретов

Вместо трактата

Лариса Щиголь. Избранное. — М.: АдамантЪ; • котт, 2013.

Дух поэзии невоспроизводим никакими иными средствами, кроме самой поэзии. Однако можно указать некоторые формальные признаки настоящего стихотворения, а главное — оно предоставляет читателю возможность неожиданного эмоционального открытия. Именно таковы многие стихотворения в новой книге Ларисы Щиголь. Каждое из них заслуживает небольшого литературоведческого трактата: лексика, синтаксис, новаторство в рамках традиции, особая интонация, глубокие литературные и общекультурные ассоциации... Словом, читайте обстоятельную статью Ю. Малецкого о поэзии Ларисы Щиголь в № 136 «Континента» за 2008 год.

К сожалению, в наш век эсэмэсок и Твиттера, когда краткость — не просто сестра таланта, но необходимое условие восприятия, трактат как жанр обречен на вымирание. Читатель, привыкающий к сплошному чириканью («tweet» означает «щебетанье»), еще найдет в себе силы пристально взглянуть в какой-то один текст Ларисы Щиголь — но не более того. По счастью, она пишет немногословно, так, что почти на каждой странице «Избранного» уместилось по целому стихотворению. И в каждом из них — уникальный опыт и тонкая поэтическая работа. Например, нижеследующие двадцать четыре строчки под заглавием «Из серии “Жизнь в искусстве”»:

Рояль дрожащий — под седло, —
И в путь, зимою.
Кому-то, может, запаadlo,
А я — помою.

Оно и стоит поскрести
Полы в сортире,
Поскольку “Зимнего пути”
Нет лучше в мире.

Не пострадает мой престиж —
Не склонен к чувствам,
А ты, дружок, меня простишь,
Пожив искусством.

Добыча плавно перейдет
В рубли и кроны,

А с нас корона не спадет —
Нема короны.

Да и завидовать не след
Судьбе монаршей.
Что ж — Шуберт? — помер в тридцать лет.
Но мы — постарше.

Авось свинья не сложет нас,
Равно как мойры...
А в среднем там выходит в час
Четыре ойры.

Стихотворение написано в Мюнхене в 2002 году, на шестой год эмиграции Ларисы Щиголь в любимый город фюрера (так столица Баварии названа в подзаголовке журнальной публикации ее «Песенки о городе М.». На первый взгляд, оно про горькую долю российского экспатрианта: мыть сортиры, испытывая тягу к великому искусству, — но это только наружный слой.

Слова *рояль дрожащий* — цитата из Пастернака — намеренно выделены курсивом: так всегда у Щиголь, шепетильно следящей, чтобы, не дай Бог, не заподозрили в краже пусть даже одного слова. (В другом стихотворении она жестко постулирует эту позицию: «Чужое слово? Не бери, / На место положи.») Но здесь образ рояля, только что облизавшего пену с губ, использован по-своему: на каком еще коне можно отправиться в путь за музыкой, которой нет лучше в мире? А на то, что путь идет через западло — большинство постсоветских эмигрантов весьма болезненно переживают утрату бывшего социального статуса (как правило, воображаемого), — поэту наплевать: его (ее) никакая сортирная грязь коснуться не может.

Высокая цель — «Зимний путь» Шуберта — это «унижение» более чем оправдывает. Ведь поход (тоже, кстати, зимний путь) за добычей затеян не ради себя — ради другого, который в результате сможет пожить искусством. Так появляется тема любви, нежной любви самоотверженной женщины (еще не преданной дружкой — об этом не сказано ни слова, но предчувствие предательства почему-то возникает), подчеркиваемая мелодией стихотворения, такой же, как у пастернаковского, опять-таки зимнего: «...Метель лепила на стекле / Кружки и стрелы...».

Но Щиголь тут же одергивает самое себя трезвой иронией. Любовь любовью, а добыча добычей — реальные рубли и кроны. Впрочем, погодите — какие рубли и кроны мерещатся лирической героине в городе М. двадцать первого века? А те самые — заработанные поэтом Пастернаком в Москве двадцатого и композитором Шубертом в Вене девятнадцатого столетия. Как ни крути, а искусство — тоже способ добычи, ничуть не худший, чем, пардон, мытье сортиров — и притом во все времена. И мечтательное жить искусством не значит ли поэтому — «за счет искусства»?

А если кто-то воображает себя принцессой или королевой — продолжает язвить собственную душу Щиголь, — то это зря: корона не спадет по причине ее первоначального отсутствия. Для особо непонятливых повторим с украинским оттенком: нема короны. Благо киевлянке Ларисе Щиголь украинский язык если и не родной, то очень близкий.

Так что не будем завидовать ни королям, с которых корона порой спадает вместе с головой, ни Шуберту, кто помер в тридцать лет: мы ведь его пережили, и намного. Преимущество, вообще говоря, сомнительное — однако почти все, собранное в этой книге, написано Ларисой Щиголь в возрасте, когда давно и сильно за полста, как беспощадно констатирует она в одном из самых откровенных своих стихотворений. Немногим поэтам, даже очень большим, судьба даровала такое плодотворное долголетие. При этом из того, что она создала ранее, до эмиграции, не опубликовано практически ничего — стихи молодости остались там, в недосыгаемом теперь прошлом: книга заканчивается строчками: «Ибо Север есть Север, а Юг есть Юг, / И с места им... и т. д. Да и нам — ни с места».

Правда, в задуманной зимней экспедиции возраст пока не помеха: по пословице, Бог не выдаст свинья не съест. Так сказала бы та, которая без короны, — но хорошо зна-

ющая античную мифологию лирическая героиня Щиголь взывает непосредственно к трем *мойрам*, языческим богиням судьбы, олицетворяющим неотвратимый рок. А затем постоянно присутствующий в стихотворении внутренний диалог возвышенного — роль, Пастернак, «Зимний путь», любовь, мойры — и трезвого иронического взгляда на действительность завершается практическим подсчетом: «...в час / Четыре ойры». Диалог ведется и на уровне языка: в ход идут даже уродливые «ойры» (по-немецки «eugo» читается как «уйро»), порождение русско-эмигрантского наречия в Германии.

Рассказывают, что основатель палеонтологии Жорж Кювье мог полностью восстановить анатомию организма по одной-единственной его детали. Такой способ — составить представление обо всем творчестве автора по одному стихотворению — в областях гуманитарных, конечно, менее надежен (да и где взять эрудитов-филологов уровня натуралиста Кювье?), но все же главные для Ларисы Щиголь *темы и вариации* различить удастся. Среди них: любовь немолодой, одинокой и очень умной женщины; погружение в литературу и искусство; абсолютное чувство русского языка; всепроникающая ирония; трагедия жизни под родным небом, ставшим чужим, и под чужим небом, так и не ставшим родным; острое ощущение уходящего времени — и нечто иное.

Иное — сама поэзия, существо которой не получится препарировать и каталогизировать методами науки об ископаемых. Нет, например, никакой гарантии, что предложенная выше трактовка стихотворения Ларисы Щиголь единственно правильна или хотя бы адекватна замыслу поэта. Ее стихи — живые, изменчивые и очень современные, хотя глубоко укоренены в русской классической словесности.

Реминисценции русской поэзии пронизывают новую книгу Щиголь насквозь: не только Пастернак, Мандельштам или Бродский, но и Тютчев, Языков, Вяземский, Баратынский, не говоря уже о Пушкине и Лермонтове, — постоянные ее собеседники. Особенно — Блок, ловец слов: «...ну да что же, кто бы душой кривил: / Слабые тоже, но сильные как ловил!». Опознавательные знаки поэзии, канонизированные Блоком, присутствуют в том же качестве и у Щиголь, но ее соловьи звучат совсем по-другому: «...Отчаянье свистит в кустах сирени / Как минимум не хуже соловья». И символ вознесения плоти посреди зимней вьюги видится ей иначе: «...И шагает братишка-матрос впереди — / Пулеметные ленты крестом на груди». А впрямую процитированное «Холодно, товарищи, холодно» становится не просто декоративным элементом стихотворения, создающим настроение, но предвестием реальной гибели: «Это старуха-смерть свои выбирает цели, / Одиннадцать тысяч выбрала, следующая — я». Идет переключка поэтов, и порой — на равных.

Однако вознестись так высоко («Я бы жила бы тоже на потолке...») Ларисе Щиголь не позволяет боязнь пафоса и врожденное свойство самоиронии. Поэты для нее — прекрасные птицы, поющие потому, что не могут иначе; но себя она сравнивает не с жарптицей или хотя бы с однофамильцем-щеглом, а с другим *alter ego*: «...Привет, ворона! / Смотри, мы даже движемся синхронно...». О собственных же произведениях отзывается и вовсе уничижительно — *стишки*, — да так, что порой оторопь берет: «*Стишки приходят ночью, как клопы, / И этим тварям незнакома жалость*»... Впрочем, не верьте: Щиголь прекрасно сознает ценность истинной поэзии — и своей в том числе: «*Что задаром дано соловью и розе, / Недоступно и самой тончайшей прозе, / А стишку — вот ему иногда дано*». И поэт готов платить по запросу за стремление к вечно ускользающему совершенству, потому что «...тем, кому судьба литература, / Характер — и тем более судьба».

Сказано на уровне афоризма, к которым Лариса Щиголь вообще склонна: *важно призвание, а не талант; не каждая Троя удостоится пасть в бою; жизнь, пожалуй что, гемма — скорей, чем камень* — с этими формулами можно соглашаться или полемизировать, но в память они ложатся прочно. И после строчек «...Крылами бьет моя Победа / С отрубленной головой...» уже нельзя больше воспринимать ликующий полет Ники Самофракийской только как эталон античной красоты — не думая о смерти и крови, всегдашних спутниках военного успеха. А евангельский образ соли земли вытесняется из сознания солью небесной — единственным наследием ушедших родителей, «...сгодившихся, чтоб стать небесной солью / На черном круге выжженной земли». Для породнившихся со стихами «Избранного» — то есть отобранными, лучшими, любимыми, предпочтенными Ларисой Щиголь — мир изменяется: пусть немного, но необратимо.

И поэтому при мало-мальски благоприятном попустительстве Атропос, мойры, перерезающей нить жизни и определяющей будущее, поэзия Ларисы Щиголь имеет шанс оставаться живой еще долго — разумеется, *ИМХО*, как написали бы нынче в Твиттере.

Григорий Никифорович
Сент-Луис

Это сказал поэт

Д.А. Пригов. Монады. Собрание сочинений в 5-ти томах. Т. 1. — М.: Новое литературное обозрение, 2013.

«Новое литературное обозрение» взялось издать «неполное собрание сочинений» Дмитрия Александровича Пригова, как заявлено — в пяти томах. «Монады» — первый том, и весьма внушительный: фрагменты росписи Сикстинской капеллы на обложке, серьезная вступительная статья на сорок страниц и, помимо стихотворений, эссе и пьеса, которую автор называет *не совсем пьеса*, и роман «Катя Китайская».

Книга имеет подзаголовок — «Как-бы-искренность» — что, в общем-то, и характеризует содержание. Пригов объяснил такой выбор понятия в Предупреждении к текстам «Новая искренность» — и объяснил, видимо, очень неплохо, потому что если задаться целью разобраться что к чему, и что эта искренность собой представляет, то окажется, что приговское предупреждение цитируется в каждой второй статье на эту тему. Так что, Дмитрию Александровичу как очень уважаемому автору можно в таких вопросах доверять.

О понятии *монады* и о том, что имел в виду Пригов, когда называл так свои тексты, и почему такое название заслужил целый том, рассказывает Марк Липовецкий во вступительной статье, которая так и называется — «Практическая «монадология» Пригова». Здесь не обошлось без имен Славоя Жижека, Жюль Делеза, ну и Лейбница, конечно, хотя не уверена, что такое внимание к категории монады что-то решает в понимании поэзии Пригова. Статья — о превращении литературы в перформанс, о мотивах и приемах концептуального творчества, для разъяснения которого привлекаются французские антропологи и постструктуралисты, отчего даже простые суждения становятся сложными и облакаются в какую-то уж слишком изощренную форму, что явно никак не способствует подготовке к подобной поэзии, да и не очень-то эта подготовка нужна. Думаю, что скорее надо воспринимать эти стихотворения моментально — по первой ассоциации, по первому ощущению, которые наверняка будут верны, в отличие от тех, которые возникнут после уже имеющихся суждений и ожиданий. В предупреждении к своим «Монадам» Пригов сам дал подсказку: «Не следует воспринимать все впрямую, как сказано. Надо воспринимать, как не сказано. Да это понятно и любому непросвещенному». То, что не сказано, — это и есть реакция, продолжение, которое родится в голове у того, кто читает и воспринимает приговскую поэзию. Оно будет неслучайным и наверняка безошибочным, ему как раз и следует довериться.

Открывать книгу, по-моему, можно в любом случайном месте и начинать читать откуда вздумается. И лучше читать понемногу. Что вам может попасться:

Я шел, огромный бык с рогами
Навстречу двигался угрюм
За ним вздымался черный камень
В глазах его светился ум
И было нам не разойтись
Я безнадежно глянул ввысь
Там было написано:
Все будет нормально

Или:

Как-то во сне я убил человека.
Он жалобно стонал.
Я ему сказал: Молчи, ты мертв! —
Докажи! — отвечал он.
Только теперь я понял, что это было обращено на меня — в
смысле,
Докажи, что ты мертв

Пригов пишет про веник, про полуфабрикаты, про прогулки по Садовой, про женщину, которая пихается в метро. И в целом все кажется не очень сложным, все равно это об одном и том же — поэт и поэзия, бог, судьба, жизнь, смерть, Россия... Все эти темы проявляются в процессе наблюдений за самым непоэтическим, невозвышенным, за каждодневным окружением человека.

В трамвае настигает поэта ужас от потерянного смысла жизни (00087): «Уже потом я осознал сознанием: / такие ценности как смысл жизни / таким вот легкомысленным созданием / как человек, в отдельное владенье / нельзя давать».

Тонкое чутье собачьего носа наталкивает поэта на мысль о смерти (00122): «Я часто думаю: неужели / Мы все уйдем, нас не будет снаружи! / и даже мой пес нашего запаха не обнаружит».

В общем, все то, о чем поэты писали всегда: «Вот какая пора / Что пора мой друг пора».

Пушкина, Блока, Маяковского и прочих, кстати, Пригов часто вспоминает и упоминает. Есть у него даже опыт выкидывания гласных из известных стихотворений разных классиков.

Трудно цитировать коротко, потому что из стихотворения Пригова слова не выкинешь, и не выдернешь строчку, в которую бы укладывалась основная мысль.

Выходит слесарь в зимний двор
Глядит: а двор уже весенний
Вот так же как и он теперь —
Был школьник, а теперь он слесарь
А дальше больше — дальше смерть
А перед тем — преклонный возраст
А перед тем, а перед тем
А перед тем — как есть он слесарь

Чтобы проанализировать и охарактеризовать поэзию Пригова, обычно приходится говорить не по-русски, это можно заметить и во вступительной статье этого издания, да и в текстах поэта о себе: «всю свою жизнь старался транспонировать визуальные идеи во все время остававшую сферу вербальности» (Пригов Д.А. Вместо автобиографии. Стр. 47), «перформанс практического субъекта — наиболее близкий к самой практике, изоморфный ей способ художественного исследования» (стр. 17). Если перевести все это на человеческий язык, то получится вот что: 1) Пригов, который в первую очередь художник («визуальные идеи»), взялся облекать картинки в словесную форму. 2) Перформансы — это просто попытка применить свое видение и идеи на практике, показать, как они работают, потому что это не застывший результат творчества, а процесс творчества и одновременно его исследование. Но поскольку мы имеем дело с чем-то концептуальным, то и выглядит все это описание очень сложно.

Если почитать о поэзии Пригова перед тем, как почитать его стихи, можно испугаться, а ведь стихи складываются из простых и понятных каждому слов.

Думаю, неуместно и неправомерно говорить о роли приемов и методе Пригова, пытаться объяснить воздействие такой поэзии, и, наверное, любой другой тоже, через попытки проанализировать ее теоретически — какие слова, как подобраны, почему, что из написанного — хулиганство, игра, а что — серьезно. Можно, конечно, порассуждать и о лексике, и о ритмике, и об излюбленных приемах автора, но даже при детальном разборе самого главного не ухватить. Кажется, что главное — это то внезапное настроение,

которое ловишь при прочтении. А уж откуда оно берется — от сочетаний сбивчивого ритма и разговорных словечек, от обывательских бытописаний, контрастирующих с мыслями о неизбежной смерти, от анекдотичных ситуаций вперемешку с глобальными проблемами — имеет ли вообще значение, почему эти стихотворения вызывают те или иные эмоции. Тем более что у каждого они будут свои.

В любом случае читать надо быстро и понемногу (недаром стихотворения короткие и ритмичные) — реакция либо есть, либо нет. Впечатление сложится моментально. Есть огромное количество текстов — что-то будет смешно, а что-то будет грустно, что-то, скорее всего, будет отвратительно. Еще в книге есть несколько списков — «Что меня поразило», «Чего я стеснялся», «Где я и что я». Очень познавательно.

Роман «Катя Китайская» — это последняя часть трилогии о разных странах (что очевидно из названий), разных людях, с разными размышлениями и наблюдениями вроде бы одного и того же рассказчика, который недалеко отстоит от образа автора. Предыдущие части «Живите в Москве» и «Только моя Япония» в этот том не вошли. Роман написан очень ровно и спокойно, и в нем нет всего того «приговского», что делает узнаваемой его поэзию.

Завершает издание приложение с рисунками Дмитрия Александровича Пригова. Автопортрет, композиция из двадцати четырех листов, серия со стульями из двадцати шести листов, и еще серии «Тибет» и «Яйца». Рисунки разных лет — шестидесятых, девяностых, двухтысячных. Объяснить их, как и все остальное в книге, можно только так:

Это прекрасно не потому,
Что это стих и ошибок нет,
Это прекрасно потому,
Что это сказал поэт.

(00109)

Алина Гаппасова

Противо-речи

Р.М. Рильке. Малое собрание сочинений в 7 книгах. Книга седьмая. Переписка с Мариной Цветаевой. Перевод с немецкого и комментарии Н. Болдырева. — Челябинск, 2013;
Андрей Северский. Мост. — Челябинск: Студия «Единорог», 2013.

Странная книга переводов, в которой письма занимают только 78 страниц из 264, остальное — принадлежащая переводчику яростная критика Цветаевой и апология Рильке. В чем только не обвиняет Цветаеву Николай Болдырев. В чрезмерном самомнении, неумении любить (вместо этого — стремление господствовать над человеком, в том числе и посредством словесности), поклонении силе (от Наполеона до Пугачева), пренебрежении окружающими, неумении видеть мир обыденного, фальшивом актерстве. Болдырев не может простить ей неверия в Бога. Этический момент у Цветаевой (например, насколько важно для нее было понятие совести) Болдырев игнорирует — видимо, считая ее пропащей душой, что бы та ни говорила. Причем Цветаева для Болдырева — лишь пример современной литературы, которая вся зашла в тупик, оторвалась от корней, утратила остатки религиозного измерения, погрязла в эгоцентризме и т.п. Достается и Пастернаку («перевозбужденный половой инстинкт, брошенный в сферу словесности, — вот что, по существу, есть та «сила, что учит вкусу» у раннего Пастернака»), и многим другим. Последний Поэт для Болдырева — Рильке, умевший общаться с призраками и душами умерших, выходить «по ту стороны природы», смотреть на мир «глазами ангела». Узость взгляда очередного фундаменталиста?

Нет, все гораздо сложнее. Немецкие письма богомерзкой Цветаевой Болдырев прекрасно воссоздает на русском, тщательно отмечая и языковую игру (ругая ее «поэтико-душевному волейболом», но продолжая отмечать). Такая честность заслуживает уважения. Честность не дает и уклоняться от вопросов. Несомненно, Болдырева очень беспо-

коит: почему Рильке оказался увлечен Цветаевой? «Принял я тебя своим сердцем, всем своим сознанием, которое потрясено тобою, твоим приходом, как будто вместе с тобою сердечным потоком на меня обрушился твой великий со-читатель океан»; «о, как ты меня перерастаешь и переовевашь высокими флоксами твоего словесного лета!»; «я люблю и восхищаюсь точностью, с какой ты ищешь и находишь»; «я хотел бы писать, как ты, сказывать по-твоему, с помощью твоих таких сдержанных, но при этом таких эффективных средств». Болдырев пытается объявить это «ритуально-куртуазной вежливостью», объяснить женственностью натуры Рильке, «готовой стать партнером в диалоге, исходя из соучастия». Но даже в письмах любимым поэт не говорил, что хотел бы писать, рисовать или сочинять музыку, как они. К Цветаевой обращена замечательная элегия Рильке, которую Болдырев предполагает всего лишь полемикой «единственно приемлемым с дамой путем» — но из одной полемики (тем более из вежливости) такое написать невозможно. И когда Рильке хотел, он возражал твердо и открыто, например, когда Цветаева стала претендовать, чтобы представлять Россию только собою. Остается малопримлемый для Болдырева вывод: Рильке был увлечен мгновенной подвижностью Цветаевой, ее страстностью, и, конечно, пластичностью ее языка (даже неродного немецкого). Разумеется, для Рильке голос Цветаевой был лишь одним из многих — но достаточно важным. В какой-то момент не выдерживает и Болдырев: «и все же в явлении Цветаевой есть некая иррациональная красота, пребывающая за пределами всех критериев и оценок. Порыв и страдание, грандиозные сами по себе. Некий кристалл, выросший без спроса и без оглядки и продолжающий расти в очевидную пустоту».

А далее — приложение. «Между куклой и ангелом». Рильке, большие фрагменты его писем, писем и книг тех, кто его любил (пианистка Магда фон Гаттингберг, художница Лу Альбер-Лазар), кто его опекал (княгиня Мария фон Турн-унд-Таксис), кто его понимал (Лу Андреас-Саломе). Исследование попыток Рильке найти сложнейший баланс между близостью и одиночеством, душой и телом, любовью и творчеством, открытостью и уединенностью — и еще множеством других полюсов. Трудный путь, вызывавший у поэта не только душевную, но и физическую боль. Сопровождавшийся множеством неудач. «Потоки нежности сменялись у Рильке депрессиями». Магда фон Гаттингберг пишет: «Рильке научил меня вновь говорить жизни “да!”, он сделал ее радостной, <...> он обогащает мое понимание всего, от мельчайших и невзрачайших вещей до красот природы и людей» — и он же «является всего лишь великим страдальцем, беспомощным, не могущим вынести той самой жизни <...>; часто хочется помочь ему, словно ребенку, которого берут на руки, приговаривая: успокойся, все хорошо». Другим с ним было не легче. Рильке говорил, что, любя другого, «любил простор в его лике» — легко ли любимому человеку выдержать такой взгляд сквозь него? От любимой требовалось и быть рядом, и оставлять в одиночестве, в котором человек только и может расти — растерянная фон Гаттингберг просит: «Милый, научи меня сложному искусству пребывать одновременно здесь и не здесь!» Невозможно — но, с другой стороны, без этого ничего не получится. «Даже в самой прочной любви случаются мгновения, когда один из двоих ускользает от другого, чтобы, чаще всего, возвратиться обогащенным» — это уже Болдырев.

При этом личность он понимает лишь как эгоизм — но не как личный взгляд и личную ответственность. Различия Болдырев отрицает: «Все это множество, воистину бесконечное, есть один-единственный объект, где все различия — микроскопически-иллюзорны». Но так человек закрывает себе дорогу ввысь, которая только с помощью лиц (людей и предметов) и идет. Идеал для Болдырева — миф, «медленно восходящие круги естественно-природной цикличности, где каждый раз восстанавливается в крови вся полнота памятования о священных предках и богах-учителях». Но в таком мире личная поэзия (Рильке в том числе) невозможна — лишь повторение канона. Болдырев пишет, что Рильке устремлен к смыслу, а не к красоте. Да, но без внимания к оттенкам языка, создающим смысл и красоту, вместо «Сонетов к Орфею» и «Дуинских элегий» были бы одномерные проповеди, каких миллионы. И ту самую личную сложность, которой Болдырев теоретически не признает, он практически показывает в Рильке и его окружении. При честном взгляде (и независимо от риторики Болдырева) оказывается, что Рильке (как и Цветаева) был не слишком готов нести ответственность за реального человека («лишь в общении с Богом я чувствую легкость» — пишет Рильке: еще бы, Богу Рильке от

него нужны только стихи). Порой столь же «придумывал» любимого человека, не обращая внимания на реальность. Столь же быстро заканчивались разочарованием его влюбленности.

Болдырев часто настаивает на особом преимуществе русских за счет их православной духовности. Но Рильке, близкий скорее к буддизму (с дзенем его нередко сопоставляет сам Болдырев), потребовавший в завещании отсутствия священника на своих похоронах, — вряд ли приемлем для православного. Да и сам Болдырев говорит, что «стихи — лишь направление движения, вектор устремленности, а не само достижение, поскольку ни один путь никуда не ведет», и соглашается с тем, что Рильке это «направление экзистенциально-приватного движения именовал Богом» — от христианской догматики (собственно от религии) тут не остается ничего.

Да, сущность истины для Рильке «мерцательна, сочетая в каждой отдельной ноте два формально противостоящих, но глубинно тождественных полутона; подобно жизни и смерти». Только скорее не два, а двадцать. Например, кукла: одновременно и данный ребенку пример молчания Бытия, и недо-вещь, на которой слишком легко научиться обращаться с людьми, как с куклами, и повод для воображения, и фальшь — и сколь многое еще. Все-таки двадцать пять лет, которые Болдырев отдал Рильке, стоят немало. «Переписка» — седьмая книга изданного Болдыревым собрания сочинений Рильке, где есть и стихи, и проза, и из комментариев к этим текстам можно, несомненно, немало почерпнуть. Книги можно заказать (miusot@yandex.ru). Что до многих взглядов Николая Болдырева — никто не идеален, ни Цветаева (увы, обвинения Болдырева далеко не всегда беспочвенны), ни Рильке, ни Болдырев. В конце концов, эти взгляды более всего ограничивают самого Болдырева.

Ведь есть еще и книга стихотворений, потому что Андрей Северский — псевдоним Николая Болдырева. Лучшие тексты в ней проникнуты честностью, сомнением, тревогой — тем, что и отделяет Болдырева от толпы обскурантов. Понимание того, что Бог есть поиск, при одновременном понимании невозможности этого поиска.

Бог — если знать хотите — бурелом бескрайний,
без смысла, без конца и без начала.
И камнепад, не знающий причин.
Что делать будете вы с ним, когда начнется?
Поймите:
Бог — огромнейший, вне мер, разбойник.

Понимание собственной малости, отказ искать центральное положение. Настаивание на противостоянии. И пусть все разваливается: «может быть, хранит нас не звезда, / а лишь обломков и руин касанье». Умение хранить мир непонятым, не рассматривать его как орудие, помнить, что не только мы идем по дороге, но и дорога промеривает нас — лишь так можно будет встретиться с предметами, дать спасение тишине, которой нужен человек. «Ангелы живы: сосна шелестит золотистой корой» — это ангелы не Ветхого или Нового завета, а завета с природой. Есть поток, теснящий нас в Ничто, — но из него мы и пришли. И мало не умирать, не поддаваться смерти, когда она кричит: «Так танцуй же, лети!». Больше — любовь к перемене в ее сокрушительности, блаженстве и тщетности.

Здесь в нас входит странная тщета,
словно прикасаешься к наклону
сокрушительно реального моста
к превращению, истаянию и лону.

И как бы ни ругал Николай Болдырев словесную эквилибристику, ему нужно чувство языка, чтобы увидеть Лету в «летела». Но это — в лучших стихах. В других — слишком много очевидного. Пренебрежение личностью и языком все-таки дорого обходится.

Завершает книгу стихов манифест — яростный и противоречивый. Болдырев безусловно предпочитает этику эстетике. Да, предпочтение эстетики этике обусловило, например, слепоту многих по отношению к террору революции. Но это не повод впадать в другую крайность. Эмили Дикинсон еще сто пятьдесят лет назад писала, что умершая за

красоту — сестра умершего за правду. Болдырев же продолжает их разделять. «Истинная поэзия темна именно в том смысле, в каком Бог есть Тьма Экхарта: нечто неизмеримо более яркое и богатое оттенками, чем известный нам свет». Но любезное Болдыреву традиционное, укорененное в мифе сознание этих оттенков не имеет, их создает (пусть порой на основе мифа) лишь отделившаяся от него личность. Утверждаемая манифестом «установка на бережное касание человека человеком», «удаленность человека от человека» — это именно уважение к личности, на что традиционное общество не способно. Стремление к новизне Болдырев характеризует как жажду создания мыльных пузырей — не допуская, что часто это может быть стремлением пойти в неизвестное и рассказать об увиденном другим. Поэты, конечно, — ловцы мячей, передающие их дальше, но чуть прибавив к этим мячам, так как даже для сохранения нужен рост. Болдырев протестует против самовыражения — и включает в «Манифест» многостраничное описание своей биографии; даже эгофутуристы в своих манифестах такого не делали. И к мантрам поэзии уже не вернуться — им не справиться с накопившейся в человеке сложностью.

Цветаева говорила о дереве в первом из «Сонетов к Орфею»: «Оно из тех, кого Бог — по счастью — оставляет без опеки (пекутся о себе сами!) — и кто вырастает прямо в небо, в семидесятое». Не этой ли самостоятельности боится Болдырев? Она, конечно, ответственна за самое худшее в человеке — но и за самое лучшее тоже. Странствия без привязанности, в которых жил Рильке, Болдырев назовет вслушиванием в высшее, кто-то может назвать их личным ростом — разница лишь в словах.

В комнате кто-то был до того, как туда я вошел.
Можно ли долго плыть, если нет никого вокруг?
Я — серебристая нить, шар моих мыслей желт.
Может ли постучать в двери мои испуг?
Нет никого вовне, если насквозь молчу.
Замертво упадет тот лишь, чья жизнь — строка.
Горе мое — во мне, я за него плачу.
Море уже ушло, но возвратилась река.

Александр Уланов

Книга любви и невозможности

Антония Поцци. Слова: Стихотворения 1929—1938. Перевод с итальянского Петра Епифанова под редакцией Онорины Дино. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013.

В первую на русском языке книгу Антонии Поцци (1912—1938) вошли стихи, написанные всего за девять лет. За эти годы — от своих семнадцати до своих двадцати шести, до смерти — она прожила огромную, яркую, трудную, почти целиком внутреннюю жизнь, а то и не одну, — одинокая девочка, в которой вскоре после ее смерти признали одного из самых значительных итальянских поэтов двадцатого века.

Она оставила нам книгу о любви и невозможности. Теснейше связанных, может быть, даже растущих друг из друга.

Такую книгу Антония и не думала увидеть изданной: своих стихов она почти никому не показывала. Даже родители их не видели — вплоть до ее добровольного ухода из жизни. Декабрьским вечером 1938 года случайный прохожий нашел ее на улице лежащей без чувств. В больнице определили: отравление барбитуровой кислотой, пневмония от переохлаждения. Сутки спустя Антония умерла. Как принято считать, она покончила с собой от несчастной и единственной в своей жизни любви к человеку, которого любила с шестнадцати лет и в браке с которым отец, властный и категоричный, своей единственной дочери жестко, даже грубо отказал. После этого она честно старалась жить — но жить не получалось. Честнее показалось уйти.

Стоит ли видеть в стихах Антонии «дневник души» — выговаривание собственных душевных событий, комментарий к ним — или самостоятельное поэтическое высказы-

вание? Скорее — отдельный, параллельный видимому поток жизни, в котором было прожито и выговорено все, что не смогло стать прожитым и выговоренным «наяву». Одна из частей сборника так и называется: «La vita sognata». С итальянского это в равной степени может быть переведено как «жизнь вымечтанная, мечтаемая» — и как «жизнь приснившаяся». Переводчик, чтобы сохранить эту двойственность, оставил название без перевода.

Антонии удалось сделать из своей беды больше, чем смысл: поэзию — самое возможность смысла.

Но сделать из этого материала жизнь не вышло.

Парадокс (парадокс ли?) — в том, что по своему душевному устройству Антония совершенно не была человеком, расположенным к несчастью, к трагедии или к поражению. Совсем напротив — она, казалось, была (да и была!) создана для счастья — для крупного, яркого, щедрого существования. Она отнюдь не была ни слабой, ни беспомощной, ни пассивным созерцателем-затворником, ни вообще тем существом не от мира сего, образ которого едва ли не автоматически складывается в голове, стоит заговорить о человеке, чья настоящая жизнь происходит внутри. Да, по преимуществу внутренней эта жизнь действительно была. И тем не менее Антония, физически сильная, ловкая, воспитанная с детства требовательным и амбициозным отцом как мальчишка, любила жизнь «внешнюю», радовалась ей, сильно ее чувствовала, умела справляться с трудностями и преодолевать препятствия. Она ездила на велосипеде и даже путешествовала на нем по Европе (занятие не самое тривиальное в первой половине XX века, особенно для девушки), ходила на лыжах, ездила верхом...

...Ползем
 стеной неизвестной твердыни: в ладони ладонь,
 сомкнуты пальцы горячей дугой,
 трением страстно напрягшихся членов
 одолеваем скалу. С голодом
 хищников встаскивая на камни
 наше влажное тело, опьяняясь безмерным,
 водружаем на острой вершине
 нашу воспламененную хрупкость...

Это о собственном альпинистском опыте, да. На одной из иллюстраций восемнадцатилетняя Антония стоит рядом с проводником, с бутылкой чего-то горячительного в руке, счастливая и гордая, на вершине Пиц Корватч в Швейцарии. Высота — 3451 метр над уровнем моря.

а внутри
 молчанье качается волнами,
 словно темная вода без пены...

При этом — блестяще образована и начитана с детства, играла на фортепиано и скрипке, владела несколькими иностранными языками. Была еще и незаурядным фотографом — в книгу вошли сделанные ею фотографии. Если на свете вообще случаются гармоничные люди, то Антония, несомненно, — из таких редчайших людей. Да как же такое возможно: быть гармоничной — и не быть счастливой?!

И тут — другой парадокс. Ее поэзия — совершенно не книжная. Антония обращается к миру без культурных опосредований, без (явных) цитат из предшествующего ей литературного опыта — напрямую.

Это поэзия очень витальная, причем не в меньшей степени — там, где заговаривает о смерти. Чувственная, подробная, пристальная и страстная, с хищным чувством детали и фактуры жизни. Взрослая и серьезная с ранних лет, — уже в семнадцать, когда были написаны первые вошедшие в книгу стихи. Зрелая — по силе и точности.

Начало книги, «Предчувствия синевы» — жизнь вздохом, радостное ощупывание мира влюбленным взглядом.

Вот так —
 у тебя на груди головою,
 твои руки в моих волосах,
 под ресницами светлый жар
 — как на солнце прибрежный песок...

Это влюбленность не только — наверное, даже не в первую очередь — в человека: в само чудо существования. Под этим взглядом каждая деталь удивляется себе — и расцветает смыслом:

Мокрый асфальт тротуара
 блестит под ногой, веселый,
 подмигивает девочке
 бесчисленными глазами;
 на корнеплодах влажных
 брызги ботвы зеленые
 сияют лимонной корочкой
 под серыми небесами.

Это — еще до первокатастрофы, до расставания с любимым. Катастрофа повернула внутреннюю жизнь Антонии в другое русло. Она начинает осваивать пространства невозможного — и проживать в стихах то, чему оказалось не суждено состояться:

Когда я сказала — у ребенка
 будет имя твоего погибшего брата —

<...>

— он уже был. И когда
 останавливались в аллее — у наших ног
 тихо играл
 с камешками, жучками, с сухими
 опавшими листьями.

Этого ребенка, так и не родившегося, она оплакивает, как живого:

Но с мертвыми,
 с нерожденными,
 там, внизу,
 с водами погребенными
 остался ты —
 рассветом, погасшим
 с блеском последних звезд,
 и не в земле,
 но в сердце,
 и только здесь —
 могилка твоя незримая.

Дело, пожалуй, даже не в катастрофе — которой, при всей ее судьбоносности, могло бы и не случиться. В Антонии Поцци — о чем бы ни заходила ее поэтическая речь — неизменно сильным оставалось одно: чувство безусловного.

С этой безусловностью она иногда — если смотреть обывательскими подстриженными глазами — попросту страшная.

мне лучше себе разорвать
 своими руками

утробу,
чем жизнь подарить
не твоему сыну.

Или вот еще — жуткое, ветхозаветное — о принесении Богу в жертву своего нерожденного ребенка:

Мальш, а когда доберемся
до нашего дома,
я после такого пути
тебя подниму над землею
и вложу в самые руки
Того, кто ожидает свыше.
Скажу Ему: «Видишь?
Видишь, кого я Тебе принесла?»

Все свое существование после первокатастрофы она превратила в разговор с любимым — и одновременно с миром. Для нее это было неразделимо, — как, впрочем, едва ли отличимо и еще от одного: от обращенности к Богу, от разговора с Ним. И любовь, и несбывшееся во «внешней» жизни материнство, и поэзия были для нее в равной мере религиозными действиями — видом служения.

Переводчик стихов Антонии и автор одной из очень немногих доселе появившихся на русском языке статей о ней Петр Епифанов увидел в ее поэзии «дневник экзистенциального и религиозного поиска», который «вписывается в тысячелетнюю традицию европейской женской мистики вслед за длинным рядом имен — от Хильдегарды Бингенской до Симоны Вейль».

Можно ли назвать поэзию Поцци религиозной? Конечно. Но вот христианской ли?

У нее безусловно религиозный темперамент: стремление к абсолютному; вертикальная ориентированность всего существа. Тем не менее, похоже, это — вера скорее своя собственная, чем христианская. Христа в этой поэзии нет; христианские мотивы — минимальны («*и лежу, отдав последние силы / на моем пути, / словно прибита / на крест*»). Есть мотив жертвы, но он вообще-то старше христианства.

В ней есть что-то дохристианское, внехристианское: античная темнота, языческая неистовость, тьоника.

...А мне бы кануть вниз головой
в текучесть безумную камня,
а мне бы рухнуть на твердый валун,
и, выбив его из земли, расколоть
худыми моими руками;
я б вырвала, как у распятого
на кладбище, у него одно только слово,
что мне света подаст. И стала бы пить
свою кровь глотками веселыми...

Из христианского здесь — разве что слово «распятое».

Захваченность жизнью и замороженность смертью в Антонии были (стали?) неразделимы. Второе стало продолжением первого.

Последние стихи — прощание с миром. Но вот удивительно: в этом прощании нет ни отчаяния, ни, тем более, отторжения от мира, обиды на него. Есть совсем другое: любовь к нему, бережное любованье им и благодарность ему. Только, кажется, уже с некоторой дистанции.

ты слышишь,
в сад прилетели птицы?

Они совсем не боятся
наших одежд и лиц,
ибо, как плодовая мякоть,
мы родились от влажной земли.

Антония умерла от невозможности жить.

Точнее: жить по-настоящему полной жизнью. На полумеры она никогда не была согласна.

Кажется, она ушла из жизни именно потому, что слишком ее любила: одновременно требовательно и жертвенно.

Ольга Балла

Маккавей из Ростова

Лев Симкин. Полтора часа возмездия. — М.: Зебра-Е, 2013.

Рецензируемая книга — не первая на русском языке, посвященная Собибору и Александру Печерскому, но первая — написанная совершенно свободно от диктата различных привходящих обстоятельств. Все, что выходило при советской власти, включая и тексты самого Печерского, носило каинову печать информационной политики Главпура или его аналогов. Выдержавшая два издания (2008 и 2010 годов) книга «Собибор», составленная С. Виленским, Г. Горбовицким и Л. Терушкиным, свободная от этого главпуровского гнета, издание скорее источниковедческое — образец успешной трансплантации западной историографии на российскую почву с добавлением и части собственного материала.

Симкин почтительно упоминает своих предшественников, но избегает упоминаний только об одной книге — что вынуждает напомнить о ней меня. Вышла она в издательстве «Гешарим» («Мосты культур») в сентябре 2012 года: малотиражное и малоформатное факсимильное переиздание книги самого Александра Печерского «Восстание в Собибуровском лагере» (Ростов, 1945). Однако, как явствует из обрамляющих текст Печерского материалов, адресована она была отнюдь не библиофилам и даже не историкам*, а политикам — израильским и российским.

Весь «цимес» — в открытом групповом письме Путину с просьбой о присвоении Александру Печерскому звания Героя России (посмертно) и с призывом отпраздновать в октябре 2013 года годовщину восстания в Собиборе и придать этой дате в последующем некий государственный статус.

Видя в фигуре Печерского бесспорный, но забытый и уникально важный символ (герой-еврей), могущий, по их мнению, объединить Россию и Израиль на общем поле политики исторической памяти, инициаторы проекта и составители письма пренебрегли самой историей и попали в классическую западню. Они не уловили и определенной двусмысленности в адресате: именно на него и его внешнюю политику рассчитана финальная фраза письма о вкладе предлагаемых мероприятий с Печерским в борьбу с глобализацией нацистских преступников в «некоторых европейских странах, а также с другими порочными тенденциями к пересмотру итогов Второй мировой войны».

Коллеги, но разве это не из лексикона придворных историков с их позорными и бездарными комиссиями по противодействию фальсификации истории — настолько бездарными, что их не жалко и ликвидировать? Оттого, что в этих «некоторых странах» действительно есть силы и партии, совершающие неуклюжие и исторически бестактные попытки реабилитации и даже глорификации нацистских коллаборантов, судебного преследования советских партизан («дело Кононова», например) или даже манипуляции с понятием «геноцид», не меняется главное: ничьей государственной, правительственной политикой исторический ревизионизм не является.

* Хотя послесловие того же Л. Симкина вводит читателя в круг выявленных им новых источников о Печерском — по существу это аннотация рецензируемой книги.

Изучать историю и делать релевантные выводы — прерогатива историков, а не политиков. Последние почему-то всегда полагают, что история — прикладная наука в том смысле, что она у них, у политиков, в служанках.

И уж Александр Печерский тут в любом случае ни при чем. Уж если кто и виноват в прижизненном игнорировании и столь запоздалом признании его самого и его подвига, то это именно советское, а затем и российское правительство, не моргнув и глазом продолжившее главпуровскую линию замалчивания как трагедии, так и героизма в годы войны как еврейского народа, так и советских военнопленных (а Печерский как герой в равной степени относится к обеим этим категориям!). И если Холокост уже стал в России салонным (не в последнюю очередь из-за того, что без евреев как жертв провисала бы и тема националистов-коллаборационистов как палачей), то советские военнопленные как отчетливая историческая категория до сих пор несут крест отторжения родимым официозом.

Из постскриптума Юрия Эдельштейна, тогдашнего министра информации Израиля, узнаем, что вопрос об увековечении памяти Печерского он обсуждал с Путиным в июне 2012 года в Нетании, когда открывался памятник советским воинам-освободителям: собеседник сказал, что это хорошая идея и что в этом направлении Израиль и Россия будут работать вместе.

Вот тогда-то и было решено спешно и на коленке «переиздать» Печерского. Но политакция «Печерский» оказалась, в сущности, холостым выстрелом. Даже к 70-летию собиборского восстания никакого звания Героя России этот совершенно бесспорный кандидат так и не удостоился (практика посмертного присвоения этого звания в России существует), а данное Путиным поручение «проработать вопрос о присвоении...» смотрится в этом контексте скорее издевкой. Годовщину отмечала Польша и, в куда меньшей степени, Израиль, пославший на церемонию в Собибор своего нового министра информации. Но в Израиле все-таки есть хотя бы улица имени Печерского в Цфате и небольшой памятник ему в Тель-Авиве. А вот в Ростове открывают мемориальную доску Печерскому и одновременно снова меняют в Змиевой балке обозначение еврейских жертв на пресловутых «мирных советских граждан»!

Что, Главпур, возвращаешься? Крепчаешь на ходу?..

Тем значимее выход в свет книги Л.С. Симкина. Иной раз найти миллион на памятник у моря бывает легче, чем несколько тысяч на подготовку серьезного издания. В сущности, «Полтора часа вездехода» Льва Симкина и является той необходимой данью исторического уважения подвигу, совершенному Печерским, его личности и судьбе, впервые представляемой в полном виде и без многочисленных мифологических напластований, в которых и с которыми автор осторожно и деликатно «разбирается».

В одной из серий киноэпопеи «Шоа» Клода Ланцмана есть большой фрагмент о Треблинке. С гениальной простотой сменяют друг друга четыре плана.

План первый — ландшафтный. Зрителя «привозят» сюда так же, как когда-то привозили жертв: сначала — на станцию, затем по узкоколейке через лес — в лагерь, к той самой «кишке», что вела наверх, к смерти. Между разгрузкой эшелона и загрузкой газовни проходило всего 2—3 часа!

План второй, черно-белая съемка скрытой камерой в доме у бывшего эсэсовца из Треблинки. Он охотно рассказывает о «мертвом сезоне», наступившем после марта 1943 года, когда исчерпались транспорты из Белостока и Гродно: «Было очень мало транспортов. А евреи из зондеркомmando* — это 500—600 человек — так надеялись выжить! Мы не стали их расстреливать или морить газом, мы стали морить их голодом, и они стали сдавать, начался тиф».

План третий: узник из этой зондеркомmando. Голод подталкивал их к восстанию, и оно активно готовилось в это время. Но однажды пришел обершарфюрер Курт Франц и сказал: завтра придут эшелоны. А для узников это означало: конец голода. И еще: конец подготовки восстания. И тогда до них дошла связь явлений: им привезли «еду» — они

* Тут имеется в виду более широкий круг рабочих евреев, чем в Аушвице, включающий и таких рабочих, что в Аушвице работали бы на вещевых складах («Канада»).

забыли о восстании, стало быть, они были настоящей частью «фабрики Треблинка». И тогда они осознали все — все без прикрас, весь этот ужас.

План четвертый: тот же узник, рассказывающий о том, как однажды в Треблинку прибыли греческие евреи — бывшие бойцы греческой армии: «Настоящие маккавеи! Крепкие и сильные — они очень даже могли постоять за себя. И тогда нам стало стыдно — мы осознали, что так продолжаться больше не может, мы должны действовать вместе...»

Александр Аронович Печерский — советский офицер (не важно, что штабной писарь), немножечко актер и режиссер и еще просто крепкий высокий человек. Он сразу же показался узникам Собибора вот таким же «маккавеем» и действительно оказался им.

Он разработал сначала план побега для небольшой части узников, но, когда узнал, что остальных, оставшихся, за этот побег тогда расстреляют, то отставил этот план и разработал другой — план общего, для всех, побега. План, в который и впрямь впряжены нити того сказочного еврейского поведения, что так лихо показал Тарантино в «Бесславных ублюдках».

Гениальный, надо сказать, план! И единственный удавшийся!

Но содержащий в себе, как матрешка, и жестокий подплан лесного побега вдевятиром ото всех остальных, уже благополучно сбежавших...

Важно подчеркнуть, что это книга не о Собиборе, а именно об Александре Печерском. В сущности, это биография, с одновременным показом самих биографических разысканий и углублением в смежные сюжеты. Белых пятен или островков мифологии в судьбе своего героя Симкин, кажется, не оставил. Лично я особенно оценил один исключительно сложный для реконструкции период жизни Печерского — между пленением и отправкой в Собибор.

С отменным упорством Симкин раздобывал и впитывал в себя, кажется, весь первичный исторический материал, имеющий хоть какое-то отношение к Печерскому. И едва ли не весь вторичный, если подразумевать под ним документы многочисленных процессов над нацистскими преступниками, проходивших как в СССР, так и в Германии или Израиле.

Или такой, например, документ, как запрос главного редактора издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» В. Осипова председателю КГБ СССР товарищу Семичастному В.Е.: «Издательство предполагает выпустить книгу В. Томина и А. Синельникова «Возвращение нежелательно», посвященную восстанию заключенных в гитлеровском лагере смерти Собибор в октябре 1943 года. Восстанием руководил советский офицер Александр Аронович Печерский, 1909 года рождения, проживающий в настоящее время в г. Ростове-на-Дону. Просим вас сообщить, не располагает ли Комитет гос. безопасности сведениями, вызывающими возражения против упоминания А.А. Печерского в книге».

Это не просто перестраховка чиновника: уже приведенное отчество героя книги — Аронович — выдает тайную надежду издателя на отказ, по крайней мере, готовность с этим отказом смириться. Но ответ за подписью генерал-майора Белоконева от 10 ноября 1962 года был лаконичен: «Возражений не имеется»!

Книга Симкина очень информативна и обстоятельна. Кроме того, она просто хорошо написана — публицистически, но не газетно.

Очень хорош тот авторский прием, что сам Симкин называл «рифмовкой»: так, судьба Печерского «рифмуется» у него с судьбой ростовского художника и казака-коллаборациониста Королькова (обоим в Ростове — видимо, для глубины рифмы — недавно были поставлены памятные знаки). Интересны сравнения реального Печерского и реального Киселева, выведшего за линию фронта более двухсот долгиновских евреев, или Печерского и Соколова из шолоховской (но в особенности из бондарчуковской) «Судьбы человека».

К сожалению, автор воспользовался не всеми возможностями для таких «рифм». Мне лично больше всего недостает рассказа и сравнений с восстанием в таком же, как и Собибор, но только более крупном лагере смерти в Треблинке, организованном польскими евреями и состоявшемся 2 августа 1943 года. В зависимости от ракурса — его можно считать и удавшимся (восемьдесят пять убитых охранников, взорванный арсенал, сожженный лагерь, двести человек, вырвавшихся на волю), и провалившимся (почти все даже из этих двухсот погибли).

Очень жаль, что Лев Симкин не стал «мараться» о западных отрицателей, именно на Собиборе оттачивавших свои крысиные зубки («Собибор. Миф и реальность»). Чисто номинально заступившись за Печерского, «пойманного» этими господами якобы на лжи, он, как и большинство историков, игнорирует их — и, по-моему, совершенно напрасно.

Есть в книге и небольшие неточности, которые стоило бы исправить при переиздании.

Едва ли стоило и пробовать связывать операцию «Рейнхард» с именем статс-секретаря Минфина. Почему же тогда не с самим министром, фон Крозигом?

Арбайтслагерь СС в Минске на Широкой улице решительно ничего общего не имеет с арбайтслагерем из повести Виталия Семина. Это совершенно разные «архипелаги»!

Несколько слабоват в книге научный аппарат. На иные из легко угадываемых источников почему-то нет ссылок, а там, где ссылки есть, почти никогда не указаны страницы. В некоторых случаях ссылки были бы необходимы вдвойне, поскольку приводимые сведения не всегда производят впечатление достоверных, как, например, сведения о перебежчиках на с. 101. В показаниях коллаборантов и «травников» на соответствующих процессах вранье иногда настолько очевидно, что даже удивляешься: почему автор ничего тут не комментирует?

Очень хорошо, что автор понимает, что, по большому счету, подвиг Печерского и товарищей все же не уникален. Просто он удался, и мы о нем кое-что знаем, тогда как о многих других, неудавшихся, — не знаем ничего.

Узники лагерей поднимали восстания не единожды и не дважды. Среди героев восстания зондеркоммандо в Аушвице — немало евреев из Гродно и его окрестностей, в том числе и Залман Градовский, как и все девятнадцать советских военнопленных, о которых мы, увы, почти ничего не знаем, но о которых до недавнего времени вовсе и не пытались узнать.

А какой редкостной героиней предстает варшавская красавица-артистка, уже в раздевальке, перед «душевой» (от слова «душить») хлестнувшая бюстгальтером по сальной роже одного эсэсовца, выхватившая у него из кобуры пистолет и застрелившая второго!

Но не меньшим героем в моих глазах был, например, киевлянин Леонид Исаакович Котляр — один из нескольких тысяч советских военнопленных-евреев, спасшихся на чужбине, в Германии, и позднее репатриировавшихся домой. Он писал: «Если еврей с сентября 1941-го все еще не разоблачен немцами, если он проявил столько изобретательности и воли, мужества и хладнокровия, и Г-сподь Б-г ему помогал в самых безнадежных ситуациях, то он уже просто не имеет права добровольно отказаться от борьбы. Такой поступок означал бы акт капитуляции человека, дерзнувшего в одиночку вступить в единоборство с огромным, четко отлаженным механизмом массового истребления евреев»*

Несомненно, таким человеком был и Александр Печерский, и книга Льва Симкина не оставляет в этом никаких сомнений.

Печерскому на кладбище уже никакая Звезда Героя не нужна. Жалко только, что и России как не были нужны, так и остаются ненужными такие герои и такая история.

Павел Полян

Самый европейский советский писатель

Б. Фрезинский. Об Илье Эренбурге. Книги, люди, страны. — М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Имя Ильи Григорьевича Эренбурга теперь слегка забыто, потому что романов, повестей, рассказов и статей его почти не читают, стихов совсем не читают, а жизнь его между Москвой и Парижем не кажется удивительной в наше время. А фигура была очень коло-

* Л.И. Котляр. Воспоминания еврея-красноармейца. М.: Вече, 2011. (Военные тайны XX века).

ритная, без Ильи Эренбурга нельзя понять историю советской литературы, да и вообще советскую историю. Поэтому я с удовольствием раскрыл книгу Бориса Фрезинского. Это прекрасно изданный том, сборник объемом девятьсот страниц.

Илья Эренбург родился в Киеве в русскоговорящей еврейской семье. Он был избалованным ребенком, плохо учился в школе и стал революционером в пятнадцать лет. Илья был таким большим бунтовщиком, что пришлось его отцу, купцу, освободить сына из тюрьмы под залог и отправлять его в Париж. Залог пропал, потому что Илья не приехал на суд из Парижа.

В Париже Эренбург быстро нашел кафе, в котором собирались большевики, влился в их кружок и получил от Ленина прозвище Илья Лохматый. Картина из жизни русских политэмигрантов в Париже, написанная Ильей Эренбургом: «Сорок унылых эмигрантов с печатью на лице нужды, безделья, скуки слушали его [Ленина]...» (стр. 15). Нам объясняли по-другому, мол, работали политэмигранты в поте лица на благо народа, да-с, батенька... Жизнь на родительские или на партийные деньги, полная интриг и лени, не понравилась восемнадцатилетнему революционеру, и он отправился в Вену, где стал помогать Льву Троцкому. Как он потом уцелел в СССР?!

Все у Ильи Эренбурга началось очень рано и развивалось стремительно. К девятнадцати—двадцати годам он уже несколько разочаровался в революции, кончился социал-демократический этап парижской жизни (1908—1909) и начался литературно-богемный этап (1910—1917). Жизнь Эренбурга была теперь наполнена любовью, самообразованием и стихами. Он был прекрасно образованным (самообразованным) человеком, но не окончил ни гимназии, ни университета, о чем жалел всю жизнь. Стихи юноши заметили, Эренбурга поддержал Валерий Брюсов. Эренбург лично знал поэтов Серебряного века: Марину Цветаеву, Осипа Мандельштама, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Михаила Кузмина. Он стал одним из них. Максимилиан Волошин писал пародии на Эренбурга. В одной из своих статей о русских поэтах Волошин объединил Блока и Эренбурга. Волошин считал Эренбурга поэтом выше себя... Все — таланты, все знакомы друг с другом! Анализу стихов Ильи Эренбурга посвящен важный раздел книги, в котором много цитат и ссылок. Во многих его стихах — диалог, спор с коллегами-поэтами, многих из которых читают и сейчас, через сто лет. Такое было время — расцвет поэзии, всеобщий интерес к стихам, сообщество поэтов, и юный Илья Эренбург стал членом этого сообщества.

Илья Эренбург вернулся в Москву в 1920-м, посидел во внутренней тюрьме ВЧК как агент Врангеля, но был освобожден трудами будущих «врагов народа» Николая Бухарина и Льва Каменева и направлен в заграникомандировку для работы над романом «Хулио Хуренито». Жил в Париже, раз в несколько лет приезжая в Москву.

Борис Фрезинский так описал «идеальную модель», которую построил себе Илья Эренбург: «Жить в Париже с советским паспортом, свободно писать об изъянах Запада и по возможности правдиво об интересном в Советской России; печататься в СССР, где читательская аудитория огромна и наиболее привлекательна, но и на Западе... где интерес к советскому феномену обеспечен». «Идеальная модель» хоть и давала сбои, но продержалась десять лет. В начале 30-х годов Эренбург сдался властям, стал советским писателем, членом президиума Союза советских писателей, писал о стройках пятилетки, участвовал в войне в Испании.

До 1937 года продержался, потом опять его положение покачнулось. Эренбург полгода провел без заграничного паспорта в Москве, ожидая ареста, присутствовал на процессе Бухарина, но сумел опять вырваться в Европу после личного обращения к Сталину. Однако печатать Эренбурга почти перестали. И он снова стал писать стихи, все об испанской войне.

Вторая мировая война, зверства немцев в Европе, затем Великая Отечественная война, чудовищные зверства врага на нашей территории произвели переворот в литературной судьбе Ильи Эренбурга. Он стал ведущим советским публицистом, даже первым публицистом антигитлеровской коалиции. Отмечу, что это — точная оценка: некоторые современные читатели, не читавшие стихов и романов Эренбурга, знают его публицистику времен войны.

После войны Илью Эренбурга направили в США советским пропагандистом периода «холодной войны». Поэтому его не стали разоблачать в статьях против Зощенко и Ах-

матовой. Хотя первоначально книга стихов Эренбурга «Дерево» была упомянута в одной разгромной статье, но ее вычеркнули, по мнению Бориса Фрезинского, из-за отсутствия автора в СССР. Также не попал он в кампанию борьбы с «космополитами».

После смерти Сталина Илья Эренбург написал «на чистом листе бумаги... название новой повести. Это слово облетело весь мир и в итоге стало общепризнанным названием наступившей эпохи — «Оттепель». Была ли тогда эта «оттепель»? Сажать и расстреливать стали меньше, но сажали в этот период не только кукурузу и расстреливали достаточно, в частности, и по законам, принятым задним числом. Главное, в народе остался страх, что в любой момент власть может сделать с тобой что угодно. В начале следующего, брежневского периода была «оттепель» потеплее: пятидневная рабочая неделя, Театр на Таганке, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в журнале «Москва». Мне кажется, Борис Фрезинский тоже не находит, что в этот период советской истории было очень «тепло». Но сомнения по поводу «температуры» в этот период оставили Борис Слуцкий в стихах и сам Никита Хрущев в воспоминаниях. Их высказывания приведены на странице 278. Тем не менее, термин «оттепель» — самое популярное произведение Ильи Эренбурга, более известное, чем публицистика, стихи, романы «Буря» и «Хулио Хуренито». Название это прижилось настолько, что его без всяких комментариев используют для обозначения хрущевского периода правления. Наглядный пример удачного названия, вовремя данного историческому периоду талантливым человеком.

В соответствии с названием первой части книги вслед за жизнеописанием Ильи Эренбурга следуют очерки о каждом романе писателя. Большой очерк посвящен «Черной книге» — сборнику свидетельств об уничтожении евреев в СССР, фрагменты из которого в процессе борьбы за издание «Черной книги» Илья Эренбург поместил в «Знамени». Также в «Знамени» (1953, № 10) напечатана «послесталинская» статья «О работе писателя». Большой очерк посвящен также повести «Оттепель» и дискуссии о ней, в которой участвовали Константин Симонов, Михаил Шолохов и другие известные деятели того времени.

Много внимания в первой части книги уделено литературной жизни, борьбе писателей между собой под руководством Идеологического отдела ЦК КПСС, приведены инструменты этой борьбы. Например, записки, указывающие, на каком уровне рассматривать вопрос о публикациях произведений Ильи Эренбурга: в ЦК КПСС или в редколлегии журнала «Новый мир» и подобное, представляющее интерес для исследователя. Завершается первая часть разделом, посвященным книгам об Эренбурге.

Вторая часть книги «Люди» имеет более хроникальный, справочный характер. Автор сообщает о встречах Ильи Эренбурга с людьми; оказавшими влияние на его судьбу, или с теми, на кого он сам повлиял или кому помог. Приведено много писем и других исторических документов. Эта часть книги — как послойный срез истории века. В первом разделе приведена «параллельная биография» тезки и кузена Ильи Эренбурга, рано погибшего художника Ильи Лазаревича Эренбурга. Герои последующих разделов более известны: Валерий Брюсов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Слуцкий. Помещена переписка Ильи Эренбурга с Анной Ахматовой по поводу судьбы Виктора Ардова. Очень интересно подробное описание позиции Ильи Эренбурга в период процесса над Юлием Даниэлем и Андреем Синявским. Был еще один человек, который писал открытые письма Илье Эренбургу и о котором в книге не упоминается. Это разведчик и журналист Эрнст Генри. Он считал, что Илья Эренбург в воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» охарактеризовал Сталина как «великого злодея». Эрнст Генри в своих письмах доказывал, что ничего великого в этом злодее не было. Письма широко ходили по рукам. Теперь существуют разные оценки сталинской эпохи, а тогда это было внове.

В третьей части книги «Страны», в которой автор назвал Илью Эренбурга профессиональным путешественником, написано: «Эренбург — самый европейский из писателей советской эпохи». Это очень важное определение. Благодаря своей известности в Европе, своему знакомству почти со всеми выдающимися деятелями мировой культуры середины XX века Эренбург уцелел. Конечно, тут и везенье — несколько раз вовремя уехал из страны. Конечно, тут и умелое поведение в критические моменты — в книге бывшего министра иностранных дел Бориса Панкина «Пресловутая эпоха» есть рассказ о том, как, ожидая ареста, Эренбург инициировал собственный юбилей, и арестовывать юбиляра в тот

раз не стали. Но была и потребность руководителей страны в таком европейском человеке. Итак, третья часть книги — новый, географический «срез» необычной жизни.

Сначала, конечно, Париж. В этом разделе — история, как Илья Эренбург стал частью европейской культуры, обрел тот образ, в котором пробыл всю жизнь. Подробно рассказано о знакомстве с парижской богемой, с поэтами, с художниками.

Далее — Германия, Италия, Испания, Англия, Скандинавия. Каждый раздел — интересная самостоятельная статья. «Европейский калейдоскоп».

Опечаток в книге почти нет, есть несколько «блох» вроде «Берю» вместо «Берию» (стр. 276), кроме того, Москва была центром сталинского террора, а не «эпицентром» (стр. 56) — общепринятый штамп просочился в хорошо написанную книгу.

Михаил Лифшиц

незнакомый журнал

Питерский и творческий

Beamused (Санкт-Петербург)

В последнее время из пространства сетевых дневников возникло несколько новых журналов, выходящих в электронном виде. Они переросли формат блога и собрали вокруг себя команду единомышленников: дизайнеров, декораторов, фотографов и стилистов. Так, «Veter Magazin» представляет собой традиционное life style издание, «Decorator» и «D for design» рассказывают о декоре, интерьере, дизайне. Все журналы объединяет отменное визуальное наполнение и внимание к образу жизни своей основной аудитории — среднему классу больших городов с высоким уровнем потребления. Рубрики посвящены путешествиям, красивой обстановке дома, творческой работе и культурным событиям. На первый взгляд журнал «Beamused» продолжает эту же идею.

«Beamused» — это журнал о творческих людях и их проектах, затрагивающий все сопутствующие темы, от сексизма до маркетинга. Его цель — быть площадкой для обмена вдохновением, возможностью для творческих людей найти единомышленников, вдохновиться самим и вдохновить других. В фокусе внимания оказываются не вещи, поездки или декор, а человек с его успехами и проблемами в сфере творческого самовыражения — в отличие от перечисленных выше изданий. На страницах журнала происходит постоянный обмен опытом по поводу позиционирования своего продукта на рынке, методах его продвижения, способов превращения хобби в прибыльный бизнес. Издание ориентировано на людей, жизнь которых связана с творчеством — профессиональным или в виде увлечения, самостоятельным или в составе команды единомышленников, оплачиваемым или нет. Среди героев журнала встречаются люди разных профессий, всем им знакомы кризисы мотивации, проблемы самопрезентации, радость успехов и трудности в начале пути. Именно этим опытом они делятся на страницах журнала.

«Beamused» выходит один раз в квартал на бумаге в количестве 999 экземпляров, продается в десятке мест в Москве, Петербурге, Самаре и Екатеринбурге по цене 320 рублей. Через некоторое время после выхода бумажной версии в сети в открытом доступе появляется электронный вариант. Реклама редка и непосредственно связана с тематикой издания.

Главный редактор и издатель журнала Катерина Соловьева в редакторской колонке обычно рассказывает о теме номера и делится собственным опытом. В первом номере, озаглавленном «разнообразие и принятие», Катерина рассказывает о том, как появился «Beamused». В предисловии к третьему номеру речь идет о вопросах окупаемости журнала — в полном соответствии с заявленной темой «Больше пользы!». В пятом номере («Все сначала») Катерина кратко обрисовывает картину своих непростых начинаний, от издания журнала до рождения ребенка. «Beamused», созданный ради обмена вдохновением и опытом, сам является живым примером творческого начинания.

Название журнала можно перевести с английского как «быть удивленным». Создатели, однако, приводят его этимологию. Два первоначальных варианта названия — «bemused» (под влиянием музыки, ошеломленный музыкой) и «A!» — были объединены в одно. К уже упомянутым значениям добавилось выражение «be a muse» (быть музыкой), также отражающее один из способов творческого самовыражения. Английское название позволяет избежать ненужных коннотаций, которые есть у русских аналогов. Например, русское слово «муза» подразумевает отрешенность от бытовых забот и проблем, тогда как начинающего художника, целевую аудиторию журнала, волнуют именно они.

К пятому номеру журнала сформировалось несколько постоянных рубрик: «творческая жизнь», «заглянуть в мастерскую», «история успеха», «для вдохновения», «преодолевая кризис», «мастер-класс». Лишь в отдельных номерах встречаются рубрики: «о чем говорят женщины», «путешествие за вдохновением», «удобные штуки», «творческий дневник», «что читать», «знание — сила».

В рубрике «творческая жизнь» все материалы представляют собой подробное интервью с художником. Вообще, интервью является самым распространенным способом подачи материала в журнале, цель которого обмен опытом. Отвечающие на вопросы мастера представляют разные направления — от бодиарта, иллюстрации и фотографии до переводческой деятельности. Выделяется статья, посвященная переводчице Наталье Кушнир. В ней Наталья рассказывает о своей работе в НАСА, полетах на специальном тренажере невесомости, участии в фестивале воздушных шаров, воспитании двух близнецов, увлечении фехтованием, айкидо и путешествиями. Основные проблемы — частые перемены рода деятельности, совмещение работы и семьи — героиня преодолевает с неизменным оптимизмом и верой в успех. Другой материал посвящен успешному совмещению двух профессий — геофизики и фотографии. На острове в Баренцевом море Дмитрий Дешевых работает с нефтяными скважинами и фотографирует северных жимтовых и птиц. Дмитрий рассуждает о предварительной работе и необходимых усилиях, приводящих в итоге к качественному кадру. В пятом номере журнала о жизни в аргентинской Патагонии рассказывает фотограф Дмитрий Сапаров. Его видение своей работы успешно сочетается с путешествиями по миру вместе с женой и ребенком.

Рубрика «заглянуть в мастерскую» прослеживает этапы творческого процесса мастеров различных техник и жанров. Елена Акимова рассказывает об изготовлении фарфоровых шарнирных кукол и показывает основные этапы процесса в мастерской на своем балконе. В соответствии с настроением и характером куклы Елена придумывает для каждой целый образ и историю, соответствующий костюм и аксессуары. В пятом номере героем рубрики становится мастер подводной живописи Денис Лотарев. Идея рисования под водой пришла к Денису во время профессиональных занятий дайвингом. Донные ландшафты вдохновили художника на поиск необходимой информации и встречу с одним из членов команды Кусто, который имел подобный опыт. На страницах журнала Денис кратко рассказывает о технических деталях и впечатлениях после полутора сотен работ, выполненных в водах Белого, Красного и Черного морей.

Герои рубрики «история успеха» делятся своими профессиональными достижениями и вспоминают преодоленные трудности. О своей работе рассказывает Карла Сонхем, преподаватель, художник и автор книг о рисовании и иллюстрации. Карла говорит о своем распорядке дня и любви к «неидеальному» искусству, делится планами на будущее и анонсирует свои будущие книги. Художник и иллюстратор Мария ван Брюгген отвечает на вопросы о своих рисованных животных и иллюстраторской деятельности, делится способами вести сразу несколько проектов одновременно и объясняет, как работа сама ее находит.

Назначение рубрики «для вдохновения» очевидно из ее названия. Во втором номере журнала героем рубрики стала Натали Ратковски, художник и автор книг по иллюстрации. В творческих кругах известна книга Натали «Разрешите себе творить». Целый класс подобных мотивационных пособий по раскрытию творческого потенциала, среди которых и бестселлер Джулии Кэмерон «Путь художника», видимо, вдохновлял создателей журнала «Bemused» и его читателей. Последующие номера вышли с репродукциями Натали Ратковски на обложке, она стала консультантом по дизайну. Также в журнале появилась новая рубрика, посвященная творческим дневникам, о которых Натали мно-

го говорит в своей книге. В рамках рубрики публикуются развороты альбомов с рецептами, рисунками и заметками из путешествий, присланные читателями.

Многостраничный и очень подробный материал Алики Калайды, известной под псевдонимом *gikki-t-tavi*, вышел в рубрике «Для вдохновения» в двух номерах журнала. Алика затрагивает целый круг проблем взаимодействия художника и его окружения. Разбрасываться, вести множество проектов одновременно и интересоваться многими сферами творчества зачастую не принято. Статья, озаглавленная «Гимн сканеру», обосновывает мысль о том, что это — нормально. *Сканеры*, в отличие от *дайверов* (терминология Барбары Шер, автора книг на тему творческой самореализации) прекрасно умеют разбираться в какой-либо теме на поверхностном уровне. Потом любопытство побуждает их переходить к следующему увлечению, процессу или действию. Общество же, напротив, любит и ценит специализацию, приращение опыта и четкий ответ на вопрос «чем вы занимаетесь?». Закономерно, что дайверы, погружающиеся в избранную тему все глубже, легче получают одобрение и внимание, необходимые художнику.

Формат рубрики «Преодолевая кризис» предполагает откровенный разговор о вынужденных творческих простоях и случающихся неудачах, о мотивации и ее кризисах. Иллюстратор Лия Чевненко рассказывает о «скорой помощи» при приближающемся творческом кризисе и о том, откуда он берется, предлагает свои методы «шоковой терапии» и смены впечатлений. Два материала от психологов Аси Александровой и Анны Соколовой повествуют об основных страхах, мешающих взрослым людям начать рисовать, и о психологических аспектах акварельной живописи. К сожалению, пока отдельные вопросы трудностей творческой самореализации оказываются упомянуты лишь на конкретном примере и вскользь, а аналитических материалов общего характера в данной рубрике не встречается. Возможно, в будущем такие статьи появятся.

Выбор маршрутов рубрики «путешествие за вдохновением» впечатляет — вместо признанных европейских столиц в фокусе внимания оказываются Грузия и Балканские страны с их истерзанной за последние десятилетия красотой.

Некоторым диссонансом общей теме журнала звучит позиция Ирины Житниковой, автора рубрики «О чем говорят женщины». Ирина рассуждает об ущемлении женских прав и рассматривает общественные правила вежливости с точки зрения сексизма. Однако другие материалы журнала, где женщины — художницы, авторы книг и дипломированные специалисты — делятся своими успехами и творческими планами, позволяя рассматривать положение женщин в современном обществе с более спокойных и объективных позиций.

К сожалению, не получила развития рубрика «Update», где создатели журнала и герои прошлых номеров делились новостями и свершениями за прошедшее время. Подобная «сериальность» могла бы добавить динамики и глубины обзору творчества очередного художника, доказав на практике, что взлеты и падения в карьере чередуются.

Обмен опытом, ради которого журнал «Beamused» создавался, от номера к номеру приобретает все более выраженные формы и необходимую широту. В рубрике «Удобные штуки» люди разных профессий лаконично и кратко отвечают на самые важные вопросы: как продвигать себя и свое творчество, на каких площадках это получается лучше, когда приходит стабильный доход, чего стоил переход к творческой профессии, насколько возможно ее совмещение с семьей, когда приходит ощущение собственного профессионализма, важна ли удача. Вполне очевидные истины о преодолении страхов, о сложности первого шага и о реальности перемен в жизни повторяются многими людьми, которые уже прошли этот путь и видят наконец горизонт. Нежно, кропотливо и осторожно создатели журнала обосновывают основную мысль журнала «Beamused» — возможно все.

Марина Устинова

Сергей ЧУПРИНИН

главный редактор
(495) 699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА

первый заместитель главного редактора
(495) 699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГорова

ответственный секретарь
(495) 699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН

отдел прозы
(495) 699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА

отдел поэзии
(495) 699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА

отдел библиографии
отдел публицистики
(495) 699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН

отдел критики
(495) 699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА

отдел прозы
(495) 699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА

корректор

Евгения БИРЮКОВА

допечатная подготовка, производство,
распространение
(495) 699 80 67, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ

художник

Людмила БАЛОВА

исполнительный директор
(495) 699-48-98

Марина ГАСЬ

бухгалтер
(495) 699-48-98

Наталья РОГОЖИНА

компьютерный набор
(495) 699-48-71

Марина СОТНИКОВА

заведующая редакцией
info@znamlit.ru
(495) 699-52-83

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам печати и массовых коммуникаций

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

адрес редакции:

123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.01.2014.
Подписано к печати 20.02.2014.
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Заказ № 136

Отпечатано в ОАО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.38
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 941-31-62
www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru

Журнал «Знамя» благодарит фонд «Финансы и Развитие», который выписал и направляет часть тиража в библиотеки экономического профиля

СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ» И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ

Также представлены журналы «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Иностранная литература», «Континент», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», альманах «Достоевский и мировая культура».

Метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46, вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своем решении.

Материалы, поступившие по e-mail, а также рукописи объемом более 10 авторских листов (400 000 знаков) не рассматриваются.

Лиана АЛАВЕРДОВА. После катаклизмов
Александр БОРИН. Моя «Литературка»
Сергей БОРОВИКОВ. В русском жанре-46
Инна БУЛКИНА. Историк Юзефович
Константин ВАНШЕНКИН. Реанимация
Кама ГИНКАС. Жизнь прекрасна
Валерий ЕСИПОВ. Два гения в одном
эшелоне
Сергей ИГНАТОВ. Фидель да Габриэль
Александр КАБАКОВ. Частное слово
Александр КИРОВ. Караван душ
Ирина ЗОРИНА-КАРЯКИНА. Воспоминания
Татьяна КРАСНОВА. Приоткрылось окно
Борис КУТЕНКОВ. Болезнь записыванья
Владимир МАКАНИН. Мойщик
Алексей МАКУШИНСКИЙ. Пароход
в Аргентину
Алла МАРЧЕНКО. Где жизнь играет роль
писца

Зоя МЕЖИРОВА. Невозвращенец и не
эмигрант
Марина МОСКВИНА. Мой «тучерез»
Алессандро НИЕРО. Русские стихи
на итальянском
Олеся НИКОЛАЕВА. Мастер-класс
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Алексей СМИРНОВ. Выступление
и наказание
Елена СТЯЖКИНА. Развод
Виктор ФАНАЙЛОВ. Теща
и кинематограф
Константин ФРУМКИН. Российская
фантастика и мирный труд
Марк ХАРИТОНОВ. Исправление имен
Наталья ЧЕРВИНСКАЯ. В маленьком
городе N
Алексей ШМЕЛЕВ. Языковые концепты
Юлия ЩЕРБИНИНА. Чтение в эпоху Web 2.0

новая проза

Бориса БЕЛКИНА,
Владимира БЕРЕЗИНА,
Анатолия БУЗУЛУКСКОГО,
Юрия БУЙДЫ,
Андрея ВОЛОСА,
Дениса ДРАГУНСКОГО,
Александра КАБАКОВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Эдуарда КОЧЕРГИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Дмитрия НОВИКОВА,

Ильи ОГАНДЖАНОВА,
Даниэля ОРЛОВА,
Максима ОСИПОВА,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Александра СНЕГИРЕВА,
Игоря ФРОЛОВА,
Евгения ШКЛОВСКОГО

НОВЫЕ СТИХИ

Шамшада АБДУЛЛАЕВА,
Михаила АЙЗЕНБЕРГА,
Владимира БОГОМЯКОВА,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Дмитрия ГАРИЧЕВА,
Аллы ГОРБУНОВОЙ,
Ирины КАРЕНИНОЙ,

Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Михаила КУКИНА,
Александра КУШНЕРА,
Марии МАРКОВОЙ,
Григория МЕДВЕДЕВА,
Веры ПАВЛОВОЙ,
Владимира ХАНАНА,
Олега ЧУХОНЦЕВА,
Елены ШУВАЕВОЙ-ПЕТРОСЯН

14--7063

адрес редакции:
123001, Москва
ул. Большая Садовая, 2/46
телефон/факс: 699 52 83
email: info@znamlit.ru

